ДЗЕРЖИНСКИЙ

К СТОЛЕТИЮ РЕВОЛЮЦИИ



СИЛЬВИЯ ФРОЛОВ

ЛЮБОВЬ И РЕВОЛЮЦИЯ


SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Я верю только в учение Христа (…) Верю, что Бог наш Иисус Христос – это любовь. Иного Бога, кроме него, у меня нет – писал Дзержинский: польский шляхтич, родственник Юзефа Пилсудского, кристально честный человек, любящий отец, заботливый брат и благодетель детей-сирот. Тот, кто сделал головокружительную карьеру на службе большевистскому режиму, кто руками подчинённой ему ВЧК истребил сотни тысяч людей и привёл к власти Иосифа Сталина, чтобы потом горько об этом пожалеть.

Первая в свободной Польше многогранная и во многом неоднозначная биография Железного Феликса. В книгу включены ранее нигде не публиковавшиеся письма Дзержинского родным и любовные признания, адресованные любовницам – перехваченные службой государственной безопасности и скрытые на несколько десятков лет в совершенно секретных московских архивах, чтобы не допустить скандала.

- Сильвия Фролов
  - Насколько мифичен миф. Вступление
  - Польский период
    - I. Я вспоминаю вас добрым словом. Семья
    - II. Свет пришел с востока. Революционеры
    - III. Как густав стал Конрадом. Вильно
    - IV. Юноша из огня и серы. Агитатор
    - V. Первая любовь. первая ссылка
    - VI. Речь идет обо всем мире. Организатор
    - VII. Я – христианин. Неизвестное письмо
    - VIII. Тот, которого ловят и вяжут. Беглец
    - IX. У него большевистское сердце. Профессиональный революционер
    - X. Генеральная репетиция. Год 1905
    - XI. Я пил за романтизм. Расколы и лояльность
    - XII. Счастье ты мое, жизнь ты моя. Михалина, Сабина, Софья
    - XIII. Как медведь в берлоге. Каторжник
  - Российский период
    - XIV. Революция во второй раз, и в третий. Rien ne va plus![16]
    - XV. Добрый пролетарский якобинец. Концепция Ленина
    - XVI. Мы представляем собой террор.

Председатель ВЧК
- XVII. Советую вам немедленно меня расстрелять. Путч эсеров
- XVIII. И каждый день обиды множит. Террор
- XIX. Добрый палач. Представитель власти
- XX. А Яська смеялся до упаду. Муж и отец
- XXI. Сон о красной Варшаве. Предатель родины
- XXII. Почему я? Инструмент в руках вождя
- XXIII. Мы должны немного поутихнуть. Период НЭПа
- XXIV. Такова была воля народа. Расправа с врагами
- XXV. Фабрика ангелочков. Защитник беспризорных
- XXVI. Гарант единства партии. Борьба за власть
- XXVII. Я устал от этих противоречий. Экономист
- XXVIII
- XXIX. Мертвый рыцарь. Польская операция
- Пока, Фелек! Post scriptum

- Слова благодарности
- Иллюстрации
- Примечания

- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14
  - 15
  - 16
  - 17
  - 18
  - 19
  - 20

Сильвия Фролов
Дзержинский. Любовь и революция

Я начинаю любить человечество по образцу Марата:
Чтобы осчастливить самую малую его часть,
Я, наверное, был бы готов уничтожить остальных огнем и мечом.

Виссарион Белинский, 1841

Насколько мифичен миф. Вступление

Представим себе процесс над Феликсом Эдмундовичем Дзержинским. Возможно, он выглядел бы так?

– Высокий Суд, вы все, наверное, слышали о случае, который произошел в кабинете начальника ВЧК на Лубянке в начале сентября 1918 года. Сразу после покушения на Ленина. – Прокурор поднял руку и, жестикулируя, стал в красках описывать ту сцену: – Фанни Каплан, молодую женщину, которая пыталась убить вождя революции, привели в кабинет товарища Дзержинского. Там её ждали трое мужчин. Дзержинский сидел за столом и курил, комиссар Жерсон стоял посреди кабинета, засунув руки в карманы, а пожилой чекист с азиатскими чертами, по-видимому, китаец, который привел арестованную, встал у окна. Измученная допросами, вся избитая Каплан со стоном упала на пол. Жерсон подошел, наклонился над ней и задал какой-то вопрос, потом второй. Каплан пыталась отвечать, но речь ее была настолько невнятна и хаотична, что понять ее было невозможно. Тогда в кабинет вошел второй китаец, помоложе. Жерсон кивнул головой. Молодой китаец отдал пожилому небольшую кружку, после чего быстро подошел к Каплан. Одной рукой он схватил ее за голову, в другой сверкнул нож. Он просунул лезвие ножа между сжатыми зубами лежащей женщины. Когда же она от сильной боли разжала зубы, пожилой китаец влил ей в рот что-то из кружки – прокурор сделал небольшую паузу и обвел взглядом зал. – Каплан поперхнулась, ее лицо покраснело, потом посинело. Она стала вырываться из рук державшего ее чекиста, корчилась на полу, билась о доски головой, руками, ногами. Дзержинский вскочил из-за стола, не понимая, что происходит. Китаец услужливо объяснил ему, что это растопленный воск. Он застывает в горле и душит. Молодая женщина схватилась за горло, она раздирала себе ногтями рот, но не могла избавиться от воска. Дзержинский немного выждал. Потом он достал пистолет и выстрелил два раза. Первая пуля добила террористку. Вторая уложила пожилого китайца[1]. Высокий Суд, так была убита Фанни Каплан – последние слова прокурор произнес так громко, что эхо, отразившись от высокого свода, прогремело над залом подобно канонаде. Многие из присутствующих инстинктивно вжали головы в плечи.

– Высокий Суд, я решительно протестую! – вскочил со своего места защитник. – Событие, которое нам обрисовал господин

прокурор не подкреплено доказательствами. Все происходило как раз наоборот, – он говорил быстро, но убедительно. Было видно, что он уверен в себе и хорошо подготовлен к судебному разбирательству. Он поправил очки. – Дзержинский учил чекистов, как распознавать и обезвреживать врагов. Он требовал от них строгого соблюдения ленинских принципов революционной законности, вежливого обращения с арестованными. Когда в конце февраля 1918 года он узнал, что один из сотрудников ВЧК позволил себе грубо обходиться с арестованным, он лично расследовал это дело. В протоколе следствия он записал: «Комиссия постановила привлечь виновного к суровой ответственности и в будущем отдавать под суд каждого, кто позволит себе хотя бы дотронуться до арестованного»[2]. Таким был Дзержинский, – защитник прервал свою речь, так как его слова вызвали шум в зале.

– Позор! Враньё! Именно так все и было! – вперемешку раздавались выкрики людей, следивших за процессом. Кто-то громко ловил ртом воздух, кто-то встал со своего места и нервно размахивал руками, пытаясь что-то крикнуть. Зал бурлил все сильнее. – Прошу тишины, успокойтесь! – пытался вмешаться в этот хаос судья, раз за разом ударяя молотком. – Я буду вынужден прервать заседание! – Но его никто не слушал. Люди в зале лихорадочно обсуждали услышанное. – Хотим правды! – слышалось со всех сторон. Публика утихомирилась лишь тогда, когда на середину зала вышли трое рослых сотрудников охраны суда, вызванные судьей.

– Вы ошибаетесь, уважаемый господин защитник! – вновь взял слово прокурор. – Высокий Суд, я позволю себе на секундочку отойти от личности обвиняемого и обратиться к учреждению, которое Феликс Дзержинский создал. Не следует забывать, – начал он – что красный террор соединил в себе маниакальную идеологию большевиков с народной культурой насилия. В личности чекиста произошел их синтез. Одичавшие матросы и солдаты, утратившие всякую меру ненависти к людям, носящим очки, образованным, с либеральными взглядами и хорошо питающимся, не представляющие себе мироустройства иначе, как непрерывное зрелище насилия, а также уголовники, хулиганы и психически больные – все они представляли собой среду, из которой ЧК рекрутировала свои кадры – на какой-то момент обвинитель остановился, чтобы проверить, какое впечатление он производит на собравшихся. После короткой паузы он продолжал: – Везде, где чекисты уничтожали классового врага во имя революции, чинились ужасающие, чудовищные злодеяния, уже полностью заслоняющие большевистскую

драматургию. Жертвы бросали в кипящую воду, с живых сдирали кожу, сажали на кол, заживо сжигали или закапывали в могилы, нагими выводили на мороз и поливали водой до тех пор, пока они не превращались в ледяные статуи[3]. И кто должен отвечать за все эти зверства? Обвиняемый Феликс Эдмундович Дзержинский! Председатель Всероссийской Чрезвычайной Комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем!

Услышав такое, зал застыл. Мурашки поползли по спинам людей. Теперь все взгляды были устремлены на защитника. Тот дал знак судье, что хочет говорить.

Высокий Суд, я беру на себя смелость утверждать, что обвиняемый ничего не знал о такого рода преступлениях. А если бы знал, то наверняка запретил бы что-либо подобное, и виновные понесли бы заслуженное наказание. Согласно его указаниям вся следственная работа велась при строгом соблюдении норм революционной законности. Он не допускал никакого злоупотребления властью. Вина арестованных доказывалась на основании конкретных фактов, документов, свидетельских показаний. Невинных освобождали немедленно после проверки, им помогали найти работу и жилье[4]. По личному приказу Дзержинского! – защитник на секунду замолчал, перевел дыхание. – А что касается зверств красных, то они ничем не отличались от злодеяний, совершаемых белыми в отношении большевиков – он поднял над головой густо исписанный лист бумаги. – Например, в Воткинске белые истребили на баржах смерти порядка тысячи человек (умерщвляя по 10 человек каждый день). Арестованных расстреливали, закалывали штыками, разрывали на части. Такие же казни проводились в Ижевске. Как говорят, комендант этого города, Суворов, при этом восклицал (наверняка, преувеличивая): «…я добиваю уже четвертую тысячу коммунистов. Не расходуйте зря патроны, саблями их, поленьями!». После того, как белые вновь взяли Ижевск, колчаковцы пустили по Каме плоты с установленными на них виселицами, увешанными трупами красных – точно так, как двумя веками ранее царские воеводы поступали с казачьими бунтовщиками[5]. Уверяю вас, что располагаю значительно большим количеством примеров подобного типа…

На этот раз в зале судебных заседаний поднялся такой шум, что охране суда пришлось силой вывести из зала нескольких крикунов. Чтобы успокоить собравшихся, судья объявил часовой перерыв в слушаниях.

* * *

В действительности процесса против Феликса Дзержинского никогда не было. Но если бы он состоялся, то подсудимый оказался бы под огнем всех этих обвинений. Для одних – красный палач России, для других – кристально честный и добрый человек. С момента создания Всероссийской Чрезвычайной Комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем – обычно называемой просто Чека – он для всех стал объектом пристального интереса.

Прежде всего, он попал под прицел польского общественного мнения, что никого не должно удивлять. С одной стороны, молоденькое польское государство после двух лет независимости было вынуждено вступить в конфронтацию с мощным врагом, который во имя новых лозунгов хотел вернуть старый великодержавный порядок, с другой – этот порядок поддерживала группа поляков во главе с польским создателем советской службы безопасности. Таким образом, неприязнь к вероятному главе Польской Социалистической Республики Советов, которым стал бы Дзержинский в случае победы большевиков в 1920 году, была вполне обоснована – но одновременно и преувеличена. Его международный портрет – это изображение с пропагандистского плаката времен варшавского сражения: красный убийца-психопат с оскаленными клыками вампира, ставший отличной питательной средой для литературы.

Сразу после смерти Дзержинского в 1926 году появились многочисленные воспоминания, главным образом на страницах периодических изданий соответствующей политической ориентации. Эти воспоминания предназначались узкому кругу читателей и отвечали их вполне понятным ожиданиям. Голод на сенсации из сфер большевистской верхушки, лучше всего в форме популярной сплетни, был настолько силен, что давал возможность проявить себя авторам криминалов и романов с любовной интригой.

Близкая к документальной книга Фердинанда Антония Оссендовского *Renun*, изданная в 1930 году, быстро завоевала издательский рынок. Достоверность этой книге придавала биография автора, который находился в России во время гражданской войны. Ярый антикоммунист Оссендовский действительно передавал на Запад ценную информацию, взять хотя бы сведения о финансировании деятельности Ленина германским правительством, но сам Оссендовский, сотрудничая с белыми, большую часть информации получал из других рук. С новыми жильцами Кремля, которых он описал, он никогда не был знаком лично, поэтому в книге об основателе государства диктатуры пролетариата он совершенно свободно тасует факты и

вымысел, размашисто орудуя пером с бесцеремонностью графомана. В наиболее отрицательном виде здесь представлен Дзержинский – в истинно голливудском стиле ужастиков про графа Дракулу. Все зло большевистской России концентрируется в этом человеке, которого Ленин презирает и к которому питает отвращение.

И в этом мнении Оссендовский был не одинок. Итальянский писатель и журналист Курцио Малапарте после посещения СССР написал беллетризированную *Легенду Ленина*, в которой упомянул, что Ленин питал к председателю ВЧК почти физическое отвращение. Принимая эту информацию к сведению, следует, однако, помнить, в какое время Малапарте посетил Россию. В 1929 году! Как раз начала раскручиваться сталинская машина террора. Новому вождю, претворявшему в жизнь собственную интерпретацию ленинизма, нужно было исключительное право на культ основателя большевистского государства. По мере нарастания очередной волны насилия – которую уже не удавалось объяснить войной – память о первом чекисте могла представлять для Сталина угрозу. Дзержинский ассоциировался с вежливостью и с бескорыстной преданностью делу – в то время как генералиссимус заполнил Лубянку лишенными стыда и совести карьеристами, выполняющими самую грязную работу, не задавая никаких вопросов. Еще в начале тридцатых годов поговаривали, что во времена Дзержинского нечто подобное трудно было себе даже представить. Сталин приходил в бешенство, когда до него доходили такие голоса. Поэтому в кулуарах он распространял слухи об отвращении, которое питал Ленин к председателю ВЧК, а последнему он приписывал черты садиста, испытывающего удовольствие от истязания своих жертв.

Фердинанд Антоний Оссодовский, как выдающийся графоман, представлял свой персонаж, сконцентрировавшись на его физических свойствах, которые, в свою очередь, должны были объяснить личностные качества и мотивы поступков. У него Ленин ежеминутно щурил монгольские глазки, а о Феликсе автор пишет так: «Вдруг вынырнуло лицо Дзержинского. Бледное, безумное, с запавшими, холодными, раскосыми глазами, наполовину прикрытыми дергающимися веками, с жутко сведенными судорогой мышцами щек и со скривленными, запавшими губами. Лицо тихо смеялось и издавало легкое шипенье». Решения, которые этот монстр принимал в своей жизни, автор объяснял просто: «Он горел ненавистью ко всему миру. Мечтал отомстить всему живому и всему, что было создано живыми существами. Он жаждал видеть вокруг себя кровь, тела

убитых и замученных, кладбища, руины и пожарища и над всем этим – смертельную тишину»[6]. Еще больше пикантности добавляет сцена, когда Дзержинский угрожает Ленину, что убьет его и захватит власть, если тот не подпишет декрет о его назначении вождем коммунистической Польши. И мысль о том, что жажда власти, без сомнения, толкала его на занятие кремлевского престола. Это последнее мнение характерно только для польских авторов. Является ли это свидетельством тайных националистических желаний, чтобы именно так и произошло?

Тему «красного палача» с удовольствием подхватил граф Богдан Якса-Роникер, лично знавший Феликса. Осенью 1912 года они вместе сидели в Павяке, куда граф попал за убийство своего шурина (из-за имущества семьи)[7]. Этот польский Мюнхаузен, слывший кутилой и мошенником, после смерти Дзержинского быстро почуял, откуда ветер дует. Сообразив, что скоро настанет мода на пикантные истории о Дзержинском, он, не стесняясь, стал навещать сестру Феликса Альдону Кояллович и вытягивать из нее рассказы об их семье, чтобы потом подогнать их к заранее выдуманному сюжету. Альдона же – всю жизнь чувствовавшая себя обязанной заботиться о брате и нести ответственность за его поступки, переживавшая муки из-за мифа о палаче России – не ожидая подвоха, с благодарностью принимала уверения графа в его полной лояльности[8]. Позже биограф Дзержинского Ежи Охманский так отзывался о книге Якса-Роникера: «историческая правда, в том числе большое количество подлинных подробностей, не известных современным биографам, (…) переплетается с ложью, приправленной клеветой»[9].

Граф, издав в 1933 году беллетризированную биографию *Дзержинский. Красный палач – золотое сердце*, находился под сильным влиянием книги Оссендовского. Тот же возвышенный и театральный стиль, тот же психологизм, основанный на самых дешевых приемах. По мнению графа, многие приговоры Дзержинский сам лично приводил в исполнение. Сажал людей на электрический стул или доставал из ящика стола пистолет и неожиданно стрелял в подследственного. Это из книжки Якса-Роникера взят фрагмент о пытках и убийстве Фанни Каплан – в действительности расстрелянной комендантом Кремля Павлом Малковым. И растопленный воск перед казнью никто ей в горло не вливал.

Официальные биографии Феликса Дзержинского, написанные в период СССР и ПНР также трудно считать достоверными[10]. Написанные под диктовку идеологии, вычищенные цензурой и напичканные партийным новоязом, создали Дзержинскому образ «вечного огня» – как после смерти его называл Сталин. До

определенного времени было запрещено затрагивать темы личной жизни, сосредоточивались исключительно на политической деятельности «несгибаемого рыцаря революции». Со временем позволили использовать семейный мотив: сначала жена и сын, затем круг сестер и братьев и, наконец, женщины – но с неизменным замалчиванием некоторых сюжетов. Более искренними являются личные воспоминания бывших сотрудников и товарищей председателя ВЧК, опубликованные сразу после его смерти на страницах издаваемого в Москве периодического журнала «С поля боя»[11].

Главные биографы Дзержинского поляки Ян Собчак и Ежи Охманский придерживаются фактографии и хронологии. Многое они берут у советских биографов, но радикализм последних они заменяют эвфемизмом или очередным замалчиванием. Зато они упоминают о том факте, что свадьба Феликса и Софьи Мушкат-Дзержинской состоялась в католическом костеле. Под конец жизни Софья тоже написала книгу, посвященную мужу: *В годы великих боев*. Но ее воспоминания неровны. Они писались в Советском Союзе и не самостоятельно, а при участии ассистентов. Первая часть, посвященная польскому периоду и эмиграции, написана значительно более живым и интересным языком. Несмотря на идеологическую направленность, она имеет обаяние личной исповеди. Вторая часть – это всего лишь пропагандистские высказывания большевистской активистки.

После сорока пяти лет реального социализма – включая самый тяжелый сталинский период, когда культ товарища Дзержинского навязывался его соотечественникам силой – вместе с демократией девяностых годов в Польше возродились санационные[1] симпатии и антипатии. Вновь появились книги Оссендовского и Якса-Роникера – ранее запрещенные, а теперь принимаемые на веру, несмотря на новые предисловия, рекомендующие с осторожностью подходить к оценке этой литературы. Что касается мифов о Дзержинском, то многим было не по себе от его происхождения. Невозможно было поверить, что польский шляхтич мог отречься от католической самоидентификации в пользу интернационализма и атеизма. Надо было состряпать ему новую биографию. Самым простым было сделать из него еврея, создателя жидокоммуны, используя второе имя его отца – Руфин – в качестве доказательства еврейских корней. Это нелогично, потому что это имя имеет латинское происхождение, а покровительствует ему святой Руфин Аквилейский. Миф оказался, однако, настолько убедительным, что дожил и до нашего времени. Как ни в чем не бывало, он особенно хорошо чувствует себя в интернете.

В 1993 году вышла биография Феликса Дзержинского авторства Ежи Лонтки под примечательным названием *Кровавый апостол* – первое исследование, проведенное в независимой Польше. Работа скорее журналистская, чем историческая, с попыткой психологического анализа. Но с ее опубликованием Лонтка имел проблемы. Несколько издателей отказались ее печатать, несмотря на положительные рецензии. По всей видимости, еще было не время. Польша сбрасывала с себя коммунистическое прошлое, все внимание было сосредоточено на инфляции, приватизации и безработице. Отчета требовали от живых. Бетонный Дзержинский, стоявший на Банковской площади в Варшаве, был символически свергнут 16 ноября 1989 года. Он развалился на три части, которые были перевезены на хранение под варшавским мостом Грота-Ровецкого. Казалось, что народу этого было достаточно. С отвращением отряхнули руки. И с удовольствием от того, что «вечный огонь» погас навсегда.

Тело Феликса Дзержинского до сих пор лежит у изголовья Ленина на Красной площади в Москве. Его портреты все еще висят в отделениях российской полиции. А история этого человека продолжает вызывать крайние эмоции. По крайней мере, в Польше. Это одна из причин, по которым я решила взяться за эту тему заново – одна, но не единственная. Эта книга является для меня также своего рода личным отчетом: все мое детство прошло на улице, соседней с улицей Ф.Дзержинского – очень длинной, наверное, самой длинной в Кракове. Для меня она тогда была улицей без конца[2]. Если бы в то время мне задали вопрос: кем был Феликс Дзержинский? – я бы ответила: плохим человеком. Хотя мне никто этого не говорил. Я не имела ни малейшего понятия, как он выглядел. Он был всего лишь набором букв на синих уличных табличках. Но я знала одно – все вокруг меня происходило из-за этого человека. Даже я сама была из-за него. Если бы не он, то ни мой русский дедушка, рожденный в Харбине, ни моя польская мама, рожденная в Вильно (Вильнюс. – *Прим. перев.*), не поселились бы в Кракове. И, несмотря на это, я ненавидела Дзержинского. За что? За то, что Чеслав Милош в *Порабощенном разуме* назвал «неотвратимостью новой системы». Я, конечно, не могла знать, что такое «система», тем более «неотвратимость» и «порабощение». Даже прилагательное «новая» звучало абстрактно, потому что другой системы я не знала. Для меня она ассоциировалась с неисполнимой мечтой поесть бананов, невозможностью выезда за границу, кошмаром горно-металлургической академии в Кракове, с тяжелой атмосферой лжи, отравлявшей воздух не меньше, чем трубы металлургического комбината в Новой Гуте. Все это

порождало сознание того, что на этой улице без конца я никогда не дождусь конца. Даже если бы появился и более личный повод ненавидеть Дзержинского. Но об этом я узнала спустя годы, когда мне представился случай прочитать его телеграмму от 16 ноября 1920 года, направленную председателю симферопольской ЧК Василию Манцеву. Дзержинский писал в ней: «Сделайте все, чтобы из Крыма не ушел на материк ни один белогвардеец»[12]. Около недели спустя, 22 ноября, чекистская тройка под председательством Манцева приговорила к смерти 857 воинов армии Врангеля. Приговор приведен в исполнение. Среди них был мой прадед полковник Матвей Матвеевич Фролов.

Улицы Дзержинского в Кракове давно уже нет. Есть, как до войны, улица Юлиуша Лео, президент города в начале XX века. Я давно уже не ребенок. И все было бы хорошо, если бы не чувство дискомфорта, которое не исчезло вместе со старой табличкой. Не исчезло, потому что двадцать лет независимости привели нас к горькому выводу: снос памятников не отпугнет демонов истории. Потому что их натура – это натура чудовищного Господина Когито[3] – они как огромная депрессия, раскинутая над страной. И время от времени они будят нас извержением сообщений о происходящих событиях, как притихший на мгновение вулкан.

У меня тоже было свое чудовище. И спустя годы я посчитала, что пришло время вызвать его на грешную землю. Посмотреть в эти чудовищные глаза, проанализировать и назвать по имени, а потом запихнуть в рамки конкретной дефиниции. Но по мере того, как я углублялась в тему, мне становилось ясно, что моему чудовищу не так просто дать определение. Я кружила в свете мифов, стереотипов, исторической лжи и правды, часто с трудом отличая добро от зла и с нарастающим любопытством ставя новые вопросы. Ибо мое чудовище было удивительным! Упаси, Господи, не с точки зрения идеологического выбора – такой выбор был далек от моего. Речь шла, скорее, о сложных переплетениях судьбы на фоне истории, о психологическом контексте, о попытке понять, почему обычный польский шляхтич, воспитанный в католической романтической атмосфере, сам очень религиозный, выбрал коммунизм и реализовывал эту идею самым кровавым из возможных способом. Почему он стал полной противоположностью другого польского шляхтича, воспитанного в точно таких же условиях и с которым он породнился посредством супружества племянника и племянницы, человека, тоже сделавшего ставку на социализм, но успевшего в важный для Польши момент сойти на остановке "Независимость". Я испытывала при этом крайне противоположные эмоциональные состояния – я начинала Дзержинского любить, потом вновь

ненавидеть, в зависимости от материалов, к которым я обращалась. Я перешла с ним на ты, он стал для меня Феликсом. То я его защищала, играя роль адвоката дьявола, то вне себя от возмущения обвиняла. Я задавалась вопросом, как могло случиться, что хороший человек превратился во зло, притом во имя любви к людям.

И именно эта неоднозначность оказалась удивительной. Тем более, что все произошло по желанию Феликса: ведь он хотел видеть мир черно-белым – именно такую легенду ему и состряпали. Таким образом, я решила, что моей задачей является вскрыть разные оттенки серого, вопреки его заклятым врагам и ярым апологетам, вопреки мне самой, какой я была годы назад, а может и вопреки Дзержинскому.

Как поляк и не состоявшийся католический священник, он занозой сидит в нашем хорошем национальном самочувствии. Как человек он представляет собой великую загадку, сравнимую с героем романа Достоевского. С полным набором эмоций, с широким диапазоном все еще не до конца понятных способов делать тот или иной выбор, отчаянно мечущийся между необходимостью, убеждениями и совестью – своей биографией он мог бы соперничать со Ставрогиным, Иваном Карамазовым, но и с его братом… Алешей. Ибо он любил человечество убийственной любовью инквизитора. В другое время и в другом месте у него был бы шанс стать святым.

Польский период

I. Я вспоминаю вас добрым словом. Семья

> Мама при свете лампы рассказывала, за окном шумел лес, а она рассказывала о преследовании, о том, как поступали в отношении униатов, о принуждении петь молитвы в костелах по-русски – на том основании, что эти католики были белорусами – я помню ее рассказы о выплате контрибуции, о самых разнообразных издевательствах и унижении[13]

– вспоминал в 1914 году в письме жене сидящий в X павильоне Варшавской цитадели Феликс Дзержинский. Он любил родной дом, а ностальгия по детству охватывала его сильнее всего во время отсидок сроков по приговорам судов. В общей сложности он отсидел одиннадцать лет, и времени на воспоминания у него было достаточно. Потом он принимался писать письма и образы, всплывающие перед его мысленным взором, переносил на бумагу.

Эти воспоминания польского мальчика, детство которого прошло в бывшей Виленской губернии, ничем не отличались от воспоминаний других детей выросших в дворянских усадьбах XIX века, разбросанных по всей обширной территории Кресов[4]. Патриотизм, порожденный восстанием[5], ограничивался здесь четырьмя стенами своего дома, а дома с детьми находилась главным образом мать. В том же духе высказывались Адам Мицкевич и Юлиуш Словацкий. А потом Юзеф Пилсудский:

Все мои мечты были сосредоточены тогда на восстании и вооруженной борьбе с москалями, которых я всей душой ненавидел, считая любого из них негодяем и вором. Последнее определение было, впрочем, абсолютно обоснованным. В то время Россия выплеснула на Литву все свои отбросы, самые гнусные элементы, какие только у нее были, а рассказы о подлости и варварстве этой орды Муравьева были у всех на устах.

Есть у Пилсудского то самое возвеличивание роли матери, которая в своих детях "с самых ранних лет старалась развить (…) самостоятельность мысли и пробуждала чувство личного достоинства"[14].

Январское восстание поглотило десятки тысяч жертв. Сюда следует добавить около шести тысяч приговоренных военными судами к смертной казни и около тридцати восьми тысяч сосланных в Сибирь. Моральные потери – чувство тотального поражения и одиночества в центре Европы – достигали уровня семизначной цифры. Когда наместником Царства Польского[6] в

1862 году был назначен великий князь Константин Николаевич, который в свете реформаторских устремлений царя Александра II захотел также и на польских землях вести политику либеральных уступок, до конфронтации с национальным характером его будущих подданных дело дошло очень быстро. Когда началось восстание, царь, введенный в заблуждение великим князем, заменил наместника, направив в Варшаву генерала Федора Берга, а в Вильно на должность генерал-губернатора Михаила Муравьева. Таким образом, Литва, присоединившаяся к повстанческому порыву некоторое время спустя, получила хорошую взбучку от России, разъяренной этой смутой. Потому что Муравьев, сам в молодости втянутый в заговор декабристов, закаленный в наполеоновских войнах и в подавлении ноябрьского восстания[7], в мае 1863 года оказался идеальным кандидатом на должность наместника Северо-Западного Края.

В Воспоминаниях, написанных в 1866 году, Муравьев приводит свои письма, которые он слал царю с просьбой разрешить ему применять собственные меры:

> Я заранее знаю, что моя система не понравится, но отступить от нее не могу и наперед сообщаю, ибо достаточно знаю польский народ, что уступками и слабостью дело все только ухудшить можем; спокойствие же можем вернуть в стране лишь средствами суровой справедливости и преследованием заговоров[15].

В направляемых в Петербург донесениях генерал-губернатор скрупулезно отмечал свои достижения: 177 повешены, 972 сосланы на каторгу, 345 мужчин насильно направлены в войска, 1427 сосланы в Сибирь, 1529 выселены… Плюс к этому конфискация имущества и доведение их владельцев до полной нищеты (из этого социального слоя впоследствии вышли квалифицированные рабочие – элита рабочего движения). Муравьев настолько прославился как инициатор массовых казней, сжигания целых деревень, заподозренных в содействии повстанцам, закрытия католических костелов и рьяной русификацией во всех сферах жизни, что получил прозвище «Вешатель». Его двухлетнее правление вынудило литовское дворянство пойти на многие уступки и занять позицию пассивного выжидания. Патриотизм мог культивироваться самое большее в границах дома – а снаружи, подчиняясь инстинкту самосохранения, надо было следовать политике компромисса.

И это явилось решающим моментом, – объясняет Феликс Дзержинский в письме жене. – Это предопределило тот путь, по которому я впоследствии пошел, предопределило то, что любое

насилие, о котором я слышал или которое я видел – (например, Крозе[8])[16], принуждение к тому, чтобы говорить по-русски, принуждение к тому, чтобы по праздникам ходить в церковь, система шпионства и т. д. – было как бы насилием надо мной самим. И тогда я поклялся в числе многих других бороться с этим злом до последнего вздоха. И сердце мое и мозг уже были открыты для горькой доли людей и ненависти к злу[17].

На фотографиях детского периода видны тонкие черты лица холеного барчонка. По словам Вожены Кшивоблоцкой, автора Повести о Феликсе, написанной с целью формирования соответствующих качеств у социалистической молодежи, у него был родовой перстень с печатью, который он долгие годы носил на пальце. Как это возможно? Пока он ходил в гимназию, никто в русифицированном Муравьевым Вильно не позволил бы ему носить в школе перстень, а с 1895 года, то есть с момента вступления в кружок литовской социал-демократии и первых попыток установить контакты с рабочей средой, ношение столь явного символа принадлежности к вражескому социальному классу было бы просто глупостью. Да, перстень как таковой, Феликс иметь мог, потому что его семья имела дворянский титул на протяжении многих поколений, но наверняка он не носил его на пальце.

Первым Дзержинским, упоминаемым в книгах, был Кшиштоф, представитель пинского уезда. В силу этой должности он в 1632 году поставил подпись под грамотой об избрании Владислава, сына Зигмунта Вазы. XVIII век принес уже больше информации о представителях этого рода. В 1755–1768 годах гродненским подчашим был Анджей Дзержинский. В свою очередь Анджей Ежи Дзержинский в 1770 году был гродненским квартирмейстером, а через два года он был назначен на более высокую должность подчашего[18]. В это же время (1770 год) оршанским кравчим становится Ян Дзержинский, а в 1772 году оршанским регентом – Казимир Дзержинский. Роза Люксембург любила в шутку называть Феликса

стройки его в церковь. Эти события нашли широкий отклик в Европе и привели к смягчению царской политики в отношении Католической церкви *(Прим. перев.)* «оршанским хорунжим» по аналогии с паном Кмицицем из Потопа Сенкевича. Однако происхождение этого прозвища в действительности было связано с оршанским уездом, располагавшимся на территории нынешней Белоруссии.

Родовой герб Дзержинских – Сулима. Дед Феликса Юзеф Ян Дзержинский (1788–1854) женился на Антонине Озембловской графине Радван и родовое поместье жены – Оземблово – перешло

в собственность Дзержинских. Оно находилось в ошмянском уезде, в приходе Деревне – а для жителей крупных населенных пунктов, особенно Вильно, Ошмяны всегда были символом провинциальности. О шляхтянках из этого уезда говорили: «славная провинциалка». Отец Феликса Эдмунд Руфин Дзержинский родился в 1839 году. Он был одним из девяти детей Юзефа и Антонии. Родители были не в состоянии дать хорошее образование всем детям, поэтому учиться в Петербургский университет пошли только три брата: Эдмунд (математика), Томаш и Фелициан (медицина).

Получив стипендию Виленской губернии, Эдмунд Дзержинский в 1863 году окончил университет и решил стать учителем математики и физики. Но поляк не мог быть принят на работу на родине – это было запрещено законом, принятым после восстания. Он слал просьбы и петиции в различные учреждения, но в ответ получал предложения работы лишь в отдаленных уголках России. А так как он болел туберкулезом и такие города, как Архангельск или Вятка были для него смерти подобны, он выбрал Таганрог – портовый город на Азовском море. Он получил место учителя математики и физики в местной гимназии, в которой тогда учился Антон Чехов с братьями Александром и Иваном. Здесь Эдмунд Дзержинский проработал лишь несколько лет. В 1875 году из-за ухудшающегося состояния здоровья он вынужден был уйти в отставку, но отработанные годы обеспечили ему неплохую пенсию. Благодаря ей, многочисленная семья Дзержинских могла жить на достаточно приличном уровне.

Восемью годами раньше, в 1867 году, Эдмунд женился на Хелене Янушевской, хорошо образованной, знающей иностранные языки дочери профессора петербургского института железнодорожного транспорта Винцента Янушевского, который состоял в дружбе с известным инженером-мосто-строителем Станиславом Кербедз. Будущий тесть Эдмунда имел генеральский чин и соответствующее ему высокое денежное довольствие. Два брата Хелены были инженерами, специалистами в области транспорта. Йода – имение родителей Хелены – это было 16 в лук[9] отличного чернозема, а также дворец с парком, прудами, садами и большим количеством слуг. Имение находилось в Виленском уезде, неподалеку от городка Мейшагола. Старшая сестра Хелены вышла замуж за известного в Вильно издателя Феликса Завадского, а другая сестра, Софья, за графа Станислава Пиляра фон Пильхау, владельца имения Мицкуны на реке Вилия, в котором в свое время проводил каникулы Юлиуш Словацкий. Их внук Роман Пиляр впоследствии сыграет значительную роль в ведомстве своего дяди Феликса. Так, являясь заместителем

начальника отдела контрразведки ОГПУ, он будет расследовать громкое дело Бориса Савинкова, социал-революционера, писателя, террориста, врага большевиков, пытавшегося свергнуть их власть[19].

Эдмунд вошел в семью, значительно более богатую, чем его. Правда, у него было имение в Оземблове площадью 100 гектаров, но земли там были неплодородные, и после сдачи в аренду имение приносило всего 42 рубля дохода. Но зато, благодаря трудолюбию хозяев, это имение отличалось кое-чем особенным. «Это была обедневшая семья помещиков, но у них было то, с чем ничто в окрестностях Вильно не могло сравниться. Это пасека и мед. У дедушки тоже была пасека, но за медом ездили к Дзержинским»[20] – вспоминает Ядвига Жуковская, будущая жена генерала Казимира Сосновского, которая воспитывалась в расположенном неподалеку местечке Сылгудышки.

В первый год супружества Эдмунда и Хелены на свет появился сын Витольд, который, однако, прожил всего несколько месяцев. Через три года родилась первая дочь Альдона (1870), затем Ядвига (1871), Станислав (1872), Казимир (1875), Феликс (1877), Ванда (1878), Игнатий (1879) и Владислав (1881). Был еще один ребенок, но, как и первенец Витольд, он умер в младенческом возрасте. Кроме восьмерых своих детей, Дзержинские воспитывали еще двоих племянников Эдмунда: Юстина и Болеслава, которых они приютили после того, как их отец Томаш во время охоты заразился смертельной болезнью – столбняком. Эмоционально наиболее сильно к дяде и его детям был привязан Юстин – намного старше своих двоюродных братьев и сестер, он умел прекрасно о них заботиться. Это он после окончания архитектурного института в Москве спроектировал в 1881 году новый дом в Оземблове – заодно переименованном в Дзержиново (спустя годы Юстин станет главным архитектором Бердичева). Мысль о перестройке родилась, когда старый дом был затоплен во время сильного весеннего разлива Узы, притока Немана. Новая усадьба, более просторная и светлая была построена на пригорке между соснами, в красивейшем месте, на самом краю Налибокской пущи. Феликсу было тогда четыре года, поэтому в его памяти раннее детство было связано исключительно с Дзержиновым.

Дом был одноэтажный с подвальным помещением, в котором находилась кухня, – вспоминала старшая из детей Дзержинских Альдона. – Дверь из столовой вела на большое крыльцо. В южной части дома была большая оштукатуренная комната, называвшаяся «салоном». Из нее был выход на высокую веранду со множеством ступеней, с балюстрадой, всегда полное солнца и света. На дворе

– хозяйственные постройки, конюшня, коровник, сарай, «сеновал», хлева и так называемая «изба», где жил арендатор. Здесь же был погреб, крытый гонтом. Рядом с избой росла столетняя раскидистая сосна с гнездом аиста. Чуть дальше за забором виднелся амбар (гумно), а дальше за воротами – лес, лес, лес… Внизу в большой, пахнущей сосновой смолой центральной комнате было светло и весело; широкая дверь вела отсюда на прекрасную застекленную веранду. Здесь мама обычно сушила грибы, фрукты и ягоды. Из этой застекленной с трех сторон веранды мы с Феликсом смотрели на окружающий нас «мир», на этот близкий и на тот таинственный и далекий за линией горизонта[21].

Феликс появился на свет 11 сентября 1877 года. Мама была на восьмом месяце беременности и еще не собиралась ехать в Йоду, где родила всех своих детей под ласковым присмотром своей матери Казимиры Янушевской. Но 10 сентября под вечер случилось непредвиденное: во время работ по дому Хелена Дзержинская упала на крутой лестнице и скатилась в подвал на кухню. С сильными ушибами ей пришлось лечь в постель, ночью начались схватки. На следующий день на свет появился мальчик: худенький, он ведь был недоношенным, но здоровенький. По этому случаю он получил имя Феликс, то есть счастливый. Уже 16 сентября ксендз Цыприан Жебровский окрестил его в приходском костеле в Деревне.

Детство у него было действительно счастливое. Болезненный, худой, долгое время отставaвший по росту от своих братьев (впоследствии он их догнал: в зрелом возрасте он будет ростом 175 см) и очень похожий на свою красивую мать – дома его с особой любовью лелеяли и баловали и родители, и старшие сестры, тем более, что он принадлежал к типу послушных детей. «У меня не было проблем с Феликсом, которого я учила – вспоминает Альдона. – Он не был таким сорванцом, как старший Стас, он был мягким, я ни разу не видела его злым или ссорящимся; послушный, прилежный, чуткий и способный». И еще одна черта выделяла его среди братьев: склонность к восторженности, которая сначала привела его к ревностной религиозности, а со временем – к коммунистической идеологии. Не случайно спустя годы Лев Троцкий скажет о нем: «он абсолютно сливался с делом».

К сожалению, болезнь легких у отца становилась год от года все тяжелее, и в 1882 году, после пятнадцати лет брака, Эдмунд умирает. Он оставляет после себя приятные воспоминания. Альдона: «Наш отец был человеком необычайно мягким, с большим чувством юмора. Между родителями никогда не было

ни даже самой маленькой ссоры или неурядицы. Детей была целая орава, но не было случая, чтобы кто-то из них получил телесное наказание». Соседи и местные крестьяне тоже хорошо его вспоминали. Отца похоронили в Деревне, на надгробной плите была выбита надпись: «Покой праху Праведника». У Феликса – ему тогда было пять лет – осталась только одна ассоциация с отцом: вязание из дубовых веток венков, которые потом везли на могилу Эдмунда. Хелене на момент смерти мужа было 32 года. Учитывая ее возраст и красоту, она могла бы, конечно, вновь выйти замуж, но она полностью сосредоточилась на детях и на их образовании. Она знала, что это их единственный шанс, потому что от усадьбы они не получат никакой пользы. Отец перед смертью тоже понимал это: он обеспечил сыновей, положив на их счет каждому по тысяче рублей на учебу.

Однако, жизнь продолжается. Есть мать, есть братья и сестры, есть Дзержиново. Альдона и Игнатий вспоминают:

Мы играли в лесу и на реке, а также около дома или в доме. Игрой на каждый день была «палочка-выручалочка». Играли во дворе, где был колодец-журавль. Любимой забавой Феликса было ходить на ходулях; это требовало определенной смелости и умения держать равновесие, особенно при перешагивании через такие крупные объекты, как, например, корова. На дворе проходили и другие нехитрые игры: ловко пройти по длинному забору или залезть на высокие лестницы для сушки сена. А когда раздавался голос любимой Мамы, зовущей на завтрак, обед или ужин, мы всей гурьбой наперегонки бежали домой. Здесь в прохладной, пахнущей сосновой смолой комнате вся разгоряченная ватага сорванцов, весело болтая, рассаживалась у круглого стола. Но когда перед Феликсом ставили тарелку с овсяной кашей, лицо его становилось грустным и унылым. Через много, много лет он иногда говорил, что единственное блюдо, которое он не любит – это овсяная каша.

Феликс писал Альдоне из X павильона Варшавской цитадели: «Здесь же память особенно живая – она бежит к тем, кого любит – и воскрешает давние годы. (…) Наша деревня, ее леса, луга и поля, река, кваканье лягушек и клекот аистов, и вся эта тишина, и дивная музыка в вечерних сумерках». Из Закопане 27 декабря 1906: «Я помню летние вечера, когда мы сидели на веранде и моя голова лежала на твоих коленях и было мне так хорошо… Помню, как вечерами мы кричали, а эхо нам отвечало. Помнишь, как однажды Стас крикнул неприличное слово, а вы, застыдившись, убежали?». Из тюрьмы в Сельцах 16 июля 1901: «[Помню], как мы подшучивали над Ядвигой: она немного обижалась, когда мы в

Дзержинове на ее песенку «sit u mami” (я не француз, поэтому почек корявый) отвечали из-за деревьев “ме-ме” – как овцы или бараны”.

В письмах просматривается образ матери – доброй, благородной, умной, оказывающей огромное влияние на формирование психики и моральных качеств своих детей. Феликс ее иногда просто идеализировал. В письме Альдоне он пишет:

> Ведь мать формирует души своих детей, а не наоборот. (…) Я сам помню, как однажды мама, будучи чем-то очень озабоченной и имея массу хлопот, меня отшлепала. (…) Я что-то натворил, и когда получил за это от мамы в минуту ее раздражения, то давай орать во всю глотку и плакать от злости, а когда слезы кончились, я залез под этажерку с цветами и сидел там до сумерек. Отлично помню, как мама меня там нашла, крепко прижала к себе и поцеловала так горячо и сердечно, что я опять заплакал, но это были слезы тихие, добрые, слезы уже не злости, как раньше, а счастья, радости и спокойствия, так мне было хорошо… Потом мама дала мне свежую булочку и кусок сахара, и я был необычайно счастлив. Не помню, сколько мне тогда было лет, может 6–7; это было у нас в Дзержинове.

Отсутствие начальных школ вынуждало учить детей дома. Феликс Альдоне 27 декабря 1902: «Помню, как на той самой веранде мама учила меня читать. Я лежал на животе, опершись на локти, и читал по слогам»[22]. Как пишут биографы Дзержинского, в возрасте четырех лет он мог цитировать большие фрагменты из *Пана Тадеуша.* Достоверно это неизвестно, он мог быть и старше, но можно говорить со всей уверенностью, что он знал произведения Мицкевича, Словацкого, Красинского, потому что именно на их творчестве главным образом основывалось образование в польских домах. И что характерно: спустя годы, уже будучи председателем ВЧК, он продолжал культивировать в своем доме польскую культуру. Витольд Ледер, сын революционера и коммуниста Здислава Фейнштейн-Ледера, вспоминает, что в двадцатые годы, когда он с родителями жил в Москве, для отца было очень важно, чтобы сын не забывал польский язык, причем поддерживал его на хорошем, литературном уровне. К сожалению, достать польские книги в столице России было очень трудно. Но оказалось, что Дзержинский, у которого Ледер работал в Высшем Совете Народного Хозяйства, имеет неплохую польскую библиотечку, а в ней – *Трилогию* Сенкевича. Благодаря этому, молодой Витольд

выучил чистый польский язык.

Дзержинские очень любили друг друга, это несомненно. Тем большей травмой стал трагический случай в 1892 году – еще одна смерть в этой семье, о которой много говорили в округе.

> Когда я стала сознательно смотреть на окружающий мир, Феликса в этих краях уже не было, – вспоминает Ядвига, жена генерала Сосновского. – Дома рассказывали о трагическом случае. У Феликса была сестра Ванда, которую он очень любил, и которая отвечала ему тем же. Она делала то, что он ей говорил. Эта девочка была любимицей всей семьи. Феликсу было тогда около 17 лет. Меня в то время еще на свете не было. Позже из десятых уст я услышала об этой трагедии. Маленькая Ванда, зная, что Феликс идет охотиться на куропаток – а ему нужно было пройти через лес – притаилась в кустах, которые обычно густо обрамляют лес. Когда брат появился, она хотела выскочить из кустов, чтобы его напугать. Видимо, она за что-то зацепилась, потому что это продолжалось довольно долго. Феликс подумал, что это зверь, выстрелил… был конец. Окаменевший от горя, он не знал, что делать. Сбежалась семья, мать, братья, чрезвычайно деспотичный отец. Была сцена, как из Шекспира. Все набросились на бедного Феликса, бичевали его обвинениями так, что онемелый хлопец не был в состоянии вымолвить ни слова (…). Что за горе для молодого человека[23].

Звучит убедительно – только с правдой не имеет ничего общего, кроме факта, что Ванда погибли от пули, выпущенной братом.

Обычно в усадьбах было огнестрельное оружие, потому что охотились в ближайших лесах, да и защищаться надо было в случае нападения. Оружие вешали на стену в гостиной или столовой, а слуги должны были о нем заботиться, чистить и следить за безопасностью, на стену вешать незаряженным. Когда Станислав, будучи студентом, приезжал домой, он частенько ходил на охоту со слугой, который в отсутствии хозяина иногда брал без разрешения его ружье и один ходил в лес. Скорее всего, в этот фатальный день лакей повесил га стену ружье с пулей в стволе, а Стас, двадцатилетний юнец, шутки ради и заигрывая с четырнадцатилетней Вандой, схватил ружье. Он стал гоняться за сестрой вокруг клумбы перед входом в дом, крича: «Я тебя сейчас застрелю!». Нажал на спуск и… О Феликсе будет еще много

подобных легенд.

Семейная драма после смерти Ванды была настолько глубока, что память о ней решили вытеснить из сознания близких. Из семейных альбомов убрали ее фотографии, ни в одном из писем Дзержинский даже не упоминает о младшей сестре.

Со временем многочисленная ватага братьев и сестер, как это бывает в жизни, разбрелась по миру.

Сестра Альдона стала его поверенной на всю жизнь. С ней Феликс поддерживал самый тесный контакт, потому что именно она воспитала его и была ему во многих отношениях как мать. Заботилась о нем, наставляла, бранила, навещала в тюрьме и передавала передачи с едой, бельем и книгами. Сама необычайно набожная, она заботилась о душе Феликсика, как нежно называла его почти до конца жизни. В ней соединились сильная личность, шляхетская изысканность и обычная человеческая доброта. Она обладала способностью объединять около себя дальних и ближних родственников, которые по сей день вспоминают о ней с огромной теплотой. В 1892 году (то есть в то время, когда Феликс учился в гимназии) она вышла замуж за Гедымина Булгака, совладельца имения Мицкевичи, и стала жить в Вильно, затем переехала в бобруйское поместье, где ее муж был управляющим. Родила четверых детей[24]. Феликс очень любил навещать эту семью. Он вспоминает об этом в письмах Альдоне. Например, из Женевы (1902):

> Как там Тонио, Рудольфик и Хелена? Наверное им очень скучно сейчас, осенью и доставляют тебе много хлопот. Хотелось бы их увидеть, обнять, посмотреть, как они выросли, послушать их плач, смех, игры и шалости, услышать, как маленькая Манечка в кроватке, не отпуская меня, шепчет: «Не пущу, не пущу», а Тонио выбирается из кроватки, чтобы еще раз поцеловать дядю на ночь; хочу увидеть и серьезного Рудольфа. Ходить с ними за грибами, бегать с ними и чувствовать их, детей, около себя.

Племяннику Рудольфу (1903):

> А помните, как мы ходили в лес за грибами, как Манечка упала и потом я ее нес домой на руках, как вместе шалили, как вместе с Мамой и тетей Марыней ездили в лес за земляникой, как Тонио съел ягоды, а Рудольфик собирал? Я обо всех вас помню, потому что очень вас люблю[25].

Младший сын Альдоны – Антоний Ежи Булгак (Тонио, как Феликс называл его в письмах) был одним из адъютантов маршала Юзефа Пилсудского. После офицерского училища в звании подпоручика он служил в кавалерии во время польско-большевистской войны, был ранен, награжден орденом Виртути Милитари. В 1923 году женился на племяннице Пилсудского Ванде Юхневич, с которой некоторое время жил в Сулеювеке[26].

С самым старшим братом Феликса Станиславом после трагической смерти сестры Ванды произошли диаметральные перемены: он бросил учебу, стал замкнутым и нелюдимым. По возвращении из Петербурга он занимал должность высшего чиновника земского банка в Вильно. Как старший сын, он унаследовал Дзержиново. Не женился и не имел детей. В июле 1917 года в усадьбе ночевали русские солдаты, возвращавшиеся с фронта – может быть, дезертиры. Увидев, что они бросают окурки на деревянный пол, Станислав сделал им замечание, что они могут вызвать пожар. Этого хватило. Солдаты убили хозяина и разграбили усадьбу. Через несколько дней в Дзержиново приехал извещенный о трагедии Феликс, чтобы похоронить брата. «Бандиты ради грабежа убили брата Станислава. Не мучился, нож попал прямо в сердце (…) Теперь дом пуст, все в страхе разбежались»[27] – писал он в августе жене. Феликс сделал еще кое-что. Об этом из Петрограда он сообщил письмом дочери Альдоны Марии:

> Я должен тебе сообщить, что Альдона отдала Стасу на сохранение драгоценности, они были закопаны. Служанка Эмилька показала мне место и я их откопал. Шкатулка потемнела, у Глоговской[28] мы переписали, что там было. Высылаю тебе список. У себя я это оставить не мог, поэтому закрыл в несгораемом и опечатанном сейфе у Михала Винавера, Москва, Фурманный переулок,

18, кв. 14, с тем, что он может их отдать только Альдоне или, в случае несчастья, ее детям[29].

Через несколько лет, когда Феликс стал председателем ВЧК, убийцы Станислава были найдены и расстреляны.

Вторая сестра Дзержинского, Ядвига, была необычайно красивая, но при этом легкомысленная и любящая развлечения. Она хотела как можно скорее улететь из семейного гнезда, и ее быстро выдали замуж за помещика Кушлевского, который был много старше ее. Но долго она в супружеских узах не выдержала. Сбежала, оставив мужу маленького сына Ежи[30], а сама, к великому огорчению Альдоны, вела разгульную жизнь в Вильно. Родила дочь, которую также назвала Ядвигой (по одной версии

отцом был князь Хенрик Гедройц, по другой – офицер грузинского происхождения) и с которой в 1915 году переехала в Москву. Там она поддерживала связь как с Феликсом, так и с другим братом Владиславом. После октябрьской революции она жила недалеко от Кремля, оставаясь с влиятельным братом в тесном контакте.

Казимир, который был на два года старше Феликса, обладал выдающимися математическими способностями, но это был тип вечного студента. Он вел развлекательный образ жизни, долго учился в технологическом институте Карлсруэ. Там же, на станции он познакомился с Луцией (Люси) Шиатти, итальянкой по происхождению. Они поженились лишь в 1918 году. Жили в Варшаве, где Казимир работал инженером в министерстве путей сообщения, а когда он вышел на пенсию, переехали в Дзержиново. Во время оккупации Казимир принимал активное участие в создании на территории Налибокской пущи польского подпольного и партизанского движения, а Луция, работавшая в немецкой комендатуре переводчицей, имела доступ к ценной информации и передавала ее членам движения сопротивления. Оба они погибли. В июне 1943 года немцы арестовали местного парнишку по подозрению в сотрудничестве с партизанами. Луция за него поручилась. В августе парнишку снова поймали, уже с оружием в руках, и Луцию немедленно задержали. Казимир, скрывавшийся в то время под чужой фамилией, не захотел оставить жену в беде и сдался. Их расстреляли вместе. Они похоронены на кладбище в селе Ивенец. Дзержиново, в отместку за подпольную деятельность хозяина, немцы сожгли[31].

Игнатий, на два года младше Феликса, после окончания факультета естественных наук Московского университета работал в Варшаве сначала учителем, а затем инспектором в Министерстве религии и народного образования. Он женился на Станиславе Сила-Новицкой, у них было двое детей – Ванда и Ольгерд. После войны Игнатий переехал в Казимеж Дольны на Висле, где работал директором лицея. Умер в 1953 году – единственный из братьев, умерший в своей собственной постели.

Самый младший Владислав стал известным неврологом. Он окончил медицинский факультет Московского университета, потом работал и делал карьеру в Москве, Харькове и Екатеринославе (ныне Днепропетровск), где в 1919 году участвовал в создании университета[32]. У Владислава были способности гипнотизера. Вся семья помнит встречу в имении Вылёнги – Владислав женился на Софье Сила-Новицкой, сестре Станиславы – когда он на глазах у всех погрузил Феликса и Игнатия в гипнотический сон. В России он поддерживал тесный

контакт с Феликсом, но энтузиастом революции не был, в отличие от своей дочери, тоже Софьи. Жена тоже разделяла его взгляды лишь частично. Когда брак распался, обе женщины уехали в Москву, а Владислав, получив от Феликса, как председателя ВЧК, разрешение, вернулся в 1922 году в Польшу[33]. Здесь он продолжал свою медицинскую карьеру: написал учебник по неврологии (впоследствии очень популярный в медицинских институтах) и работал ординатором в больницах Перемышля, Кракова, а с 1930 года – в Лодзи. В 1937 году его избрали членом Главного правления Польского неврологического общества. Во время войны Владислав, говорят, сотрудничал в Лодзи с АК[10]. В феврале 1942 года его арестовало гестапо во время крупной акции немцев, нацеленной против польского подполья. Владислав был расстрелян 20 марта 1942 года в Згеже вместе с сотней других поляков.

Было такое время в межвоенный период, когда многие Дзержинские (братья Казимир и Игнатий с семьями, а также дети и внуки кузена Юстина, который обосновался в Бердичеве) жили в Варшаве. Трамвай номер 25 называли "семейным трамваем", потому что все жили на его маршруте. А отпуска и каникулы проводили в Дзержинове, куда приезжали также Альдона и Владислав с семьями.

Биограф Иосифа Сталина Саймон Себаг Монтефиоре в книге *Сталин. Ранние годы деспота* проводит такое сравнение:

> Сталин подружился с Дзержинским, основателем тайной полиции, наверное, потому, что поляки и грузины отождествлялись друг с другом как гордые народы, угнетенные Россией. Оба должны были стать священнослужителями, писали стихи, оба были помешаны на лояльности и предательстве. Оба были искусными практиками тайной полицейской работы. У обоих были властные матери и бесчувственные отцы. Оба были страшными родителями; существами фанатичными и одинокими. И что поражает, принимая во внимание такое огромное сходство, они стали союзниками[34].

Является ли такого типа сравнение полностью правомерным? Из примечаний к книге вытекает, что Монтефиоре черпал информацию о Феликсе из книги Дональда Рейфилда *Сталин и его подручные*. Идя по этому следу, мы приходим к источникам, которыми пользовался Рейфилд. И тут – неприятное сопоставление с… графом Богданом Якса-Роникером.

На каком основании указанные авторы считают Эдмунда Дзержинского бесчувственным отцом? Из семейной переписки и

воспоминаний явственным образом следует нечто полностью противоположное. А уж сравнение его с пьяницей сапожником Виссарионом «Бесо» Джугашвили, который избивал жену и сына, и вовсе походит на глубокое недоразумение[35].

А мать? Для Монтефиоре она – «властная мать», а для Рейфилда – «любящая». Невозможно до конца понять, в чем проявляется эта властность, о которой говорит Монтефиоре. Может, в том, что в возрасте тридцати двух лет она овдовела и была вынуждена одна заниматься воспитанием восьмерых детей? Ее сравнение с несчастной Екатериной «Кеке» Джугашвили – это очередное недоразумение. Дочь Сталина вспоминала, что когда ее отец был мальчиком, бабушка его била. Как это можно сопоставить с воспоминаниями из детства, которыми Феликс делился в письме Альдоне? Неужели «шлепки», которые запомнились ребенку лишь потому, что были единственным случаем, можно сравнить с «побоями», о которых писала Светлана Аллилуева?

Попытки сопоставить личность Сталина и личность Дзержинского, наверное, имеют под собой основание, но поиск аналогий в их детстве подобно блужданию в густом тумане. Ранние годы жизни Феликса трудно поддаются психологическому анализу, так как каждому можно было бы пожелать такого счастливого детства, прожитого в атмосфере любви и среди самых близких людей.

II. Свет пришел с востока. Революционеры

Польские земли в семидесятых и восьмидесятых годах XIX века напоминали губку, впитывающую новые идеи. В XIX веке произошли большие изменения в сознании европейцев относительно их политического и общественного статуса. С одной стороны, поляки ловили любую западную новинку, а с другой – впитывали в себя то, что шло с Востока и представляло собой своеобразную смесь российских революционноимперских тенденций и усвоенных ими, поляками, западных идей. Польское подполье, заложившее свои основы на аннексированных Россией территориях, несмотря на связи с такими же сетями на Западе, находилось, однако, под сильным влиянием подобных структур в самой России – стране, которая вскоре встала во главе подпольных движений в Европе. Этому способствовало сохранявшееся самодержавие, строй уже устаревший для европейских условий того времени. Отсюда и большое удивление маркиза Астольфа де Кюстина в *Письмах из России*, изданных в 1893 году: «Европа, говорят в Петербурге, выбирает путь, когда-то избранный Польшей. Она находит выход своей энергии в пустом либерализме, в то время как мы остаемся могучими именно потому, что мы несвободны. Мы терпеливо переносим угнетение, а других заставляем платить за наш позор»[36]. Такая идеологическая основа явилась хорошей питательной средой для зарождающегося социализма, в том числе и польского социализма. Людвик Кшивицкий потом напишет: «К сознательности мы дошли чужим умом. Свет пришел с Востока»[37].

Период деспотического правления Николая I (1825–1855) после громкого, но неудачного восстания декабристов, давал идеальную почву для социалистической утопии[38]. Первым западным утопистом, которому в первой половине XIX века удалось пробиться к сознанию русских, был Клод Анри де Сен-Симон, французский сторонник диктатуры в руках профессионалов (многие годы спустя Ленин создаст диктатуру в руках профессиональных революционеров). Чуть позже там начали изучать труды Роберта Оуэна, Пьера Жозефа Прудона и Шарля Фурье – автора идеи об обществе, живущем в фаланстерах (после 1917 года фаланстеры будут заменены колхозами). Эта идея нашла в России особенно благодатную почву: здесь существовали так называемые *общины*, то есть сельские товарищества. Их основу составляло совместное использование жителями данной деревни земли и окрестных лесов, а также

совместная ответственность за них. «Вместе с общинностью возник идеал своего рода «уравнительного коммунизма», – пишет историк Борис Егоров. – Бедность ценилась больше, чем богатство, быть богатым оказывалось чем-то почти постыдным»[39].

Другой национальной чертой, которая сыграла немаловажную роль в преобразовании России XIX и XX века, была *безудерж*, то есть отсутствие каких-либо сдерживающих факторов[40].

> Она является оборотной стороной рабства – крайности порождают крайности, – приводит историческую аргументацию Борис Егоров. – Злоупотребление пьянством «внутри» сословия подданных, то есть крепостных крестьян – это только начальный этап, далее уже могли совершаться побеги, создание разбойничьих шаек, бунты Разина и Пугачева. И в этой безудержности, лишенной основ, домашнего очага, развивались, конечно, не творческие элементы, но деструктивные. Жги усадьбы, вешай и расстреливай всех несогласных, круши до фундамента старый мир.

Поэт Николай Огарев, ближайший соратник Александра Герцена, излагает такую вот стихотворную декларацию российских сторонников утопии:

> Ученики Фурье и Сен-Симона,
> Мы присягали, что всю жизнь посвятим
> Народу и его освобождению,
> За основу возьмем социализм.

Герцен, в свою очередь, идет еще дальше: «Может, Россия сдохнет, как вампир, но может и перейти к наиболее неограниченному коммунизму с той же легкостью, с какой бросилась с Петром I в европейскость”[41]. А Константин Леонтьев – ультраконсервативный философ, прославившийся своей идеей «замораживания России», чтобы уберечь ее от влияния Запада – вещал зловеще, что вся Европа неуклонно идет к социализму, который, по правде сказать, является новым феодализмом, еще более деспотичным, чем предыдущий. Он назвал его новым рабством. А в России «земля более рыхлая, строительство более легкое», поэтому новые идеи приживутся здесь значительно быстрее.

После поражения в крымской войне ново помазанный царь Александр II решается на проведение реформ, важнейшей из

которых была ликвидация крепостного права[42]. По новым законам крестьяне могли приобретать землю в собственное владение за часть ее номинальной стоимости с возможностью рассрочки на несколько лет. К сожалению, на практике все выглядело значительно хуже. Не был принят во внимание тот факт, что крестьянин, обремененный налогами и долгом за землю, не будет в состоянии всего этого выплачивать. Это привело к крестьянским восстаниям, и власти применили репрессии. Такая обстановка, с одной стороны – разрядки напряжения, потому что проведение реформ было все-таки проявлением послаблений со стороны царя, а с другой – неспособности осуществления этих реформ, вызвала значительный рост заинтересованности новыми идеями[43].

Одним из ведущих революционных деятелей был Михаил Бакунин. Увлеченный Гегелем, он провозглашает концепцию революционного отрицания и заявляет: «Страсть к разрушению является одновременно страстью к созиданию»[44], а обязанностью социальной революции является уничтожение государства на следующий день после своей победы, потому что в противном случае эта победа окажется бесполезной (ликвидация института государства в будущем станет мечтой Ленина). При этом Бакунин требовал полной свободы для угнетенных империализмом народов, особенно выделяя польский народ, за который он страстно болел во всех его порывах к независимости. Однако, среди русских, даже в кругах интеллигенции, его взгляды по поводу предоставления свободы угнетенным народам не встречали поддержки. Потому что здесь российский империализм шел в паре с революционным движением[45].

Бакунин в своем желании разрушить все старое, не предлагая взамен ясно очерченного образа нового, достиг почти максимального уровня радикализма. Из-за своей антипатии к государству он вступил в конфликт со сторонниками марксизма, но, спустя годы, эта антипатии окажется прямо-таки пророческой. Подтверждением тому служат его высказывания на страницах брюссельской *La Libert0* о том, что после революции государство будет сильно централизованным: в нем будет установлен казарменный режим, при котором пролетарии будут низведены до массы в мундирах, живущей в такт барабанного боя; в результате в стране воцарится рабство, а во внешней политике будет превалировать перманентная война.

Дальше Бакунина в радикализме пошел только Сергей Нечаев, заявив: «мы берем на себя исключительно разрушение существующего общественного строя; созидание – это не наше дело»[46]. В своем стремлении к разрушению он достиг апогея,

когда вознамерился разрушить отношения внутри самих революционных кружков, сея среди своих товарищей сумбур и разброд, взаимную подозрительность и, наконец, подговаривая их совершить преступление в отношении своих же друзей[47]. В своем известном *Катехизисе революционера* он прямо указывает на выгоду как на единственный ощутимый результат кружковой деятельности. Для революционера морально все, что ведет к триумфу революции, и неморально и преступно все то, что этому триумфу препятствует. Единственной положительной эмоцией является ненависть, так как она заставляет человека совершать геройские поступки. Поэтому царское угнетение, репрессии, ссылки, тюрьмы и смертная казнь – все это выполняет исключительно позитивную функцию! Нечаев в своем безумии отлично прочувствовал самую темную сторону человеческой природы: ничто так не объединяет людей, как совместно совершенное преступление.

В семидесятые годы подают голос члены кружка «чайковцев». В историю войдет один из них: Петр Кропоткин, продолжатель дела Бакунина, в силу происхождения прозванный князем-анархистом. В программе «чайковцев» 1873 года Кропоткин заявляет: «в будущем желанном строе мы приходим к отрицанию любой личной собственности, любой собственности товарищеской, паевой или акционерной, артельной и т. п.»[48]. Он предлагает также простой способ решения проблем просвещения, что само по себе поражает и удивляет, так как Кропоткин сам был ученым, достаточно известным географом. Его предложения по реформе образования согласуются с подходом анархистов ко многим областям жизни:

> Встает вопрос, что более полезно для общины: чтобы школьный учитель занимался только обучением детей в течение 7–8 часов (…) или чтобы одновременно он ежедневно или поочередно выполнял также и другие обязанности, например, занимался тяжелым физическим трудом, колол дрова для школы, в случае необходимости мыл и натирал полы[49].

Идею Кропоткина о равенстве физического и умственного труда развил Николай Морозов, «чайковец», впоследствии член Народной воли. В *Повести моей жизни* он опишет разговор двух революционеров:

> В будущем, – говорит Жуковский, – люди будут заниматься прежде всего физической работой и только после ее выполнения – умственным трудом (…) Когда

> начнется социальная революция, я пойду вместе с толпой (…) и буду требовать, чтобы задерживали всех и заставляли показывать ладони: – Есть мозоли? – Тогда иди с миром. – Нет? – На смерть![50]

Русские народники быстро установили контакты с западными социалистами во главе с Карлом Марксом и Фридрихом Энгельсом. Маркс и Энгельс горячо поддерживали народничество, но и теоретически полемизировали с его представителями, тем более, что при написании *Капитала* Маркс принимал во внимание исключительно условия Западной Европы. По мнению обоих социалистов, Россия, чтобы прийти к социализму, должна сначала пройти капиталистическую стадию. Русские с этим спорили:

> Ситуация в нашей стране исключительная, она не имеет ничего общего с ситуацией в какой-либо стране Западной Европы, – убеждал Энгельса в 1874 году Петр Ткачев, товарищ Нечаева. – Способы борьбы, применяемые на Западе, в самом лучшем случае для нас совершенно непригодны. Нам нужна совершенно особая революционная программа, которая должна отличаться от немецкой в такой же степени, в какой социально-политические условия в Германии отличаются от отношений в России. (…) Вы не в состоянии понять российскую точку зрения, а, несмотря на это, Вы осмеливаетесь выносить приговоры и давать нам советы. Энгельс на это отвечает: Человек, который может сказать, что революцию в какой-либо стране можно совершить легче, потому что в этой стране на самом деле нет пролетариата, но также нет и буржуазии, тем самым лишь доказывает, что ему нужно еще учиться abc социализма.

В письме Николаю Данельсон, переводчику *Капитала* на русский язык, Энгельс писал:

> История – это самая жестокая из всеех богинь, она ведет свою колесницу через горы трупов не только во время войны, но и в период «мирного» экономического развития. А люди, к сожалению, так глупы, что никогда не могут отважиться поддержать действительный прогресс, если только они не принуждены к этому страданиями, которые не находятся ни в какой пропорции к достигнутой цели[51]

– что в России было воспринято как поддержка террора. И несмотря на то, что терроризм для Маркса был «продуктом секты, ее корней, духа, иллюзий, безумия»[52], именно Россия оказалась эпицентром терроризма XIX века. Чтобы убивать, достаточно было доктрины и идеологии – а этого у русских было в избытке.

Самое время претворить теорию в жизнь. Люди, стремящиеся подстегнуть историю, делают ставку на конкретные вещи. Главной целью народников из организации Земля и воля (1876–1879) и ее преемницы Народной воли (1879–1887) становятся покушения:

1878 год – Вера Засулич стреляет в петербургского губернатора Федора Трепова (неудачно); Григорий Попко убивает в Киеве жандармского офицера барона Гекинга; Сергей Кравчинский несколькими ударами кинжала убивает в центре Петербурга шефа жандармов Николая Мезенцева. Тот же Кравчинский тремя годами ранее, выступая как энтузиаст-теоретик, заявляет, что социализм – это высшая форма всеобщего, общечеловеческого счастья, которое приглашает всех на чудесный пир жизни.

1879 год – Григорий Гольденберг убивает в Харькове губернатора князя Кропоткина; Лев Мирский стреляет в Петербурге в генерала Александра фон-Дрентельна (неудачно); Александр Соловьев стреляет в Петербурге в царя Александра II (неудачно). Вскоре после этого народовольцы решают взорвать поезд царя, возвращающегося в столицу после отдыха в Крыму, подложив в трех местах под рельсы динамит. Однако через Одессу царь не поехал, под Харьковом не успели подсоединить провода, а вблизи Курского вокзала в Москве взорвали другой поезд, в котором находились сопровождавшие царя слуги.

1880 год – столяр Степан Халтурин, член Народной воли, устраивается на работу в Зимний дворец. Он живет в подвале, над которым располагаются помещения охраны, а над ними – царская столовая. 5 февраля в обед он поджигает запальный шнур, прикрепленный к ящику с динамитом, и убегает. В результате взрыва убито и ранено пятьдесят солдат охраны, а царь, находящийся этажом выше, остается целым и невредимым. Ипполит Млодецкий стреляет в графа Михаила Лорис-Меликова, председателя комиссии по борьбе с террористами (безуспешно). Летом неудачная акция под Каменным мостом в Петербурге (террористы опоздали к проезду царского экипажа).

1881 год – седьмое покушение на царя, на сей раз удавшееся: в Санкт-Петербурге в результате взрыва бомбы погибает Александр II и террорист поляк Игнатий Гриневецкий. Но это покушение вызвало лишь увеличение насилия, так как преемник

царя Александр III оказался сатрапом, в сравнении с которым его предшественник казался воплощением доброты и благосклонности. Он создал небезызвестную Охранку, которая с этих пор неустанно ходит за заговорщиками по пятам.

1882 год – Николай Желваков убивает в Одессе прокурора Стрельникова.

1883 год – террористы Василий Конашевич и Николай Стародворский в петербургской квартире предателя Сергея Дегаева убивают известного полицейского сыщика Георгия Судейкина.

1886 год – осенью создается террористическая фракция Народной воли. Программа, разработанная Александром Ульяновым, братом Ленина, была напечатана на квартире Бронислава Пилсудского, брата Юзефа Пилсудского. Чтобы заставить царизм пойти на уступки, фракция провозглашает программу "систематического террора", то есть серии покушений, совершаемых одно за другим.

1887 год – в Петербурге, непосредственно перед запланированным покушением на Александра III, арестована группа Ульянова. Их главный идеолог Александр Ульянов, образцовый ученик симбирской гимназии (директором которой был отец Александра Керенского), а затем один из самых способных студентов зоологического факультета Петербургского университета – это фигура настолько мрачная, насколько и выдающаяся. Сын Ильи Ульянова, дворянина, высокого ранга чиновника в сфере школьного образования. В семье Саша, которого отец считал меланхоликом – самый главный, он центр внимания и предмет гордости всей семьи. Младший Володя, которого отец считал холериком, восхищается братом, завидует ему и во всем следует за ним, "отчаянно пытаясь уловить признаки внимания и одобрения"[53]. Вместе с четырьмя главными заговорщиками Саша казнен через повешение 8 мая 1887 года. Ему было только двадцать один год.

А если бы он остался в живых? Изменился бы ход истории? Может, как авторитетная и сильная личность он встал бы во главе большевиков? Или эсеров, которые переняли идеи народовольцев? Лидерами двух социалистических партий стали бы два брата. Революция пошла бы по пути, по которому она должна идти – это несомненно, ибо такова природа революции. Может, в этом случае получилась бы в меру здравая коалиция? Может, Сталин не пришел бы так быстро к власти? А может не пришел бы вовсе? Наконец, захотел бы Саша претворять в жизнь утопическую концепцию брата? Или последовал бы за другим известным эсером Борисом Савинковым, который из террориста

превратился в демократа? А, может, Александр Ульянов пошел бы по пути людей, создававших первое в России демократическое правительство: февральское правительство князя Георгия Львова и Александра Керенского – такое развитие событий вполне вероятно.

III. Как густав стал Конрадом. Вильно

Юзеф Пилсудский назовет Вильно «милым городом». Дзержинский тоже будет хорошо о нем вспоминать, хотя и немногословно. «Пиши мне на открытках с видами Вильно[11]. Печатные надписи совсем не мешают даже если бы они были на литовском языке, а Вильно люблю – столько воспоминаний"[54], – напишет он сестре Альдоне в 1915 году из орловской тюрьмы. Именно в Вильно с молодым Феликсом произойдет перемена подобная той, которую пережил Густав из поэмы Мицкевича[12]. Несостоявшийся священник превратился в радикал-интернационалиста.

Он попал в Вильно десятилетним мальчиком. Все поколения Дзержинских следовали принципу, что если нет богатства, то надо по крайней мере иметь голову на плечах и образование, подтвержденное документом. Хелена и Эдмунд Дзержинские обеспечили дочерям добросовестное обучение дома, а для сыновей копили деньги на учебу в гимназии и получение диплома о высшем образовании. Итак, в сентябре 1887 года овдовевшая пани Хелена приезжает в город с тремя старшими сыновьями: пятнадцатилетним Станиславом, двенадцатилетним Казимиром и десятилетним Феликсом. Им предстоит начать учебу в гимназии, в то время как девочки и младшие сыновья остаются в Дзержинове под присмотром семнадцатилетней Альдоны. Этот год имеет символическое значение с перспективы будущей революционной деятельности Феликса: на территориях Польши, находившихся под властью России, зарождается рабочее движение, в нескольких крупных городах проходят забастовки. В этом же году разгромлена группа Ульянова. В ее деятельности Вильно играет немаловажную роль[55].

Феликс с братьями поселяется в пансионе панны Буйко на улице Виленской. Ему предстоит учиться в I Виленской гимназии, находящейся в стенах бывшего Виленского университета, закрытого после ноябрьского восстания. Место расположения школы и ее история вызывают наилучшие ассоциации. С точки же зрения образовательной программы – наихудшие. В 1866 году министром просвещения России стал консервативный граф Дмитрий Толстой, который, чтобы остудить радикальный запал учеников, расширил преподавание в классических гимназиях[56] греческого и латинского языков (до 40 процентов) за счет других предметов, а естественные науки убрал вовсе. Но реформатор Толстой не учел одного: что история Греции и Рима (а молодежь учила эти языки главным образом по древним текстам) несет в

себе огромный политический потенциал. Народовольцы неоднократно ссылались на афинскую демократию и на римский республиканизм. А Ленину, который учеником обожал классические языки, будущий политический путь укажет Юлий Цезарь.

Для польских учеников значительно худшей каторгой, чем изучение латинского и греческого, была последовательная и радикальная русификация, тем более, что с момента прихода в стены школы идеи, вынесенные из дома, вступали в болезненную конфронтацию с идеей официальной, правительственной. Юзеф Пилсудский, окончивший в 1885 году ту же Виленскую гимназию, в которую позже поступил Дзержинский[57], говорил, что школа в основном определила его идеологический выбор:

> Для меня гимназический период был своего рода каторгой. (…) меня угнетала гимназическая атмосфера, возмущала несправедливость и политика педагогов, томили и навевали скуку преподаваемые дисциплины. Долго пришлось бы рассказывать о постоянных унизительных придирках со стороны учителей, о том, как позорили и бесчестили все, что я привык уважать и любить[58].

Формированию враждебного отношения к навязанной системе способствовала и сама атмосфера в гимназии, размещавшейся в стенах бывшего университета. Ученики знали, что здесь учились Адам Мицкевич, Юлиуш Словацкий, Томаш Зан и Йоахим Лелевель, что отсюда вышли сторонники Анджея Товянского[13]. Их последователи начали организовывать тайные общества, в которые новых членов принимали только после принесения присяги – лучше всего в историческом, овеянном легендой месте. Кружки были в большей или меньшей степени радикальными, с религиозной, политической или только самообразовательной направленностью, с акцентом на привитие любви ко всему польскому. Но появилось и совсем новое течение. Так об этом вспоминает Людвик Чарковский, выпускник Виленской гимназии:

С 1873 года начали прорастать демократические и космополитические движения. Стали создаваться неклерикальные, антиклерикальные кружки, где тон задавали слушательницы петербургских высших курсов для женщин. Все польское здесь находилось на заднем плане, вперед выдвигались: "прогресс", "человечество"; девушки, может, и были, но чаще притворялись, что они очень "красные" по своим взглядам, да и внешне их можно было узнать по коротко остриженным волосам

(…), неопрятной одежде, дымящимся папиросам, по свободному общению с молодыми людьми мужского пола, по пренебрежительному отношению к старшим. (…) Интеллигенты называли их нигилистками, а людская молва переиначила в "нагалистки". (…) Дурной пример показывали эти особы – немногочисленные, но очень шумные. Жандармерия держала их в поле зрения и беспокоила постоянными обысками[59].

Ясно, что речь идет о прототипе феминисток.

Вацлав Сольский, социал-демократ, утверждал, что в кружки не входили только тупицы и отличники. «В других, свободных странах политические взгляды формируются в более зрелом возрасте или, зачастую, вообще не формируются. В Польше же в мои школьные времена молодежь в возрасте 15–17 лет уже в большинстве своем принадлежала к нелегальным школьным кружкам, которые формировали и укрепляли эти взгляды»[60]. Сольский приводит и мнение Януша Корчака о том, что период молодости делится на три этапа: романтический, патриотический и философский. Третий этап определяет, по какому мировоззренческому пути пойдет молодой человек.

Как и всем Дзержинским, Феликсу хорошо давались точные науки, и уже в возрасте четырнадцати лет он начинает заниматься репетиторством. Но у него серьезные проблемы с русским языком, и поэтому ему пришлось остаться на второй год[61]. Кроме того наступает возраст, когда начинают играть гормоны. Сестра Ядвига вспоминает, что в гимназические годы, когда Феликс собирался поступать в семинарию, ксёндз Ясиньски не советовал ему этого делать, так как «он был слишком веселый и обольстительный, бегал за гимназистками. А те влюблялись в него по уши»[62]. Они пересылали ему любовные записки, пряча их в галошах ничего не подозревающего ксендза-учителя закона божьего, который преподавал и в мужской и в женской гимназии. Феликс отвечал им тем же способом до тех пор, пока девочки не перессорились между собой на почве ревности и дело не раскрылось.

В письме жене Софии, написанном в 1914 году из X павильона Варшавской цитадели, в котором он объясняет причины своего первого идеологического выбора, Дзержинский употребляет очень специфическое выражение: «Но идти мне пришлось ощупью»[63]. С детских лет он был очень религиозным мальчиком, в какое-то время даже хотел стать священником. Фраза из письма жене оправдывает участие в первом кружке, само название которого – «Сердце Иисусово» – указывает на суть первичного выбора. Это был кружок, целью которого было изучение польской литературы и истории; руководили им

гимназисты Ромуальд Малецкий и Юзеф Баранович. Члены «Сердца Иисусова» приносили присягу на горе Гедимина, в точном соответствии с обычаем присягать в каком-то историческом месте. Их идеи ясны: борьба с царизмом во имя независимости и Бога – то есть стопроцентный романтизм Густава-Конрада и вера отца Петра. Дзержинский еще остается достойным сыном польского мессианства.

Руководителем кружка, оказывавшим, по-видимому, огромное влияние на формирование взглядов своих товарищей, был Ромуальд Малецкий. Вот как его характеризует Альфонс Моравский, лидер литовской социал-демократии:

В образовательных кружках учащейся молодежи он особенно выделялся своими способностями, своей начитанностью, красноречием, влиянием, и он занял среди своих друзей одно из первых мест. (…) Уже в 1894 году он стал председателем широкой католической организации виленской учащейся молодежи «Сердце Иисусово» и пользовался там исключительным влиянием[64].

Но вскоре произошел перелом – в 1894–1895 годах Малецкий стал симпатизировать социализму и тянуть за собой друзей из кружка. Решение Малецкого соединить иисусовцев с социалистами означало поворот в мировоззрении на сто восемьдесят градусов. Дзержинский, видимо, участвовал в этом процессе. В 1922 году он расскажет литовскому революционеру Винцасу Мицкявичюс-Капсукасу: «Когда я был в 6 классе гимназии, произошел перелом – в 1894 году. Тогда я целый год носился с тем, что Бога нет, и всем это горячо доказывал»[65].

Как могло случиться, что крепко верующий мальчик, который всего год – два назад лежал крестом в костеле и заявлял, что если Бога нет, то он пустит себе пулю в лоб – вдруг неожиданно отрекается от самой большой своей ценности? Конечно, здесь сыграла роль и юношеская запальчивость семнадцатилетнего молодого человека, и дух противоречия, и убежденность в том, что в философский период (по классификации Корчака) следует полностью вычеркнуть из биографии все связанное с предыдущими этапами детского романтизма и патриотизма. А может мысль о том, что старые польские методы борьбы за независимость – с саблей в руке и гербом на груди – это пережиток, ведущий к поражению. С точки зрения психологии внезапные изменения не являются чем-то нетипичным для периода полового созревания. Многие проходят этот этап, с тем, что для многих он является переходным; для Феликса Дзержинского он оказался преддверием ада. Можно себе представить реакцию чрезвычайно религиозной матери и сестры,

а также других близких и дальних родственников. Если он всем горячо доказывал, что Бога нет, то, конечно, в ответ наталкивался на неприязнь, жалость, обиду, может, иронию. Для вспыльчивой и склонной к экзальтации натуры это была идеальная почва, чтобы утвердиться в собственной правоте. Вдобавок Феликс искал авторитет, а харизматический Ромуальд Малецкий давал ему и идею, и дружбу, подкрепленную атмосферой конспирации.

Это происходит в то время, когда кружок «Сердце Иисусово» под руководством Малецкого начинает поворачиваться в сторону социализма, чтобы, в конце концов, окончательно объединиться с другими социалистическими кружками и группами. Вместе они создают общую организацию под названием Литовская социал-демократия (ЛСД), которая в мае 1896 года была переименована в Литовскую социал-демократическую партию (ЛСДП)[66]. Их социализм отличается от идей, провозглашенных Польской социалистической партией (ППС), прежде всего отношением к борьбе за независимость. В программе ЛСДП вместо поляка выступает рабочий, для которого классовое освобождение важнее освобождения национального. Позже Дзержинский рассказывал, что в то время один из руководителей группы, Альфонс Моравский «Заяц» (еще один авторитет Феликса), дал ему прочитать *Эрфуртскую программу*. Этот документ, принятый германскими социал-демократами несколькими годами раньше, делал упор на обобществление средств производства после естественной смерти капитализма, на введение восьмичасового рабочего дня и на необходимость улучшения условий труда рабочих как нового, очень важного социального класса. Это довольно знаменательно с точки зрения той роли, которую спустя годы будет играть Дзержинский в большевистской России: свою деятельность как социалист он начинает с изучения произведений Августа Бебеля и Карла Каутского, которые постулировали осуществление политических акций легальным путем и были противниками провозглашения революции[67].

Превращение молодого Дзержинского из Густава в Конрада было почти клакссическим, как по учебнику, примером трансформации. Остановившись на этапе члена католико-патриотического кружка «Сердце Иисусово», он мог бы стать священником. Дойдя под влиянием Малецкого до этапа социал-патриотизма – мог бы стать деятелем ППС. Но он дошел до третьего этапа и сделал окончательный выбор: пошел по пути интернационализма под влиянием прежде всего Моравского, а позже варшавских эсдеков, с которыми он знакомится на рубеже 1895 и 1896 годов. Феликс оказался в окружении именно этих, а не иных людей, он разделял их убеждения, и он пошел по этому

пути с миссионерским рвением и запалом, которые были индивидуальной чертой его личности. При этом следует помнить, что – как пишет Людвик Кшивицкий – «социализм был в то время религией не только в Польше или в России, но и в Германии»[68]. Интернационализм, как это ни парадоксально, включал в себя также христианский принцип любви к человеку.

В период изменений, протекавших внутри Феликса, нечто очень важное происходит и вокруг него: у его матери серьезные проблемы со здоровьем[69]. Обычно религиозный человек перед лицом приближающейся трагедии еще больше углубляет свою веру. Человек же отошедший от веры, может сомневаться, не является ли смертельная болезнь самого близкого человека Божьей карой за отступничество. Но есть и третья возможность: гнев на Бога или полное вытеснение Его из своего сознания за то, что Он такой безжалостный.

Рождество Христово в 1894 году Феликс проводит с матерью у бабушки в Йоде. Хелена уже испытывает сильные головные боли и головокружение, а вскоре, в более глубокой фазе болезни начинаются приступы безумия и религиозные видения. Феликс пишет Альдоне (1895 год): «Мы в неуверенности, что решит консилиум». Есть подозрение, что у Хелены опухоль мозга. Решено перевезти мать под Варшаву, в известную неврологическую клинику в Творках. Дзержинский едет туда в сентябре и 3 октября сообщает старшей сестре:

> Я оставил бедную мамочку в Варшаве; вскоре после меня (…) Стас покинул Варшаву. Он говорит (…), что Мама примерно через месяц, во всяком случае до Рождества выздоровеет и на Р[ождество] Х[ристово] соберемся все вместе, чтобы разломить с ней облатку. Ах, какой это будет радостный момент. Мы забудем о всех пережитых невзгодах, и она будет с нами, еще больше любимая, еще больше уважаемая[70].

Болезнь матери оторвала его от социалистической деятельности, по крайней мере, на какой-то момент. Это чувствуется по письмам, отчаянным по тону. Так, в октябре 1895 года он пишет Альдоне и ее мужу Гедымину: «Да, если бы не Мама и не любовь к Ней, то человек формально не видел бы удовольствия, да что там, даже потребности в жизни. Как бы мне хотелось, чтобы меня никто не любил, чтобы утрата меня ни для кого не была бы болезненной, тогда я мог бы полностью собой распоряжаться…»[71]. Узнав о том, что нет никаких шансов на выздоровление матери, он пишет Альдоне: «…горькая действительность светит теперь в глаза»[72].

Хелена Дзержинская умерла 14 января 1896 года. Ей было 46 лет. Ее похоронили в Вильно на Бернардинском кладбище. На надгробной плите написано: «Упокой, Господи, душу лучшей из матерей». Для Феликса мать осталась объектом поклонения, образцом того, что может быть наилучшего в мире. Когда она умирала, ему было девятнадцать лет. Ее смерть оставила в его душе чувство пустоты. «Смерть – это избавительница, – напишет он Альдоне, – чуть раньше или чуть позже, все равно, потому что в самой жизни нет ни малейшего смысла»[73]. И уже никогда больше он не изменил своего подхода к жизни: не признавал ее Божьим даром, а значит и не стоило бояться смерти. Одновременно надо было оставить после себя что-то для человечества – отсюда его отчаянные поступки в будущем и абсолютное посвящение себя общему делу. Своей возлюбленной Сабине Фейнштейн он даже скажет, что «человек, который чувствует, что больше ничего в жизни он не сможет отдать из себя – у него есть не только право, но он должен это сделать»[74]. Совершить самоубийство.

Без сомнения, смерть матери – это один из элементов, которые составляли фундамент его убеждений – но не единственный и не важнейший[75]. Чтобы понять, каким образом несостоявшийся священник превратился в красного палача, следует обратиться к мастеру зла Федору Достоевскому. Известный нам по его последнему роману Алеша Карамазов – это юноша с чистой душой и невинным сердцем, верный ученик старца Зосимы. Он верит в возрождение мира через любовь и хочет стать монахом. Так складывалась судьба Алеши в 1880 году. Но уже в январе 1881 года Достоевский скажет своему издателю: «Вы думаете, что в моем последнем романе *Братья Карамазовы* было много пророческого? Подождите продолжения. В нем Алеша убежит из монастыря и станет нигилистом. И мой чистый Алеша убьет царя»[76]. Вторую часть романа Достоевский написать не успел, но он знал, что говорит. В свое время он был революционером и отлично знал это русское безумие, нараставшее из десятилетия в десятилетие, из года в год. И именно оно окончательно превратит польского романтика в председателя кровавого учреждения – который отрекся от Бога, но не от Христа, о чем еще пойдет речь.

Незадолго перед смертью матери Феликса приютила ее сестра София, баронесса Пиляр фон Пильхау, проживавшая тогда в Вильно на улице Поплавской. Юноша доставлял тетке серьезные проблемы: она получила в наследство от сестры беспокойного племянника – конспиратора, за которым по пятам ходили шпики, да который к тому же все больше пропускал школу.

Весной 1896 года Дзержинский окончательно бросает гимназию и в июне съезжает от тетки. Он бросил школу почти сразу после смерти матери, которая, без сомнения, не позволила бы ему это сделать. Феликс обосновывал свое решение тем, «что вера должна повлечь за собой поступки и что следует быть ближе к массам и самому учиться вместе с ними»[77]. Он говорил Винцасу Мицкявичюс-Капсукасу: «Когда приближался экзамен на аттестат зрелости, я бросил гимназию, мотивируя это тем, что развиваться можно и находясь среди рабочих, а университет только отвлекает от идейной работы и создает карьеристов»[78]. Такие же тезисы провозглашали и позитивисты[79].

Сохранилось заявление директора гимназии об уходе Феликса из школы, датированное 1897 годом:

> Дзержинский, еще будучи в гимназии, обратил на себя внимание руководства школы тем, что всегда был недоволен нынешним положением. Иногда он это высказывал, правда, в такой форме, которая не давала оснований отчислить его из школы. Несмотря на это, руководство гимназии, заметив у него такие настроения, не взяло на себя ответственность выдать ему аттестат зрелости, поэтому ему пришлось покинуть гимназию. Два его старших брата также политически неблагонадежны[80].

Тетка Пиляр направила дирекции школы письмо, в котором просила выдать документы Феликса, что и было сделано. Оценки у него были скверные: двойка по русскому языку, удовлетворительно по другим предметам и только одна четверка – по религии, и у него оставался шанс сдать экзамены в другой школе, а потом поступать в университет.

С этого момента начинается новый период в жизни Феликса Дзержинского – этап революционера, все больше отдаляющегося от семьи. «Умер Густав – родился Конрад»[81], который быстро узнает вкус тюрьмы, ссылки, кнута и сибирского хлеба. Продолжение истории он будет писать уже не чернилами, а кровью.

IV. Юноша из огня и серы. Агитатор

> Мы собрались в восемь вечера, чтобы расклеивать на улицах города прокламации, – вспоминает Анджей Гульбинович, слесарь и революционный поэт. – Я купил несколько пачек махорки, раздал каждому, чтобы в случае, если поймает полиция, сыпануть в глаза и удирать. На каждого пришлось по 50 экземпляров и каждый должен был расклеить их до 4 часов утра в определенном районе. «Яцек» тоже взял 50 штук и клей. Но я забыл ему рассказать, как проводить эту процедуру расклеивания (берется две прокламации, намазываются клеем и намазанными сторонами прикладываются друг к другу; при расклеивании достаешь их осторожно из-за пояса, разъединяешь и наклеиваешь одну и неподалеку – другую). «Яцек» добросовестно расклеил прокламации в указанном ему районе, но весь живот и руки измазал клеем. «Ну, – говорю, – если бы ты попался, то бы не выкрутился». «Э, ерунда, у меня была твоя махорка и мои длинные ноги, в случае необходимости они бы меня спасли»[82].

«Яцек» или «Якуб» – это псевдонимы Феликса Дзержинского, после этой акции – уже партийного агитатора. Приближался день 1 мая 1896 года. На собрание Литовской социал-демократии в квартире Анджея Домашевича собралось около пятнадцати человек, в том числе три представителя интеллигенции, три врача, четверо рабочих и четыре юноши (ученики гимназии). Было принято решение отметить пролетарский праздник. Первое задание: по всему Вильно надо распространить партийные прокламации. Так началась партийная работа Дзержинского. Позже он вспоминал: «Я учился марксизму и вел кружки среди подмастерьев в мастерских и на фабриках. Там в 1895 году меня и назвали «Яцеком»[83].

Решение о создании на Виленщине новой партии на основе программы Розы Люксембург и созданной ею Социал-демократической партии Царства Польского (СДКП)[84], было принято в 1895 году. Роза Люксембург– необычайно интеллектуальная и сильная личность, за что даже ближайшие соратники называли ее «мегерой» – вела свою деятельность прежде всего в Берлине, где быстро развивалось социал-демократическое движение. Попытки объединить социализм с движением за независимость – к чему стремилась ППС –

Люксембург считала тупиком для польских рабочих. По ее мнению, они жили в трех разных державах, а значит в трех разных экономических и политических системах, руководствуясь особыми интересами. Поэтому образование польского государства она считала скорее помехой для рабочего движения, так как, в ее представлении, это будет буржуазное государство. «Разве возрождение Польши избавит рабочих от нищеты?»[85] – спрашивала она в партийных листовках.

Инициатором создания Литовской социал-демократической партии был Анджей Домашевич, у которого были личные контакты с Розой Люксембург (хоть он и не любил ее за деспотичный характер). Перед новой партией вставали те же проблемы, о которых говорила Люксембург. На организационном собрании, после которого Дзержинский ночью расклеивал прокламации, тоже завязалась острая дискуссия над предложением некоторых участников, которые хотели включить в программу партии тезис о борьбе за всероссийскую конституцию с автономией для Литвы. Это было равнозначно непризнанию независимой Речи Посполитой и предложение не прошло[86]. На собрании присутствовал Стасис Матулаитис, врач и публицист, и, по его словам, Феликс, одетый в форму гимназиста, показался ему тогда «скромным и несмелым». И правда, на этом собрании Феликс больше слушал, чем говорил. Ему было всего 18 лет, а Домашевич стал еще одной фигурой, которая сыграла в его жизни существенную роль.

В ту весну 1896 года по случаю первомайского праздника в Каролинском лесу прошло специальное партийное собрание рабочих агитаторов с участием представителей интеллигенции. День 1 мая приходился на пятницу, рабочие опасались уходить с работы, поэтому демонстрации и празднование перенесли на воскресенье 3 мая. Вспоминает Анджей Гульбинович, друг Феликса:

> Было нас, рабочих, если мне память не изменяет, 49. Выступали тов. «Яцек» и я. Пели революционные песни, на высоком шесте развевался красный с соответствующей надписью. Потом рабочие нас подхватили и стали качать на руках, за что «Яцек» рабочую братию слегка отчитал[87].

Эти воспоминания дополняет Альфонс Моравский:

> Его речь и другие горячие выступления так взволновали слушателей, что на обратном пути в город эти молодые демонстранты во главе с Ф.Дзержинским, с

революционными песнями и криками набросились – не имея лучшего объекта – на молодое дерево и вырвали его из земли с корнем. При этом они с энтузиазмом восклицали: «Так мы вскоре поступим с русским самодержавием»[88].

В этих первых акциях было больше эмоций, чем выверенных решений, больше радости, как у детей, чем тактически рассчитанных действий.

Дзержинский вспоминал: «В 1896 годуя просил товарищей посылать меня на массовую работу, не только на кружки. (…) Мне удалось стать агитатором и получить доступ к еще нетронутым массам – на вечеринки, в пивные, туда, где собирались рабочие»[89]. Оказалось, что молодой Феликс легко устанавливает контакты с людьми, что при шляхетском красноречии выходца с восточных окраин агитаторская работа становится его стихией. Среди рабочих он с самого начала чувствует себя превосходно – позже он писал жене из тюрьмы, что лучше всего ему среди детей и рабочих. А рабочие спустя годы вспоминали, что с ним можно было говорить как о большой политике, так и о каждодневных заботах рабочей семьи или об их развлечениях.

Анджею Гульбиновичу, прекрасно знавшему рабочую среду, так как он сам был выходцем из нее, так запомнился Дзержинский того времени: «Он сразу пришелся нам по сердцу, потому что был прост в словах и в обхождении, живой, подвижный и энергичный (…). Это был юноша из огня и серы. На собраниях, если мне память не изменяет, длинных докладов и речей не говорил (…), а если высказывался, то коротко и ясно»[90]. Гульбинович даже говорил, что до появления товарища «Яцека» они были плохо организованы и слабо ориентировались в политических вопросах, а он стал читать им брошюры и объяснять их содержание.

Большое влияние на настроения рабочих Вильно тех лет оказывала ППС, но так как за сознание рабочих боролись также и эсдеки (социал-демократы. – *Прим. перев.*), то соперничество между этими социалистическими организациями было чрезвычайно напряженным. Эмоции с обеих сторон били через край: не раз при случайных встречах дело доходило до мордобоя, потому что рядовыми членами были, главным образом, молодые горячие головы, часто сопляки и обычные хулиганы. Случалось, что использовались даже методы, не имеющие ничего общего с партийной совестью: доносили друг на друга в Охранку. И только совместная отсидка в тюрьме или конфронтация с эндеками (национал-демократами. – *Прим. перев.)* консолидировала их во

имя социалистических ценностей.

Дзержинский и Гульбинович тоже прошли через это. А может это владельцы какой-нибудь фабрики, где велась агитация, заплатили кому надо за то, чтобы устроить им взбучку? Во всяком случае:

Мы встретились с «Яцеком» в условленном месте и пошли, разговаривая друг с другом, – вспоминает революционный поэт. – Вдруг ни с того, ни с сего на нас напало пятеро хулиганов с палками. Били меня и «Яцека» самым жестоким образом. Мне удалось только покусать одному мерзавцу ухо и палец. Избитые, все в крови, мы попросили воды у какой-то женщины из ближайшего дома, немного обмылись и пошли в полицию, чтобы составить протокол об избиении[91].

В 1922 году в одном из интервью Дзержинский рассказывал, что они с Гульбиновичем ходили на вечеринки в пивные, где после работы собирались рабочие. «Там я вел агитацию по экономическим вопросам. О политике (царе и ему подобных) говорить было нельзя. Когда однажды в корчме около Стефановского рынка один старый рабочий заговорил о восстании, другие рабочие побили его бутылками»[92]. Гульбинович объясняет это следующим образом: «Было брожение рабочих масс, но прежде всего на фоне чисто экономических требований»[93]. Эта злость на глашатаев национально-освободительных лозунгов имела вполне рациональную основу: польский фабрикант угнетал рабочего точно так же, как русский или немецкий. Агитаторов били, но и штрейкбрехеров лупили тоже. Смертельные жертвы также были – вспомнить хотя бы известных в Вильно шпиков[94].

В январе 1897 года в Петербурге прошла крупная забастовка прядильщиков и ткачей. ЛСДП быстро воспользовалась случаем и 21 января выпустила воззвание к вильненским рабочим, которое было распространено на фабриках. Дзержинский часто занимался выпуском воззваний к рабочим.

> У нас не было достаточно хорошо законспирированной квартиры, где можно было бы в относительной безопасности хранить гектограф и печатать листовки, – пишет Гульбинович. – Тов. «Яцек» взялся решить эту проблему и решил. Он снял квартиру на Снеговой улице рядом с полицейским участком. Прихожу к нему на новую квартиру, а мой «Яцек» работает на гектографе, аж пот со лба капает. Говорю ему: по-моему не очень безопасна такая работа около волчьей пасти. «Яцек» пожал плечами: именно здесь

самое безопасное место, потому что им и в голову не придет под самым своим носом искать «нелегальщину». Вот, лучше помоги, будет быстрее[95].

Вскоре среди литовских социал-демократов прошли массовые аресты. Надо было скрыться и законспирироваться.

Что касается двадцатилетнего Дзержинского, то эта ситуация вовсе не оказалась для него безнадежной – она просто означала партийную командировку в места, где у него была возможность установить контакт с большой группой рабочих. «В начале 1897 года партия направила меня в качестве агитатора и организатора в Ковно, промышленный город, где не было социал-демократической организации и где совсем недавно потерпела провал ППС», – пишет он в автобиографии[96].

Альфонс Моравский хорошо помнит, что Феликс поехал в Ковно как простой рабочий. Это очень важно. С этого момента Дзержинский хочет не только агитировать рабочих – он стремится стать рабочим, и в значительной мере это ему удается. В будущем во время встреч с партийными лидерами его часто будут воспринимать как представителя рабочего класса. Как, например, Лев Мартов, возглавлявший меньшевиков.

Согласно полицейскому рапорту Дзержинский «прибыл в Ковно 18 марта сего года [1897] и поселился на квартире в доме Келчевской, а оттуда 6-го июля переехал в дом Воловича»[97]. Об этом периоде Феликс напишет: «Условия моего пребывания в Ковно были чрезвычайно тяжелые. Я устроился на работу переплетчиком и очень бедствовал. Иногда слюнки текли, когда я приходил к рабочим домой, и в нос ударял запах блинов или чего-нибудь еще. Иногда рабочие приглашали вместе поесть, но я отказывался, уверяя, что уже ел, хотя в желудке было пусто»[98]. Почему отказывался? Потому что сытый голодного не разумеет? Мог, конечно, взять это за принцип. Героико-мученический контекст, без сомнения, играл определенную роль. Но самое главное, что «работа шла хорошо и давала результаты. Были налажены отношения со всеми предприятиями».

В марте 1897 года рабочие завода Розенблюма в Алексоте под Ковно добились сокращения рабочего дня. А Дзержинский начал печатать на гектографе прокламации. 1 апреля из-под его пера вышел первый номер «Ковенского Рабочего» – газетки на семи страницах крупного формата.

Я столкнулся с заводской массой и одновременно с неслыханной нищетой и эксплуатацией, особенно женского труда, – вспоминает он в автобиографии. – Я дал массу материала в «Ковенском Рабочем»

о положении ковенских рабочих (вышел всего один номер, материал в нем только мой)[99].

Нищета, с которой он столкнулся в Ковно, была действительно поразительная. В статье *Фабрика Рекоша* он писал:

> Нас здесь работает около 200 человек, работаем, как и в других местах, 13 часов. Зарплата, однако, очень слабая, тем более, что, работая поштучно [то есть от штуки], не бывает почти ни одной субботы, чтобы кого-то из нас не ободрали [то есть не снизили ставку за штуку] (…). Некоторые рабочие жаловались и инспектору уже не раз, но и это не помогло, он сам такой же ворон, тоже отвечает, что если тебе плохо, то не работай. Это самая большая наша беда. Вот недавно один из нас выработал на 15 рублей, а получил 7 рублей 50 копеек.

Поэтому Дзержинский призывает: «Давайте и мы, товарищи, будем бороться по примеру петербургских рабочих и поставим Рекошу наши требования»[100]. А в статье *Как нам бороться?* указывает, что самый лучший метод борьбы – это прекратить работу, когда много срочной работы, тогда легче выиграть. Через много лет он будет вспоминать, что на фабриках и заводах Ковно научился на практике организовывать забастовку[101].

25 апреля в Ковно появился Юзеф Олехнович, слесарь, который после убийства шпика «Рафалка» – Рафала Моисеева – был вынужден бежать из Вильно. В Ковно он поступил на работу в мастерскую Подберезского подмастерьем сапожника. Непосредственно перед 1 мая он вместе с Дзержинским организовал за городом большое собрание рабочих, на

котором оба выступили с речью. По этому случаю была выпущена прокламация, в которой Феликс задорно призывал: «Пусть сгинут тираны, пусть сгинут живодеры и пусть сгинут предатели. Да здравствует наше святое рабочее дело. Смело в бой, и победа будет за нами. Дружно, братья, вперед»[102].

Еще до того, как Дзержинский начал работать в Ковно, в литовской социал-демократии все больше намечался раскол. С острой критикой программы партии выступил Станислав Трусевич «Очкарик», опытный социалист, конспиратор и узник царизма. Он утверждал, что происходит полное извращение теории социализма, что патриотические кружки ведут все движение по ложному пути и что вместо борьбы с ППС идут по ее стопам. Наконец, он вывел из партии ведущих рабочих и основал Рабочий союз в Литве. Но уход группы Трусевича не очистил

атмосферу в ЛСДП. В ней начали образовываться две фракции – крайне левая, интернационалистическая (к которой со временем присоединился Дзержинский) и правая, патриотическая. Характерно, что правую фракцию возглавили те, кто раньше оказывали самое большое влияние на молодого агитатора: Домашевич, Малецкий, Баранович[103].

В партии продолжается идеологический спор[104], а Дзержинский в Ковно, как ему велит собственное сердце, решает его на практике. Он вступает в конфликт с мастерами одной сапожной мастерской. Они агитируют за сбор денег на памятник Адаму Мицкевичу, который должен быть воздвигнут в Варшаве. Феликс с ними не соглашается, так как считает, что нельзя смешивать рабочее дело с делом национальным. Через несколько лет он так сформулирует свою аргументацию: «Польский пролетариат мог бы сознательно бороться за независимость, если бы это касалось его непосредственно, то есть если бы независимая Польша была социалистической. Лишь социалистический строй является, несомненно, окончательной целью нашей борьбы, но было бы утопией считать, что его уже сейчас можно установить в Польше»[105]. Понятие диктатуры пролетариата было ему в то время еще совсем незнакомо. Необходимость объединения экономической борьбы с политической – как он сам пишет в автобиографии – он во всей полноте поймет лишь в ссылке. И пройдет еще несколько лет, прежде чем Роза Люксембург скажет: «У него большевистское сердце».

V. Первая любовь. первая ссылка

В первый раз Дзержинского арестовали 17 июля 1897 года в Ковно. Ему было двадцать лет. Его взяли на улице по доносу одного рабочего-подростка, который – как пишет Дзержинский в автобиографии – соблазнился на десять рублей, обещанные жандармами. Однако, из полицейских рапортов следует, что доносчиков было больше. На допросе Феликс назвался Эдмундом Ромуальдом Жебровским, шляхтичем из Минска. Отвечать на вопросы отказался. Через пять дней начальник жандармерии доносил прокурору в Вильно, что выдававший себя за Жебровского назвал свою настоящую фамилию и адрес жительства, но вины своей не признаёт. Прибытие в Ковно объясняет желанием сдать экзамен на аттестат зрелости в здешней гимназии, от чего он, однако, отказался. После допроса Дзержинского посадили в камеру ковенской тюрьмы.

В известной книге *Родословные непокорных* Богдан Путинский писал: «Биография революционера заключала в себе не только опыт лихорадочной деятельности, но и опыт длительного и вынужденного внутреннего бездействия. Арест должен был произойти рано или поздно»[106]. А если арест, то и вероятность смертного приговора, в то время как смерть для человека, считающего себя атеистом, означала абсолютный конец. Несмотря на это, революционеры были готовы пожертвовать собой ради чего-то, о чем они знали лишь то, что надо умереть, чтобы оно свершилось. Это был акт чистого героизма[107].

Тюрьма в Ковно представляла собой место заключения с довольно мягким для того времени режимом. Дзержинский учил немецкий, читал, его навещали родственники. Там он успел взбунтоваться против тюремной администрации, когда у него забрали принесенные братом почтовые марки, конверты и писчую бумагу Он написал жалобу тюремному инспектору и через пять минут после ее подачи, вспоминает, попал в карцер.

> Ты называешь меня «бедненький», ты сильно ошибаешься, – писал он Альдоне 13 января 1898 года. – Правда, не могу сказать о себе, что я доволен и счастлив, но это не потому, что сижу в тюрьме. Могу сказать с полной уверенностью, что я счастливее тех, кто на воле ведет бессмысленную жизнь. И если бы мне пришлось выбирать: тюрьма или жизнь на воле, не задумываясь, я бы выбрал тюрьму, иначе не стоит существовать[108].

Сестре такая аргументация показалась безумством.

Дзержинский провел в тюрьме в Ковно почти год. Его дело было передано в Петербург в министерство юстиции с предложением отправить в административную ссылку сроком на пять лет. Министр, учитывая, что узник был несовершеннолетним, сократил срок до трех лет, а царь Николай II милостью своею приговор утвердил: “Выслать Феликса Дзержинского под явный надзор полиции в вятскую губернию на три года”[109]. Конкретнее – в Нолинск, где в свое время находились Александр Герцен, Михаил Салтыков-Щедрин и Владимир Короленко. Дзержинский отправляется туда под конвоем 25 июня 1898 года.

Эта первая ссылка будет самой длительной – тринадцать месяцев. В этот период Феликс и Альдона много пишут друг другу. Он просит сообщать ему о четверых племянниках, беспокоится о здоровье шурина, о работе сестры. Вспоминает их детство, восхищается природой в Дзержиново, ну и – спорит с сестрой на идеологической почве. Альдона, как ревностная католичка, борется с его атеизмом, как пылкая патриотка – с его интернационализмом, а как шляхтянка – с его социализмом. Пребывание брата в тюрьме у нее ни в коей мере не ассоциируется с добровольным мученичеством. Несмотря на все споры, ее письма являются для узника своего рода лекарством[110].

7 сентября 1898 года он сообщает, что путь к месту ссылки был «чрезвычайно приятный, если таковыми считать блох, клопов и т. п.». «Я больше сидел в «тюрьмах», чем был в дороге. По Оке, Волге, Каме и Вятке мы ехали на пароходе. Это необычайно удобный путь, нас напихали в так называемый «трюм» как селедок в бочке, из-за отсутствия света, воздуха и вентиляции стояла такая духота, что, несмотря на наше адамово неглиже, мы чувствовали себя как в бане, и так было не раз по несколько дней». В Вятке[111] его освободили и позволили самостоятельно добираться в Нолинск, маленький городишко, насчитывавший тогда пять тысяч жителей, в том числе несколько ссыльных из Москвы и Питера. «Есть с кем поболтать, – пишет он далее сестре, – только беда в том, что болтовня вызывает у меня отвращение, я [хочу] работать, работать так, чтобы чувствовать, что живу не напрасно. (…) Уже хожу на прогулки и забываю о тюрьме, но о неволе не забываю, потому что и сейчас я не свободен». Затем он горячо убеждает Альдону: «Но придет время, когда я буду свободен, и тогда я им отплачу за все «. Последнее предложение можно было бы рассматривать как стремление к личной мести. Но для Феликса речь шла не об этом. Как революционер, он хотел отплатить за несправедливость в отношении не себя, а таких как он.

Но самым важным в этом письме было то, что все больше и больше проявлялись мировоззренческие различия, которые отделили его от родной семьи.

> Когда я пишу кому-нибудь из нашей семьи, мне постоянно приходит в голову одна и та же мысль: почему из вас всех один только я вступил на этот путь? Как было бы хорошо, если бы все. О, тогда бы ничто нам не мешало жить друг с другом как родные, и больше, и ближе, чем родные. Но жизнь нас разделила, одних унес один поток, других – другой, а успех идеи одних является смертью для других, и именно это противоречие ведет к не слишком открытым отношениям между нами[112].

В Нолинске он снял комнатку за четыре рубля в месяц, «чистую, в нешумном и вполне порядочном доме», и столовался за три рубля у одного из ссыльных. «Но думаю прекратить столоваться у него, потому что нужно каждый день туда ходить, а осенью здесь такая грязь, что, образно говоря, можно утонуть. А в общем жизнь здесь довольно дешевая». На короткое время нашел работу на табачной фабрике, но вскоре «уже бросил, потому что глаза снова разболелись (трахома у меня знатная) – некоторые считают, что со временем могу ослепнуть». Потом занялся написанием писем для местных крестьян и, наконец, стал ездить двадцать верст за Нолинск «на несколько дней работы у одного инженера, поляка (порядочного эксплуататора)», который его «надул (…) на 50 коп., то есть на дневной заработок»[113]. Энергия молодости и убежденности распирает его. Он устанавливает контакты с другими ссыльными, рабочими и с местным населением. В конце концов вятский губернатор получает донесение полиции о том, что Дзержинский «сеет враждебное отношение к монархии» и что это «вспыльчивый и раздраженный идеалист», так что «за строптивый характер и скандалы с полицией»[114] должен быть переведен в деревню Кайгородское, называемую в народе Кай, 500 верст (более 500 км) севернее Нолинска – а там вокруг только лес и болота. Из письма Альдоне 1 января 1899 года:

> Летом комаров миллионы. Без сетки нельзя ходить и окна открывать. Морозы доходят до 40 градусов. Да и жизнь здесь не дешевле, чем в уездном городе, а может даже дороже. (…) Мы здесь [с другим ссыльным Александром Якшиным] сами себе обед готовим, купили самовар. Здесь хорошо охотиться, можно даже немного

заработать[115].

По возвращении из ссылки Феликс будет также рассказывать о медвежонке, которого ему подарили местные в благодарность за написание писем. Медвежонок был красивый и очень к нему привязан. Научился по команде ловить рыбу. Но когда он подрос, то стал агрессивным: начал ловить домашнюю птицу, даже нападать на человека и, в конце концов, искусал Феликса, который с болью в сердце был вынужден медвежонка пристрелить.

В пространных письмах сестре молодой Дзержинский пишет практически обо всем, но ни словом не упоминает одну женщину[116]. Она появилась еще в Вятке. Русская, старше Феликса на четыре года. Маргарита Николаева. Его первая любовь.

Маргарита – это явно выраженный тип феминистки (нигилистки?). Она училась на высших женских курсах в Петербурге. Будучи членом тайных кружков, занималась изданием и распространением нелегальной литературы, за что на три года была сослана в Нолинск. Умеющая вести себя в обществе, образованная, знающая литературу, историю и искусство – она оказалась для молодого человека хорошим развлечением. А он импонировал ей красотой и происхождением – у русских женщин поляки пользовались славой горячих любовников.

Для нее этот кратковременный союз был чем-то очень важным, для него – важным в определенной степени, обусловленной положением ссыльного. Он метался между симпатией и чувством. Сохранился фрагмент его дневника, который он вел в Кайгородском и где 1 декабря 1898 года записал: «Как жаль, что она не мужчина. Тогда мы могли бы стать друзьями». Феликс признается: «Женщин, честно говоря, я боюсь. Боюсь того, что дружба с женщиной рано или поздно должна перейти в животное чувство»[117]. Ведь он уже выбрал жизнь революционера, а связаться с женщиной означало сойти с пути миссионера. Сознавая свою горячность, он отдавал себе отчет в том, что любовь может выжечь, истребить в нем его политическую увлеченность.

После перевода в Кайгородское они активно переписываются. Из этой переписки сохранились только письма Феликса Маргарите[118]. Для Дзержинского они – как и письма Альдоне – своего рода терапия: в них он может отразить все, что в данный момент его больше всего заботит, восхищает, склоняет к раздумьям. Из писем следует, что у Феликса бывали минуты экзистенциальных сомнений, что его терзало эмоциональное

напряжение, характерное для таких личностей, как он. «Однажды я несправедливо накричал на него [Якшина], что он говорит ерунду, в другой раз он страшно на меня разозлился». В другом месте: «Долго не могу заснуть, он засыпает, а я лежу и думаю»[119].

Лев Троцкий так описывал подобное состояние: «Некоторых из ссыльных поглощала окружающая среда, особенно в городах. Иные спивались. В ссылке, как и в тюрьме, спасала только напряженная работа над собой. Следует признать, что теоретически над собой работали только марксисты»[120].

Феликс работал. В письмах Маргарите он описывал книги, которые читал: Джона Стюарта Милля («но это только теория»), Карла Маркса («жутко много придется поработать, чтобы как следует усвоить Марксово учение и не быть только догматиком»), Пьера Жозефа Прудона, Сергея Н. Булгакова марксистского периода («трудная, но важная книга»), Волгина [Георгия Плеханова], Евангелие («может пригодиться в будущем») и Фауста Иоганна Вольфганга Гёте («хоть и не понимаю»). Тургенева же он ненавидел «за то, что под его влиянием человек начинает жить больше раздумьями, чем борьбой».

При этом он очень интересуется жизнью деревни. Вместе с Якшиным они ходят по деревенским хатам, на сельские собрания и суды. Изучают здешние обычаи, например, похороны: «Могила еще не выкопана, а земля промерзла на 2 аршина. Случился скандал.». Поп, «пьяница страшный», на похороны не пришел, потому что «надо было заплатить до 10 рублей», а «за венчание берет не меньше 15 рублей». Когда могилу закопали, «никто даже не заплакал», потому что «нет здесь этой притворной скорби, без которой мы даже шагу ступить не можем». В другом месте: «Купцы здесь набивают себе карманы, продавая все втридорога, а рабочим платят гроши. Есть такая польская поговорка: «Пока солнце взойдет, роса очи выест». Так и здесь»: сельскохозяйственный инвентарь примитивный, бани ужасные, бабы носят молоко в горшках, в которых кашу варили, а потом не вымыли. Феликс описывает Маргарите и свой день: «С 8 до 10 часов – уборка, работы по хозяйству, чай, 10–12– немецкий язык, 12–14– экономические книги, 14–17 – обед и прогулка, 17–19 – легкие книжки и публицистика, 19–21 – чай, 21–24 – написание писем, серьезные книги, в воскресенье – отдых и визиты. И как Вам это нравится?».

Даже в этих письмах Дзержинский не выходит из роли агитатора. Он все время дает Маргарите советы: нужно накапливать достаточно знаний для революционной работы. Следует помнить, что «наука важна, пока ее можно использовать в жизни», а теорию нужно тщательно изучать только затем, чтобы

«заставлять башку думать». При этом надо отбирать самое ценное знание, поэтому не стоит с доверием относиться к метафизике – так как она не может описывать действительность – и нужно быть осторожным с философией, «которая часто использует лишь изящную игру слов, не имеющих ничего общего с реальным миром». Поэтому: «Я бы советовал читать и изучать книги на социальные темы: исторические, по политической экономии, в которых описывается положение рабочих как в России, так и в Западной Европе»[121]. А если материал трудный или вообще непонятный, то следует отнестись к нему критически и подобрать другую литературу.

Следовала ли Маргарита этим советам? В любви возможно все.

Переполненный противоположными эмоциями, в состоянии то эйфории, то нервного расстройства[122], в письмах к возлюбленной Феликс затрагивает – может, не полностью осознавая – наиболее деликатную струну женской психики. 2 января 1899 года он пишет:

> Вы помните тот вечер (…), когда я пытался убедить и себя и Вас, что это только дружба. После того вечера я многое понял. Но вдруг появляется сомнение – могу ли я, считая себя и будучи в действительности эгоистом (…), испытать когда-нибудь такое чувство, а когда испытаю, не должен ли я все это прекратить и забыть, чтобы не превратиться в животное?

И, несмотря на все сомнения, уверяет:

> Я Вас люблю, так сильно, как только умею, и как в жизни никого не любил. Вы сосредоточили на себе все мои чувства, о которых ранее я не имел понятия, потому что был слишком сильно занят делом, а тогда нет времени на то, чтобы разбираться в чувствах. Чувство толкало меня на дело, ради которого я не щадил себя и только о нем думал. Я видел себя исполином, даже сравнивал себя с Христом, и мне казалось, что я могу постичь все людские страдания, страдать за других и выкупить человечество.

И убеждает (скорее себя, чем её): «я хочу быть рабочим». Такая аргументация должна была вызвать во влюбленной в него женщине чувство восхищения, но одновременно и причинить ей боль, потому что она, наверное, хотела бы, чтобы он страдал только ради неё. А он еще пишет, что сейчас он «карлик», и

задает риторический вопрос, как же тут «жить счастливо, когда миллионы страдают, борются и погибают».

Что же Маргарита могла ему на это ответить? Наверное (как большинство влюбленных женщин), приняла бы любое проявление его животных чувств и карликовости. С одной стороны, она пытается воспользоваться методом: через дело – к сердцу (Феликс пишет ей: «Я рад, что пробудил в Вас эти чувства, столь важные для дела»), с другой – начинает сомневаться, сможет ли она подчинить личную жизнь жизни общественной? У него же все как раз наоборот:

Одно дополняет другое: личное – общественное, а общественная жизнь дополняет и детерминирует личную. Наше счастье – это совместная работа и взаимная поддержка в этой работе. Ведь мы ставим дело выше себя, даже если в борьбе кому-то из нас раньше придется погибнуть. И тогда другой с еще большей силой продолжит борьбу.

Неужели? Маргарита хочет любить мужчину и вместе с ним жить!

В середине марта 1899 года Феликс пишет: «Приезжай как можно скорее, моя голубка!», но когда замечает, что она приняла это слишком близко к сердцу, 26 апреля поправляется: «Нет никакой нужды, чтобы ты приезжала ко мне навсегда. Я могу совсем погубить твою жизнь (…). Мы никогда не будем мужем и женой, тогда зачем связывать себя, зачем друг друга ограничивать»[123]. Несмотря на это, Маргарита просит власти разрешить ей навестить больного. В июне она получает такое разрешение. Она собирает книги, журналы, чтобы привезти ему свежую литературу, и, наконец, едет к любимому! Возвращается она намного раньше, чем намеревалась. Позже она расскажет своей знакомой, что он ее по сути дела прогнал. Наверное, он уже жил планом побега, о чем ей ничего не сказал.

Как могла ему прийти в голову такая мысль? Наверное, слышал о тех, которым удалось бежать из ссылки. При этом он был молод, ловок, жаждал конкретного дела. Ну и не держался за жизнь. Сестре он писал, что чувствует в себе ужасающую пустоту и ни с кем не может разговаривать спокойно, без эмоций. «Думал, что с ума сойду», – совершенно искренне признается он Альдоне. Он отправляется в путь 28 августа 1899 года и проходит полторы тысячи километров в одиночку! У своей хозяйки Лузыниной он взял запас продовольствия на один день, уверив ее, что идет в лес на охоту. С собой у него немного денег: часть прислали родственники, часть заработал в Кайе. Благодаря им, он сможет воспользоваться поездом. Хуже с документами. Он уходит без паспорта, предполагая, что ему удастся обойти все проверки.

Сначала он берет лодку и плывет вверх по реке Каме. Плыть против течения он запланировал сознательно, потому что беглецы обычно отправляются вниз по реке, чтобы быстрее добраться до железной дороги. Полиция прекрасно об этом знает.

Хорошо, что у него с собой охотничье ружье, потому что в один прекрасный момент, сойдя на берег, он подвергнется нападению «бродяг». Отстреливаясь, ему удастся вывести лодку на середину реки. Потом пешком, через густой лес он идет к железнодорожной станции. Иногда ему приходится ночевать в деревенской избе, хоть мужики и смотрят подозрительно, выспрашивают, кто такой, куда идешь, а за поимку беглых они получают от властей по три рубля. В конце концов он добирается до станции и на поезде приезжает в Вильно. Вслед за беглецом поступает распоряжение: «Найти, арестовать и передать в распоряжение вятского генерал-губернатора, оповестив об этом департамент полиции»[124]. Но он быстрее. Почти так же быстро среди социал-демократов рождается легенда об этом побеге, которую передают из уст в уста. Товарищи начинают уважать этого двадцатидвухлетнего молокососа.

А контакт с погруженной в отчаяние Маргаритой, до которой доходит весть о побеге, прерывается на два года. Потом она отыщет его адрес, напишет. Его вновь арестуют и в 1901 году из тюрьмы в Седльцах он напишет ей два последних письма. 27 мая: «о «прошлом мне хотелось бы забыть – теперь моя жизнь сложилась так, что я буду вечным скитальцем». Она отвечает ему в сентябре, что ее чувства к нему не изменились. В ответ на это Феликс пишет 27 ноября: «Думаю, Вы поймете, что для нас обоих будет лучше не писать друг другу, так как это только разбередит раны. В ближайшие дни еду в Сибирь на 5 лет, что означает, что не увидимся уже никогда. Я бродяга, а жить с бродягой – значит нажить себе беды. (…) Прошлое – как дым»[125] – философски заключает Феликс, что для Маргариты как острый нож прямо в сердце.

Конечно, он ни словом не упоминает, что в это время его навещает другая возлюбленная – Юлия Гольдман.

VI. Речь идет обо всем мире. Организатор

«Ты спросишь, что меня гнало из дома? – напишет Феликс Альдоне в 1900 году. – Ностальгия. Но не по той родине, которую выдумали филистеры, а по той, которая в моей душе так укоренилась, что ничто не сможет ее оттуда вымести, разве что вместе с душой»[126]. Этой родиной является идея справедливости, идея освобождения бедных и обездоленных людей, где бы они ни жили. Невзирая на государства и нации. И эта ностальгия – как он сам ее называет – действительно гонит его вперед в бешеном темпе. Часть его товарищей по литовской социал-демократии после одной отсидки и ссылки уже по горло сыта конспирацией. Он же наоборот – становится еще более энергичным.

В автобиографии Феликс отмечает, что после побега из вятской ссылки он приехал в Вильно, но никого из старых деятелей рабочего движения уже не застал. После многочисленных арестов ЛСДП была разгромлена, а большинство ее членов сидели в тюрьме или были сосланы. Оставшиеся на свободе вели переговоры с ППС об объединении в одну партию. Дзержинский пытается этому воспрепятствовать, но безуспешно. Ему удается установить контакт с Мечиславом Козловским из Рабочего союза и Эдвардом Соколовским, прежним товарищем по ЛСДП. Соколовский вспоминал: «В августе 1899 года я встретил Дзержинского на углу переулков Бернардинского и Ботанического. Он вел себя очень осторожно. Поздоровался со мной только тогда, когда убедился, что поблизости никого нет». Дату он указал неправильно: эта встреча могла состояться не раньше сентября. «Позже он мне рассказывал, – продолжал Соколовский, – что попал к старым друзьям Малецкому, Барановичу и другим, а те не захотели допустить его к рабочим Вильно и советовали уехать за границу»[127]. То есть его бывшие друзья-иисусовцы склонялись теперь на сторону социал-патриотов, и мировоззренческие различия между ними и Дзержинским были уже настолько велики, что не позволили ему остаться в их рядах.

Не имея возможности добиться чего-либо в Вильно, Феликс связывается с социал-демократами в Варшаве и с помощью контрабандистов, спрятавшись в еврейской бричке, переправляется в Царство Польское[128]. Там, купив за 10 рублей фальшивый паспорт, он на поезде едет в Варшаву.

А в Варшаве, как он позже напишет,

«в среде пролетариата работали только две

организации: ППС и Бунд». Как и ЛСДП в Вильно, социал-демократия Царства Польского (СДКП) после арестов в 1895 году практически перестала существовать.

Но в лоне ППС – среди пролетариев, была масса – огромное большинство – рабочих, оппозиционно настроенных в отношении ППС, мыслящих по-пролетарски, но состоящих в ППС по той причине, что партии СД [социал-демократической] не было, а вся литература издавалась ППС. Значит, надо энергично приниматься за дело и за создание организации.

В такой обстановке:

Я принялся за эту работу вместе со старым Росолом[129] и его сыном, и вскоре, накануне Рождества 1899 года мы организовались. Мы создали Рабочий союз СД в Варшаве, в который вошли: сапожники, столяры, лакировальщики, пекари, обработчики металла и другие. Весь сапожный цех был в СД. Из других профессий только часть сознательных была у нас, остальные оставались в ППС. Нам пришлось провести просто невероятную агитацию в интересах СД[130].

Под влиянием той же агитации рабочие из группы «росоловцев» начали связывать пропаганду ППС за независимость с амбициями интеллигенции. Они называли это внесением сумбура в сознание рабочих патриотичными барышнями и барчонками.

На воссоздании варшавской СДКП Дзержинский не останавливается. В конце декабря 1899 года он возвращается в Вильно, чтобы договориться с местными эсдеками. Соколовский, участвовавший во встрече лидеров этой организации с Дзержинским, сообщает, что Феликс предложил объединить литовские группы с группами из Королевства, где программной основой (получившей название *Виленский набросок*) должна стать программа российских социал-демократов, а главным постулатом – борьба за общероссийскую конституцию. При этом партия должна была отойти от идеологии борьбы за независимость. Партия получила название Социал-демократия Королевства Польского и Литвы (СДКПиЛ). Она выразила также свое отношение к ППС – было признано, что эта организация не является строго классовой, то есть рабочей. С ее программой социал-демократы не согласны, но признают ее как одну из революционных партий, борющихся с царизмом[131].

Абстрагируясь от идеологической полемики, от вопросов: был

ли правильным отказ от борьбы за независимость, было ли правильным столь сильное сближение с российской социал-демократией и пошло ли все это нам на пользу – одно следует объективно признать: Дзержинский – тогда двадцатидвухлетний юноша – проявил себя как крупный организаторский талант. Он совершил необычайно большое дело: воскресил партию в обход более старших товарищей и к тому же добился объединения варшавской группы с виленской группой. Как утверждает Соколовский, за несколько месяцев ему удалось сделать то, чего другие не смогли сделать в течение лет. Создание СДКПиЛ стало фактом.

Лишить эту партию доброго имени за ее твердую интернациональную позицию – значит допустить несправедливое упрощение. У нее была своя правда и она имела основание проводить такую, а не иную политику. Это хорошо объясняет Вацлав Сольский, вступивший в лодзинскую СДКПиЛ и спустя годы рассказавший, почему он так сделал, хотя старший брат был членом ППС.

> Потому что [эта партия] была самая общечеловеческая. С самого начала я входил в кружки, руководимые социал-демократией, которая имела взгляд универсальный, а не узко польский. Это можно было бы выразить коротко, но немного вульгарно: ППС занималась Польшей. Мы с братом вели острые споры. Я упрекал его, что ППС думает только о Польше. Впрочем, так и было. В политических вопросах ППС заботилась только о Польше, а социал-демократия – обо всем мире. Для меня это было решающим фактором, потому что тогда я уже был врагом всяких легких патриотизмов, иначе говоря – шовинизмов, которые в ППС были. В СДКПиЛ этого не было. Неправда, что в СДКПиЛ о польском орле говорили, что это гусь. Это были остроты в наш адрес. Но ориентация у нас была общемировая[132].

Наверное, под этим высказыванием мог бы подписаться и молодой Феликс Дзержинский[133].

В Варшаве, наряду с контактами с рабочими, у Дзержинского были контакты и с интеллигенцией. На рубеже XIX и XX века социализм стал модной и даже обязательной позицией в кругах интеллигенции, поэтому революционеров охотно приглашали в дома и в салоны. В то время в Варшаве славился литературный салон Валерии Маррен-Можковской, писательницы-позитивистки и феминистки, в доме которой бывали тузы польской литературы (во главе с Прусом и Красовским), артисты, варшавская богема и

авангард революционеров. Салон пани Можковской посещал и Дзержинский, его ввел туда польский социалист Юзеф Домбровский, будущий шурин Марии Домбровской. Это было уже после ссылки и побега, что производило на общество соответствующее впечатление. К тому же очень молодой и со взглядом газели, что не ускользнуло от внимания дам. Он играл на фортепиано мазурки Шопена и участвовал в дискуссиях, в том числе и о литературе. Огромное впечатление на него произвел Выспяньский, особенно его эпическая пьеса о Болеславе Храбром. “Прочитай, – говорил он друзьям, – и увидишь, как это отличается от нашей современной болтовни. Выспяньский – это действительно незаурядный талант”. В свою очередь, Дзержинскому не нравился Станислав Бжозовский, в то время божество всей прогрессивной Варшавы. Феликс говорил о нем: “Пан Бжозовский – это, кажется, обычный жулик”[134]. Однако, когда автор *Пламени* попал в финансовые затруднения, он внес свою лепту в организованный для писателя сбор денег.

Юзеф Домбровский «Грабец» в прекрасно написанных воспоминаниях о красной Варшаве начала XX века поместил (в 1925 году) такой портрет Феликса:

> Отмечу полное отсутствие фанатиков среди интеллигентов – членов ППС того времени. Однако, этот тип людей, замечу в скобках, я встретил тогда у «эсдеков» в образе нынешнего «Марата Красной России» – «Преступника с глазами газели и душой дьявола» – Феликса Дзержинского (…) в то время самого яростного врага ППС. Четверть века назад Дзержинский был очень молодым – двадцати трех или двадцати четырех лет – и необыкновенно симпатичным, хотя, после более длительного общения, и несносным юношей. Впервые я его увидел и познакомился с ним на съезде молодежных организаций средних школ, кажется, в 1895 году. Он тогда представлял виленские кружки. Впадающий в крайности и яростный в диспуте (…) он брал всех своей сердечностью и порядочностью. (…) Нервный, постоянно грызущий ногти, небрежно одетый, он был, в известной степени, типом из русской революции. Как в культурном, так и политическом отношении он был полностью русифицирован. Чрезвычайно способный и умный, он обучался исключительно на русской идеологии и литературе. (…) «Работа» была всей его жизнью, в которой он, возможно, пытался убежать от личных трагедий. Туберкулезник,

ему к тому же грозила слепота из-за плохо вылеченной болезни глаз, живущий в постоянной нужде – он многое перенес в личной жизни. Помню, как сильно его опечалила смерть матери, которую он очень любил; он глубоко переживал также разрыв с невестой[135]. О внешности: высокий, худой, с характерным лицом и очень умными глазами, всегда смотрящими как бы из потустороннего мира, он часто попадал в поле зрения шпиков и попадался. Убегал и вновь принимался за работу. (…) Он всегда производил впечатление фанатика идеи социальной революции, вне которой он не видел никакого избавления[136].

Домбровский также признается, что Дзержинский подбирал ему людей из ППС – прежде всего рабочих, на которых, как великолепный оратор, он производил потрясающее впечатление.

Людвик Кшивицкий, другая важная фигура в варшавском обществе, был свидетелем столкновения на почве мировоззренческих разногласий между молокососом с Виленщины и хорошо известным в варшавских кругах партийным функционером Эдвардом Абрамовским. Абрамовский – прототип образа Шимона Гайовца из *Кануна весны* Стефана Жеромского – ранее был ортодоксальным марксистом, членом II Пролетариата, но после метаморфозы, наделавшей много шума, стал социалистом, не имеющим гражданства, с анархическими наклонностями и спиритической жилкой. Описание их полемики важно, потому что показывает простую, но парадоксально убийственную философию юнца в сравнении с интеллектуальными тирадами старшего коллеги.

Кшивицкий жил на улице Злотей. «Невозможно себе представить чего-то более противоречивого, чем встреча у меня Абрамовского и Дзержинского. Дзержинский был погружен в водоворот революционной нелегальщины, другими словами – безымянности и исчезновения с поверхности легальной жизни,

Абрамовского же изменение настроения толкнуло в направлении, далеком от прежнего мировоззрения, – пишет Кшивицкий в своих *Воспоминаниях*. – Они сошлись случайно: Абрамовский ничего не слышал о Дзержинском, Дзержинский же, по всей видимости, имел достаточно ясное представление об эволюциях Абрамовского. Он выбирал темы как бы намеренно, с целью поддразнить (…). Начался обмен мнениями: Дзержинский, в соответствии со своей жизненной философией, встал на позиции крайнего детерминизма, граничащего с фатализмом, точнее – детерминизма, исходящего из принципа так называемого

исторического материализма, проникнутого фатализмом. «Я как атом воды, течение меня куда-то несет, не от меня зависит направление и скорость, с которой меня уносит течение, а если бы я, атом, имел свойство человеческой духовности, то есть если бы я мыслил, чувствовал, желал, то я бы следовал философии, которой следуете Вы, господин Абрамовский, я бы доказывал, что я, атом, влияю на направление течения, что от меня зависит скорость течения реки (…). Я устремлен к социализму, потому что каждый порядочный, умный человек, наслышанный о нынешних социальных теориях и увидевший человеческие страдания, должен быть социалистом». В ответ на это Абрамовский «скакал на стуле, его речь искрилась ловко подобранными аргументами, воспеванием свободы человеческих поступков, славословием в честь великих мужей, которые, в его понимании, переделывали историю. Тем временем Феликс сильнейшим образом донимал Абрамовского, заявляя, что тот как атом воды, который забыл, что он атом и изгибы течения приписывает своей воле. В этой полемике чувствовалось, – комментирует Кшивицкий, – что Абрамовский может очаровать небольшую группу женщин, своей искусной аргументацией может держать на привязи умы молодежи, своими статьями может воздействовать на сознание во много раз более многочисленной интеллигенции, но когда настанет время всколыхнуть народные массы, он ничего не сможет сделать там, где за Дзержинским пойдут тысячи»[137]

В феврале 1900 года Феликс вновь арестован по доносу одного из членов ППС. Впервые он сидит в X павильоне Варшавской цитадели, но в апреле его перевозят в Седльцы, где в тюрьме он ждет приговора. Он уже не является тюремным девственником. Ритм жизни за решеткой становится его ритмом. Михаил Островский, сидевший в Седльцах за участие в первомайской демонстрации 1901 года, вспоминал:

> Едва я успел расположиться в камере, как в дверном окошке показалось улыбающееся лицо Феликса Дзержинского (которого я знал по идеологическим диспутам в Варшаве). Феликс сердечно приветствовал меня словами: «Как дела, папаша! Попался?». Дал мне пакет черешни и сказал, что через час встретимся на прогулке.

Вспоминает Юзеф Ретке, член ППС:

> Шла непрерывная дискуссия между Дзержинским, представителем СДКПиЛ, и Парадовским и Гемборком из

ППС; она проходила чаще всего при помощи переписки и касалась программных принципов ППС и СДКПиЛ. Дзержинский и мне прислал письма в форме лекций по социализму. Но в тюремной жизни он был очень отзывчивый, заботился о других заключенных. Он сидел в одной камере с Антоном Росолом, на II этаже. Росол совсем не мог ходить. Дзержинский выхлопотал для него более длительное пребывание на свежем воздухе и два раза в день – утром и после обеда – сносил и опять вносил Антона на руках. Во дворе он сажал его, как ребенка, под деревом, кормил молоком и белым хлебом за свой счет, так как Росол был совсем без денег[138].

Антек, сын Яна Росола болел туберкулезом костей и легких. Дзержинский организовал протест заключенных и, как утверждает Михаил Островский, вынудил администрацию перевести юношу под опеку матери.

Конечно, каждая отсидка – это вынужденное замедление темпа жизни. Снова можно подумать, повспоминать, вспомнить о родных. 25 апреля 1901 года Феликс пишет братьям: «Абсолютно не знаю, что слышно о нашей семье. Напишите мне о себе». 14 июня он пишет Альдоне:

> Недавно я в ответ написал тебе письмо, но забыл попросить, чтобы ты написала Владиславу, что если у него есть желание и будет возможность, то пусть он навестит меня. По крайней мере, побывает в Варшаве, и спустя долгое время и перед еще более долгим расставанием увидимся на несколько минут.

И подпись: «Ваш Неисправимый». А в июле 1901 года описывает сестре, как он выглядит:

> За эти несколько лет я изменился так, что некоторые давали мне лет 26, хотя бороды и усов у меня нет; выражение лица у меня обычно довольно хмурое и просветляется только когда я начинаю рассуждать и разглагольствовать; черты лица огрубели, я подурнел, на лбу уже три морщины, хожу, как и раньше, наклонившись, губы сжаты и к тому же я чрезвычайно нервный. Вообще-то думаю, что облик старой девы и мой очень похожи друг на друга.

В октябре в очередном письме Феликс раскрывается более философски:

Однако, я часто думаю о том, как нас жизнь разделила, как прямо противоположно сформировала наши души. (…) Хоть я значительно моложе тебя, но думаю, что за свою короткую жизнь мне пришлось впитать в себя столько самых разных впечатлений, что не всякий старец мог бы этим похвалиться. И действительно, кто живет так, как я, долго жить не может; я не умею наполовину ненавидеть или любить, я не умею отдавать только половину души, я могу отдать либо всю её, либо не дать ничего (…), и если кто-то готов мне сказать: посмотри на свои морщины, на свой истощенный организм, на свою нынешнюю жизнь! Посмотри и пойми, что жизнь тебя сломала – я ему отвечу: не жизнь меня, а я жизнь сломал, не она меня износила, а я ее использовал полной грудью и всей душой своей[139].

VII. Я – христианин. Неизвестное письмо

> Думаете, я снова стал католиком? Нет! Я не католик!
>
> Я только христианин, я верю только в учение Христа, в Его Евангелие, в любовь Его неизмеримую к несчастным людям. Я верю, что для нашего избавления Он оставил нам свое учение, в завершение скрепленное печатью такой позорной смерти, верю, что Он живет только в наших сердцах, в сердцах тех, кто исполняет Его заветы, но не в зданиях, картинах, в железе, в дереве, верю, что Он живой для добрых и мертвый для злых, что хвалить Его можно только в делах, в правде и в духе, что сегодня исповедующим Его может быть только преследуемый за любовь к ближнему и готовый отдать за них и за себя свою душу и тело; я верю, что Бог Иисус Христос – это любовь. Иного Бога, кроме Него, у меня нет[140].

Это писал Феликс Дзержинский в октябре 1901 года в длинном письме сестре Альдоне и ее мужу Гедымину Булгак. Находясь в тюрьме в Седльцах, он благодарил за Евангелие, которое получил от них – но и негодовал по поводу того, что его считали «возвратившейся заблудшей овечкой». Это письмо никогда не было опубликовано полностью[141]. В 1951 году под предлогом организации выставки и издания семейной переписки революционера партия получила от Альдоны рукописное письмо, которое немедленно было сокрыто в архивах ЦК ПОРП. Ничего удивительного: во времена сталинского апогея в Польше оно стало бы огромной сенсацией и немалой головной болью – такого Дзержинского мы не знаем.

> Не тот христианин, кто имеет имя Учителя своего на устах, но тот, кто исполняет волю и заветы Его! – писал он далее в письме. – А поэтому, каким я раньше был, таким остаюсь и теперь, что раньше меня мучило, то и теперь мучает, что я раньше любил, то и теперь люблю, что раньше меня радовало, то и теперь радует, что я раньше делал, то и теперь делаю, о чем раньше думал, о том и теперь думаю, как раньше не миновала меня милость, что страдаю, так и теперь и никогда не минует; какими раньше были мои пути, такими и теперь будут, как раньше жил во мне Христос, хоть я и не знал этого, так и теперь живет, и я знаю об этом; как раньше я

> ненавидел зло, так и теперь его ненавижу, как сатану; как раньше я стремился к тому, чтобы не было несправедливости, преступлений, пьянства, распутства, излишеств, роскоши, утех дьявольских, публичных домов, где люди продают либо свое тело, либо свою душу, либо то и другое вместе, угнетения, борьбы, братоубийственных войн, племенной ненависти, так и теперь стремлюсь к этому всей силой своей души, и сейчас ношу то же имя, что и раньше, только добавив к нему имя христианина, и понял я и помню слова «Отче наш» – той единственной молитвы, которую Христос наказал произносить устам нашим в одиночестве, закрывшись от людей: «Да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя как в небе [так] и на земле». Теперь я понял и слова Его: «И будет одно стадо и один Пастырь – Иисус, Любовь» (от Иоанна, гл.10). Да! Я – христианин, я страшно хочу им быть и лишь немного смог им быть! Я хотел бы все человечество объять своей любовью, обогреть его и отмыть от грязи; я хотел бы так любить его, как Христос возлюбил, и нести этот тяжкий крест, который Он нес, и пить из кубка, из которого Он пил, и чувствовать в сердце своем, что нет в нем ничего, кроме Любви, той божественной, и ненависти к царству дьявольскому[142].

Давайте не будем поддаваться видимости: это не письмо несостоявшегося священника. Это слова достойного сына социализма. Потому что социалисты корнем своих убеждений считали учение Христа, а образ жизни первых христианских коммун, где действовал наказ делиться всем – считали своим и насквозь демократическим. Они очень хорошо знали слова из *Деяний апостолов*: «Все же верующие были вместе и имели всё общее. И продавали имения и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого»[143]. В свою очередь, сильную неприязнь социалистов к Церкви вызывала ее связь с властью, или союз тиары с троном. Во всех европейских государствах во время церемонии коронации, совершаемой высшими представителями Церкви, короля или царя объявляли помазанником Божиим. В России со времен Ивана Грозного эта церемония миропомазания приобрела вид прямо-таки таинства крещения. Конечно, этот ритуал совершал патриарх Русской Церкви, что порождало уверенность, будто институт самодержавия был установлен самим Богом. Сама же Церковь от союза с троном получала огромные преимущества, автоматически

совершая предательство малых мира сего, то есть становясь отрицанием учения Христа.

Насколько Христос был для социалистов квинтэссенцией любви, справедливости и революции[144], настолько власть Бога над миром они считали чистейшей формой феодализма. Бакунин заявлял, что если Бог существует, то человек является рабом, значит, требуя отмены рабства, мы должны отказаться и от самой идеи Бога. Но природа человека не терпит пустоты, она ищет причины и логику мироустройства, поэтому социалисты с таким энтузиазмом приняли теорию Дарвина и охотно изучали естественные науки. В учении Дарвина они видели идейное доказательство тезиса, что в самой природе глубоко укоренилась потребность личности жертвовать собой ради общего блага. А анархист князь Потемкин доказательство правильности тезиса о связи законов природы с социализмом нашел в далекой Сибири, где сделал открытие, что фундаментальным жизненным принципом является не соперничество, а сотрудничество.

По всей видимости, в одном из более ранних писем, которое не сохранилось, Феликс что-то говорил о Христе и о своей болезни легких, проводя между ними какую-то параллель, а сестра и ее муж интерпретировали его слова как возвращение блудного брата. Поэтому в октябре, отвечая на их письмо, Феликс путано и с возмущением пишет:

> Зачем вы мне говорите о смене пути, зачем пишете мне о милости в связи с болезнью моего тела?! (…)
>
> Я хочу вас любить, потому что люблю, а вы не хотите понять духа моего и искушаете меня, чтобы я сошел со своего пути! Так что же вам теперь нравится во мне больше, чем прежде? Почему вы стали более сердечно относиться ко мне? Неужели только потому, что я упомянул имя Христово, что вы услышали от меня это слово? О, нет! Не хочу, чтобы так было. Не хочу думать, что слово Христос, слово, состоящее из 7 букв: Христос, для вас дороже, чем сам живой и замученный Христос, его учение, заветы, любовь! И далее: Вы радуетесь, что я познал Христа, и сожалеете, что иду Его путем! Как же так? Неужели Его можно признавать только губами? (…) О, я ничтожный, во мне нет еще такой сильной любви, какую Он завещал, я еще слишком сильно люблю себя самого, я не исполняю в полной мере всех заветов Его! Но я хочу и буду более сильным, только не искушайте меня!
>
> (…) Сегодня я признаю только Евангелие Христово,

потому что Он проповедовал простым людям, а не «мудрым», которых Он всегда порицал и бичевал, а, значит, оно не требует никаких посредников, потому что Христос был замучен за каждого из нас в отдельности и за всех вместе, и учил: «Ибо, где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я посреди них» (Мат. 18).

Вся эта теологическая тирада Дзержинского, временами переходящая чуть ли не в крик, должна была показать Альдоне и ее мужу, насколько далеко они расходятся в подходе к учению Иисуса.

> Итак, я считаю, – продолжает Феликс, – что единственным заветом Его является любовь, любовь и еще раз любовь, проявляющаяся в делах, и учил Он, что любовь к Нему может быть исполнена только через любовь к ближнему своему. (…) Итак, я считаю, что вера без поступков мертва, лицемерна, что поступками этими не может быть грошовая милостыня, а только изменение сердца своего и всей жизни своей и жертвование собой ради ближних своих, ибо «пастырь добрый полагает жизнь свою за овец своих» (Иоанн 10), что поступки эти заключаются не во внешних знаках и словах – о них в Евангелии не говорится ничего, кроме порицания – но в совершении любви и исполнении заветов Его. Я считаю, что любой, кто исполняет заветы Христа, даже евреи (…), является христианином – ибо «кто будет исполнять волю Отца Моего Небесного, тот Мне брат и сестра и матерь» (Мат. 12). Итак, я считаю, что ближним моим является любой человек: поляк, литовец, русский, еврей, немец, француз, турок, татарин, негр, индеец, китаец, папуас и т. д.»[145].

Сегодня трудно оценить, как на это письмо отреагировала сестра. Несомненно одно: она его бережно хранила и показывала доверенным людям в качестве доказательства, что брат никогда не был непреклонным атеистом. Конфликт теологической природы между ней и Феликсом не закончился с его смертью. Он продолжался долго, вплоть до смерти самой Альдоны в 1966 году, о чем шли разговоры в кругах варшавского духовенства. Архиепископ Юзеф Жычинский вспоминает:

> Ксендз Бронек Бозовский, который в свое время был капелланом в монастыре сестер визиток на Краковском Предместье, говорил мне, что среди вверенных его

> заботе верующих некоторое время была Альдона Дзержинская, сестра Феликса. Иногда она приходила в ризницу, чтобы заказать святую мессу за брата. Объясняла это так: – Батюшка, Феликс был отъявленным негодяем. Но может Господь Бог в своем милосердии не отослал его в пекло, а все еще держит в чистилище. Может я смогу ему помочь этой святой мессой? Отслужите, пожалуйста, батюшка.

И ксендз служил, даже несмотря на то, что просьба звучала странно: отслужить мессу за упокой души Феликса Дзержинского, в то время как память о нем ассоциировалась с профессией палача, и руки создателя ВЧК на только что установленном памятнике были сразу окрашены в красный цвет[146].

В письме от 1901 года содержится следующая информация: Феликс признается: Евангелие он прочитал, уже будучи социалистом – что является проблемой чрезвычайно важной и симптоматичной для польского католицизма.

> Я раньше не знал настоящего Христа, мне никто на Него не указал, – пишет молодой Дзержинский, – и только теперь я познал Его из собственного Его учения, потому что впервые прочитал Евангелие, слова, которые так просты, каким простым был и сам Учитель, наш единственный, и я полюбил Его всей силой своей души, так как, еще не зная Его, я исполнял его заветы Любви[147].

Самой большой опасностью, которая вышла из недр социализма, оказалась диктатура пролетариата. Очень скоро она стала просто диктатурой. (Не будем, однако, забывать, что и Церковь прошла свой этап инквизиторского безумия). В воображении Ивана Карамазова севильский инквизитор говорит самому Иисусу: «завтра же я осужу и сожгу тебя на костре, как злейшего из еретиков, и тот самый народ, который сегодня целовал твои ноги, завтра же по одному моему мановению бросится подгребать к твоему костру угли»[148] – ибо мастер Достоевский отлично знал, что идеология – это дитя идеи, вырастающее в ее смертельного врага.

В 1901 году Феликс был молодым социалистом, который жаждал объять человечество своей любовью, обогреть его и отмыть от грязи, словно Христос – и трудно не верить в чистоту его намерений. С назначением на должность председателя ВЧК чувства Дзержинского к человечеству никак не изменились – только это уже была любовь Марата. Слепое следование долгу

осчастливить при помощи огня и меча. А смог бы он вместе с севильским инквизитором развести огонь под костром Христа? У меня не хватает смелости ответить на этот вопрос.

VIII. Тот, которого ловят и вяжут. Беглец

Пять лет ссылки в восточную Сибирь – таков его второй приговор. Не только за нелегальную деятельность, но и за побег из первой ссылки. Пять лет – это много, но Феликс не падает духом. Приговор вынесен в ноябре 1901 года, а вскоре он заявляет Альдоне: «Якутские морозы не так страшны, как холод эгоистических душ» – поэтому, как он пишет, лучше Сибирь, чем неволя души.

> Еду уже через 3 недели, не делай глупости и не приезжай ни сюда, ни в Минск. Что после этих нескольких минут свидания, потом нам будет еще тоскливее. (…) Что же касается полушубка и валенок, не будет ли это затруднительно для вас? Если захотите мне прислать, то пришлите сюда, в Седльце[149].

Ему предстоит ехать через Минск и Москву далеко на северо-восток – в Вилюйск, старое место ссылки в Якутии. «Меня высылают, наверное, через два дня, – пишет он в январе 1902 года. – Радует меня и то, что через два месяца буду свободен [то есть в ссылке], потому что тюремные стены так действуют мне на нервы, что уже не могу хладнокровно смотреть на сторожей, стены, решетки и т. п.»[150]. Тогда он уже отсидел двадцать три месяца.

18 марта 1902 года из пересыльной тюрьмы в Александровске Иркутской губернии:

> Дорога из Седлец, продолжавшаяся два месяца, порядком меня утомила. Из Самары ехали без отдыха 10 суток, и теперь надо немного поправить здоровье, потому что не очень хорошо себя чувствую. И еще: у нас есть книги, немного читаем, но больше разговариваем и проказничаем, заменяя настоящую жизнь – пародией, забавой[151].

Но желание жить «настоящей жизнью» было, видимо, очень велико, потому что 19 мая в Александровской тюрьме вспыхнул бунт. Заключенным запретили выходить с охранниками за ворота тюрьмы, чтобы купить продовольствие, а камеры стали запирать на час раньше. В ответ политические провели собрание и потребовали отменить эти ограничения. Когда администрация отказалась, то на очередном собрании заключенные приняли –

вспоминает социалист Андрей Сергеев – «далеко идущее и самое революционное предложение тов. Дзержинского, а именно: выбросить из тюрьмы всю охрану (было не более 10 охранников), закрыть ворота и не впускать тюремную администрацию, пока все требования не будут выполнены»[152]. Так и сделали: ворота забаррикадировали, над ними вывесили флаг с надписью «Свобода», а весь этап провозгласили самостоятельной республикой, не признающей власть и законы российского государства. Вице-губернатора, приехавшего на следующий день для переговоров, внутрь тюрьмы не впустили. Переговоры проходили через дыру в ограждении. В конце концов, царский чиновник уступил: он вернул прежние привилегии и не применил к бунтовщикам никаких репрессий.

В конце мая Дзержинский отплыл в полуторамесячный путь с транспортом заключенных. Ему предстояло преодолеть четыре тысячи верст по реке Лена – но до Вилюйска он так и не добрался. Он задержался в Верхоленске, где познакомился с Львом Троцким, который позже напишет, что летом 1902 года там началась настоящая эпидемия побегов. Дзержинский тоже мечтал об очередном побеге. Хенрик Валецкий из ППС[153], опытный ссыльный, подсказал Феликсу, чтобы тот еще в Верхоленске симулировал болезнь, потому что из Вилюйска бежать уже не удастся, так как он расположен очень глубоко в тайге. Феликс притворился, что у него аппендицит, а подкупленный фельдшер подтвердил диагноз и оставил его в больнице. В дальнейший путь Дзержинский должен был отправиться со следующим транспортом ссыльных, но уже через несколько дней он нашел себе товарища по побегу – Михаила Стадкопевцева, русского эсера. Ночью 12 июня они вместе поплыли на лодке по Лене.

Колокол на церкви пробил полночь; два беглеца потушили свет в своей избе и через окно украдкой, чтобы не разбудить хозяев, вылезли наружу, во двор. (…) Как разбойники, они прокрадывались мимо хат, внимательно всматриваясь в темноту, нет ли кого, не поджидает ли кто их. Было тихо, село спало. Только ночные сторожа время от времени стучали в свои колотушки, подавая знаки друг другу.

Наконец, на Лене они отыскали

> лодку и сели в нее тихо-тихо, чувствуя в себе силу и веру, что им удастся бежать отсюда. (…) Дыхание перехватило, сердце радостно сжалось – они плывут, село быстро удалялось, пока не исчезло в темноте. И тогда радостный вскрик вырвался из их души, измученной более чем двухлетним пребыванием в

тюрьме.

– вспоминал Дзержинский. Историю этого побега он красочно изложил в первом номере «Красного Знамени». Описанный там образ жизни и ментальность сибирских крестьян напоминает прозу Салтыкова-Щедрина или Гоголя.

> Мы живо принялись за работу. До 9 утра надо было преодолеть пятнадцать миль, – продолжал он. – Гребли по очереди. Течение было быстрое, поэтому лодка как птица летела по глади реки, окаймленной высокими берегами, лугами и лесами. Ночью при луне все это выглядело фантастически и таинственно. Кое-где по берегам горели костры, отражаясь в воде. Они избегали таких мест, старались плыть в тени (…). Но переполнявшая беглецов радость и чувство спокойствия вскоре ушли: впереди они услышали какой-то шум, как от водопада (…). Шум все нарастал и, наконец, перешел в грохот; уже можно было понять, что это столкнулись две стихии. Впереди показался огромный остров, на его левой стороне над водой нависли скалы, и это с ними так оглушительно боролись волны.

Беглецы обошли это опасное место, направив лодку вправо, вздохнули с облегчением. Но остров заканчивается и снова грохот; течение хочет сбросить лодку между скалами вниз. Здесь стояла мельница. Река между островом и берегом была перегорожена плотиной, и вода с шумом устремлялась через плотину вниз. Они вовремя остановились, причалив к берегу. Что делать? Перед ними была мельница, плотина и пропасть, слева огромный остров с покатым берегом, за ним скалы. На мельнице, видимо, спали, собак, к счастью, не было, только кони заржали беспокойно и галопом умчались от берега. Один из беглецов пошел на разведку: может, удастся потихоньку протащить лодку по берегу мимо мельницы. Второй остался в лодке. Разведка ничего не дала. Надо было возвращаться против течения назад, среди скал наверняка был проход (…). Но ночью, при таком бешеном течении поиск прохода был связан с огромным риском. Тем более, что луна уже скрылась, светало и туман начал подниматься выше над рекой. С огромным трудом им, наконец, удалось перетащить лодку на другую сторону острова. Двадцать раз они ухватывались за лодку, напрягали все свои силы, чтобы продвинуть ее на расстояние двух-трех шагов. Наконец, обессиленные, они столкнули лодку в воду на другой стороне острова, упали в нее и так плыли некоторое время, отдыхая.

Холод стал донимать утром, надели зимние пальто (…). Молчали, усиленно работая веслами. Их окутывал туман – серый, густой, темный. Вокруг ничего уже не было видно, (…) они плыли в безбрежном пространстве, замерзшие, несмотря на работу веслами, даже не ощущая, как быстро плывет их лодка, не видно ни берегов, ни неба, ни реки (…). Уже шесть, а туман все не рассеивается, вдруг – о, боже! случилось что-то страшное: треск, крик и все… Погибли! (…) Это был еще один остров, и дерево развесило над водой свои толстые ветви: беглецы его не заметили, и лодка врезалась в дерево со всей силой. Сидевший на веслах не успел даже вскрикнуть – и был уже в воде. Инстинктивно он ухватился за ветку, точащую над водой, и вынырнул, но ватное пальто, пропитанное водой, тянуло его вниз, а ветка стала ломаться; он ухватился за другую, но и та была слабая. Выбраться самостоятельно он не мог, так как лодки уже не было. Однако второму удалось забраться на ствол дерева, и он помог товарищу выбраться из воды».

Они оказались на совершенно пустынном острове, лишившись всего.

Что тут делать? Там, за рекой, проходит дорога, и люди ездят, слышны их голоса и громыхание повозок, скоро их можно будет даже рассмотреть. (…)

Они договорились, как будут объяснять свое появление здесь, и один из них, не промокший, стал высматривать, не проедет ли кто мимо, а второй, искупавшийся в реке, разжег костер, разделся и давай плясать вокруг костра, чтобы согреться и обсохнуть. Наконец, он обсушился, а тут и крестьяне из ближайшей деревни подъехали на лодке. Их было несколько. На груди одного из них видна была бляха с царским знаком. Они перевезли потерпевших кораблекрушение с острова на берег, а те дали им 5 рублей. Уважения к беглецам, понуро смотревшим на реку, сразу же прибавилось. «Здесь утонули наши вещи и наши деньги, осталась только мелочь, 60 рублей, а остальные, несколько сот рублей, там на дне лежат! Как мы пойдем дальше? Что делать, что делать!». «Успокойтесь, как-нибудь обойдется, – успокаивали их крестьяне и уже без всякой подозрительности стали спрашивать, откуда и куда они едут, и в их голосах было слышно сочувствие и готовность помочь. Беглецы ответили не сразу, угрюмо ходили туда-сюда.

«Лошади скоро будут?»

«А прямо сейчас!»

«Я сын купца из города N., – наконец, сказал один из них, – а это наш приказчик. Мы ехали в Жигалово, чтобы там сесть на пароход и ехать в Якутск за костью мамонта, а тут…”

“Не убивайтесь вы так сильно, – снова стали успокаивать их крестьяне, – хорошо, что Господь Бог вас сохранил!” (здесь “купцы”, наверное, перекрестились), – “мы вас на лошадях отвезем в Z., а там можете дать телеграмму домой, чтобы выслали денег”.

“А, прекрасная мысль” – в один голос воскликнули беглецы и умолкли. Они пытались придумать, как бы выпутаться из ситуации; снова стали, задумавшись, ходить вперед и назад. (…)

Лошадей подогнали, крестьяне попрощались с жертвами крушения. (…) Десять верст ехали в село, где их встретили

собравшиеся крестьяне – весть о несчастных докатилась до села раньше – и сразу же уездный писарь сообщил им, что часть их вещей выловили недалеко от деревни, а они, если захотят, пусть подождут несколько дней, пока, может, и деньги их найдут. Жадность крестьян спасла беглецов; писарь стал говорить, что сейчас, когда вода мутная, быстрая, деньги вряд ли удастся быстро обнаружить: пусть купцы оставят свой адрес, пусть даже дадут кому-нибудь из крестьян доверенность на поиски. Когда деньги найдут, то они вышлют их в целости и сохранности. А пока господа могут телеграфировать домой, чтобы выслали денег. “Купцы” обрадовались такому предложению (…), но еще нужно было отвертеться от телеграммы. “Вы же знаете, – заговорил купец, – что у нас с деньгами обходятся осторожно. Поверит ли отец нашему несчастью? Скажет: прокутили, в карты проиграли, пусть теперь крутятся, как хотят, а я им ни копейки не пошлю! А мать, моя несчастная мать, что с ней, бедной будет, когда узнает о нашем крушении!” И “купец”, расчувствовавшись, перекрестился с истинно православным благоговением, – “Господи, помилуй” – глубоко вздохнул, а вместе с ним и многие в толпе.

Нет, ничего не поделаешь: «купцам» надо ехать домой, причем не по шоссе вдоль телеграфной линии, а стороной, потому, что так короче, до железной дороги в сторону города N., их родного города.

Их провели в избу. Самовар шумит на столе, хозяйка выкладывает на стол свои “шаньги”[154], изба полна перешептывающихся баб и мужиков, рассказывающих друг другу, как все произошло. Они не хотят слишком надоедать «купцам», которые, задумавшись о своем несчастье, в молчании попивали чай. (…) Ох, дураки вы, мужики, дураки! Разве купцы бывают такие худые, как те, что сидят перед вами? Ох, дураки, вы даже не догадываетесь, что это те, кого надо ловить и вязать!

Наконец, уехали.

Ехали, не останавливаясь, днем и ночью через тайгу, через

первобытный бескрайний лес, и возницы рассказывали им легенды о хозяйничающих в тайге разбойниках и бродягах, убийствах и грабежах, о беглых каторжниках и ссыльных, об охоте на этих беглецов. И чем больше они рассказывали, тем ощутимее становилась темная, таинственная, вечно шумящая тайга, и появлялись из чащи тени убитых и не похороненных, тени умирающих с голода и проклинающих мать, которая родила их на свет; тени заблудших, что в безысходном отчаянии бьются о стволы деревьев. (…) А тайга все шумит и шумит…

Возницы и лошади менялись каждые 6-10 часов. Беглецы быстро продвигались вперед, все ближе к цели. Очередная легенда о потерпевших крушение рождалась тут же, при них, так как каждый из возниц пересказывал ее следующему, добавляя что-нибудь от себя, а «купцы» смущенно вздыхали, а когда никто на них не смотрел – весело улыбались. Потому что им чертовски везло. Скоро тайга должна была кончиться, до деревни осталось 20 верст, сибирские выносливые лошади бежали без перерыва уже 80 верст. Вдруг впереди слышен колокольчик, это кибитка, запряженная тройкой, это кто-то из царских слуг едет!

«Купцам» внезапно захотелось спать, они укладываются и накрываются пальто. Это исправник с сельским начальником поехали осматривать дорогу. Проехали… Близилась ночь, когда они выехали из тайги. Деревня здесь же, на краю леса (…). Тут видят на дороге мужиков с шапками в руках и седого старца на коленях. Они, видимо, приняли «купцов» за царских слуг (…). Кланялись представителям власти, а у тех ни эполетов, ни знаков, кто такие? Стой! Схватили лошадей под уздцы, окружили бричку. Были пьяны. Пропили деревенские деньги вместе со своим старостой, а теперь хотели просить прощения у власти, чтобы избежать наказания. Но это не чиновники, и «Кто вы? Откуда? Куда? Зачем?».

«Прочь, разбойники, как вы смеете нас, купцов из города N., здесь на дороге останавливать. Мы вам, сволочи, покажем! Прочь с дороги! Возница, поезжай дальше, огрей-ка кнутом эту пьяную свору!” – строго закричали “купцы”, хотя по коже мороз пробежал. Неужели успели предупредить этих мужиков? Нет, вряд ли. Может, еще удастся спастись! (…) Началась словесная перепалка. У “купцов” был один паспорт, показали его старосте, а второй из них демонстративно достал листок бумаги и стал громко, вслух “писать жалобу” генерал-губернатору, что их, хорошо ему известных людей, задерживают, как каких-то преступников, на дороге, нападение учиняют его люди с царскими бляхами на груди, наверное, хотят получить на водку. Наконец, он обратился к нескольким мужикам, чтобы они были

свидетелями против старосты. Мужики испугались и ноги в руки, а староста начинает извиняться, приглашает: *Пожалуйте в барскую комнату*, и обещает, что сейчас же распорядится, чтобы подали лошадей, только господа купцы пусть не гневаются».

В деревне они не остались, потому что узнали, что исправник должен скоро вернуться и остановиться именно в этой избе. «Но пришел староста и вызволил их из беды. Увидев его, «купцы» страшно возмутились: «Ты, староста, как ты смел нас задерживать, требовать документы, как у разбойников? (…) Нападать на дороге на проезжающих купцов! Нет, мы это так не оставим!» – полные достоинства, разгневанные и оскорбленные, «купцы» ни на минуту не захотели оставаться под одной крышей с таким бандитом, пьяницей и мерзавцем, велели отнести свои вещи в повозку и поехали искать, где нанять лошадей и двинуться в путь.

Это было последнее приключение беглецов (…). Без происшествий они проехали по бурятским степям и через несколько дней уже сидели в поезде, который и привез их туда, куда они так стремились. Побег длился 17 дней, а в ту сторону, в ссылку, стражники везли их четыре месяца»[155].

В августе Дзержинский добрался на Виленщину и сразу направился в Поплавы к кузине Станиславе Богутской. По ее воспоминаниям, он неожиданно заявился летним днем 1902 года, измученный, в рваной одежде и дырявых ботинках, с опухшими после долгой ходьбы ногами, но веселый и счастливый, и сразу начал играть с детьми. Он намеревался бежать за границу, но решил еще заехать в Мицкевичи, чтобы повидать Альдону. «Возвращаясь с детьми с прогулки, я вдруг увидела Феликса, сидящего у нас во дворе, – вспоминала сестра. – С невыразимой радостью я бросилась к нему на шею, чтобы обнять его, а он мне шепнул: «Называй меня Казимиром». Мой четырехлетний сын [Тонио] очень удивлялся, когда я называла его то Казик, то, забывшись, Феликс, и спрашивал: «Как же на самом деле зовут моего дядю?»[156].

История этого побега, опубликованная на страницах «Красного Знамени» (конечно, в целях безопасности без упоминания фамилий и какой-либо информации о беглецах) произвела сенсацию в среде социал-демократов, ну, и укрепила легенду о Дзержинском. После Варыньского, который не расставался с браунингом, и Каспшака, который при аресте положил четырех полицейских, – у Феликса были все шансы стать очередным героем.

IX. У него большевистское сердце. Профессиональный революционер

В августе 1902 года Феликс уже в Берлине. Побег из ссылки означал для него непременный отъезд из России из-за угрозы нового ареста. Побыв три дня в Мицкевичах, он перебирается в Варшаву, а оттуда быстро едет в столицу Германии. Конечно, по левым документам, под именем Юзеф Доманский. «Юзефом» он останется надолго – с этого момента это его партийный псевдоним.

За два года, которые Дзержинский провел в тюрьмах, в государстве российском произошло много событий. Эстафету террора от народовольцев приняли эсеры[157], проведя серию акций, которые поместят Россию на первое место среди государств, борющихся с проблемой терроризма, а в 1902 году Владимир Ленин написал *Что делать?* – знаменитую программу революционной партии нового типа. Оппозиционную, с одной стороны, к действиям эсеров, а с другой – к экономизму, постулирующему, прежде всего, борьбу за права рабочих. Ленин делает ставку на политику и не скрывает стремления захватить власть в России. Он обосновывает понятие «профессиональный революционер», который должен полностью посвятить себя партийной и пропагандистской работе. И постулирует централизацию власти в руках все тех же профессионалов. Это предвестие диктатуры пролетариата.

В Берлине Дзержинский впервые встречается с авангардом польской социал-демократии: Розой Люксембург, Юлианом Мархлевским, Леоном Йогихес-Тышкой и Адольфом Барским[158] – то есть с четверкой людей, которые через некоторое время будут называться берлинцами. Польские социал-демократы уже тогда установили контакты с русской социал-демократией, благодаря знакомству старейшины рабочего движения Цезарины Войнаровской[159] и Розы Люксембург с издателями газет «Искра» и «Заря», то есть с находящимися в эмиграции Владимиром Лениным, Георгием Плехановым, Львом Мартовым и Федором Даном. Особенно Роза восхищалась их публицистической деятельностью, читала их материалы и рекомендовала другим.

В это время руководители польской социал-демократии готовят в Берлине конференцию заграничных ячеек СДКПиЛ. Дзержинский письмом приглашает на конференцию Войнаровскую, проживающую в Париже.

> Я приехал из Сибири. И хочу посвятить остатки моих сил нашему общему делу, – сообщает он в письме. – Именно поэтому я взялся за это. Сделав здесь все дела, я снова уеду в Польшу. Добавлю, что мне 25 лет (пишу это, так как Вы можете удивиться, увидев меня таким молодым)[160].

Действительно, по сравнению с берлинцами он – мальчишка, но производит на них очень хорошее впечатление, даже несмотря на то, что упрекает их в отрыве от масс в Польше. Он необычайно активен: он является инициатором создания Заграничного комитета СДКПиЛ и становится его секретарем, а также предлагает издавать «Красное Знамя» – новый печатный орган партии, который, по его замыслу, должен стать газетой для массового читателя. Роза Люксембург, как утверждает Эдвард Прухняк[161], по достоинству оценила его активность, отчаянность и работоспособность. Одновременно – об этом Прухняк не упоминает – отмечает и его фанатизм. Там, где для нее было пространство для холодного расчета и теоретических выводов, для него существовала сфера *sacrum*, наполненная миссионерскими делами. Поэтому очень скоро Роза будет говорить: “У него большевистское сердце”. Она быстро обнаружит в нем стремление улучшить мир в ленинском (то есть – сектантском) стиле, с которым она был не согласна. Прухняк отмечает, что больше всего Люксембург ценила в Феликсе “полное отсутствие интеллигентского налета, его абсолютную гармонию с рабочим классом”, а также то, что он “умел все идеологические вопросы переводить на язык практики и организации”[162]. К тому же был абсолютно лояльный и дисциплинированный. Он никогда не принимал решений за спиной берлинской четверки. Лев Троцкий вспоминал, что как партийный деятель, Дзержинский всегда нуждался в чьем-то политическом руководстве, и с этим следовало согласиться, потому что его считали революционером, а не политиком. Когда он стоял перед выбором между реальной работой и властью, он всегда выбирал работу. Он был типичным организатором[163].

Чтобы издавать «Красное Знамя», Дзержинскому надо было ехать в Краков, в то время идеальное место для конспираторов. Австрийские власти давали полякам достаточную свободу, особенно тем, кто занимался заговорами против двух оставшихся захватчиков: германского Рейха и царской России. К тому же город располагался недалеко от русской границы, что облегчало подпольщикам контакты с соотечественниками из Конгрессовки и переброску литературы и оружия на его территорию.

Дзержинский должен был забирать материалы у авторов, редактировать и корректировать тексты, организовывать распространение газеты. Первый номер «Красного Знамени» он готовит еще в Берлине. Напечатанный в Швейцарии, в ноябре 1902 года он появляется в Кракове, и Феликс организует его переброску в Польское Царство. Но годы, проведенные в тюрьмах, сильно подорвали его здоровье. Товарищи отправляют его в партийный отпуск: две недели он провел в Швейцарии на Женевском озере. Оттуда он перебирается в санаторий в Закопане, куда ему помог устроиться врач и товарищ по партии Бронислав Кошутский. Проведенное обследование показало, что «состояние легких Феликса не вселяет беспокойства за его жизнь (кавернозная форма)». «Феликс приписывал это тому обстоятельству, – вспоминал Кошутский, – что в тюрьме в Седльцах, где перед ссылкой в Сибирь он находился достаточно долгое время, тюремный врач делал ему подкожные уколы мышьякового препарата»[164].

27 декабря 1902 года он пишет Альдоне из Закопане: «2 месяца лечения значительно облегчили мое состояние, я поправился, меньше кашляю. Я отдохнул, и тянет меня в город». 8 января 1903 года он сообщает уже из Кракова:

> «У меня большая комната за те же деньги, даже дешевле, я отлично устроился и смогу продолжать лечение. Рядом живет мой друг врач, он за мной присмотрит.
>
> А я пытаюсь записаться в университет, хочу немного подучиться, пойду на философию, только не знаю, примут ли на I-й семестр, думаю, уже слишком поздно[165].

Все закончилось благими намерениями – нет никаких следов пребывания Дзержинского в стенах Краковского университета.

Краков в начале XX века переживает культурный расцвет. В кофейнях гуляют цыгане, подогретые абсентом и крестьяно-фильством. Выспянский только что написал свою знаменитую драму *Свадьба*, а на сценах театров царит Хелена Моджеевска. Но революционерам этот город кажется странным[166]. «Ведь здесь тоже родной край, польский, но жизнь тут настолько отличается от нашей; люди здесь целыми днями просиживают в пивных и трактирах, и часто хочется убежать из этого Кракова со всеми его историческими памятниками, пивными, сплетнями и сплетенками», – сетует Феликс в письме сестре. «Но я должен здесь сидеть и я буду сидеть»[167], – добавляет он. Но это просто жалобы, потому что Кошутский вспоминал:

> Он [Феликс] проявлял необычайную подвижность и энергичность. Кроме организационной работы, он принимал деятельное участие в редакционных совещаниях, поддерживал переписку с товарищами в Польше и за границей, много раз ездил по партийным делам либо в Царство Польское, либо за границу – на съезды и конференции[168].

На Вавельском холме Дзержинский становится профессиональным революционером.

Так прошел 1903 год. Среди многочисленных поездок была и поездка в июле в Берлин на IV съезд Социал-демократии Королевства Польского и Литвы, созванный по инициативе Дзержинского и Адольфа Барского. Целью съезда было обсуждение вопроса об объединении с Российской социал-демократической рабочей партией. II съезд РСДРП начал свою работу в конце июля в Брюсселе, но из-за целой армии сыщиков и шпиков, которые, по воспоминаниям Троцкий, как блохи сидели в тюках шерсти, хранившихся на складе, в помещении которого должны были проходить заседания, съезд перенесли в Лондон. В связи с тем, что на съезд планировалось пригласить представителей польской социал-демократии, еще в марте они получили письмо от Мартова, написанное от имени всей редакции “Искры”, с вопросом, в “какие отношения с РСДРП хотела бы вступить СДКПиЛ?”[169]. Ответ от имени партии, вежливый, но осторожный, написал Адольф Барский: «Фактически до сих пор мы не связаны с российским движением ни формально принятой общей программой, ни общей организацией, и поэтому мы не признаём за собой право причислять себя к РСДРП», и в заключение четко заявил: «Что же касается деталей совместной программы и организационных форм, то их обсуждение как раз и должно входить в задачу съезда»[170]. Как позже оказалось, и программа, и организационная форма стали причиной конфликта. В конце концов русские направили приглашение для двух представителей. Делегировали Барского и Якуба Ханецкого. Они сделали русским заявление от имени поляков: польские социал-демократы не могут присоединиться к общероссийской социал-демократии, так как она в своей программе выступает за право наций на самоопределение. Тем временем, польский пролетариат не должен принимать участия в борьбе за возрождение польского государства, а право наций на самоопределение может использовать ППС в своих националистических целях. Авторами этой декларации были Люксембург и Тышка. Ханецкий хотел

даже потребовать, чтобы РСДРП официально осудила ППС, но Люксембург отговорила его от этого. Дзержинский решительно поддерживал позицию Розы[171].

Перегруженный работой, Феликс пишет Альдоне только в декабре 1903 года из Берлина: «Больше полугода мы не писали друг другу. Много раз я порывался написать, но ничего веселого не мог тебе сообщить. Мне не хотелось писать тебе только о своих проблемах»[172]. В политическом отношении это был очень напряженный период, а в личной жизни ему приходилось бороться со смертельной болезнью невесты и с бедностью. У него появляются долги, главным образом таким же революционерам. Поэтому время от времени он просит родственников помочь ему – сестру Ядвигу, братьев, предлагая им свою долю в правах на семейные земли в обмен на деньги. В конце концов, при посредничестве Альдоны он получает 600 рублей, которые родители откладывали на его учебу. Радуется, что этих денег хватит ему на два года.

> Я был зол на братьев, что не пишут, не помнят, ведь через Казика[173] они могли меня всегда найти, – жалуется он сестре. – Все это время я мотался по всей Европе, не имея возможности ни отдаться полностью любимому делу, ни найти постоянного заработка. Я зависел от людей и это отравляло мне жизнь. (…) Напиши мне, дорогая Альдона, где Стас, Игнас и Владик. А детишки, наверное, здорово выросли. А какие успехи у Рудольфика в учебе? Напиши мне обо всем, как только у тебя будет время, знаешь, как меня интересует каждая мелочь.

Потом он опять долго молчит, а когда через четыре месяца напишет Альдоне, то будет объяснять: «не в забывчивости причина, просто мне приходится очень много работать»[174]. За это время он успел стать членом Главного правления СДК-ПиЛ, вновь съездить в Швейцарию на лечение, он часто бывал на тайных собраниях польских рабочих, в частности, в Лодзи и в Домбровском угольном бассейне[14].

1901–1904 годы – это очередная любовь. Снова скорее платоническая, по уровню эмоций и душевного разлада напоминающая период знакомства с Магдалиной. На сей раз это Юлия Гольдман, сестра Леона и Михаила – товарищей по конспирации в Вильно[175]. Это возобновление любви, так как молодые люди интересовались друг другом еще когда Дзержинский был в Вильно. Альфонс Моравский вспоминает, что Феликс был влюблен в сестру одного из своих друзей и потом

женился на ней. Не женился, а, якобы, вместе экспериментировали с наркотиками. Юлия тоже была активистка, как и Маргарита пыталась совместить личную жизнь с делом. Она носила, на манер нигилисток, коротко остриженные волосы. И была около него, когда он сидел в тюрьме в Седльцах.

В декабре жандармерия арестовала в Вильно некоего Беньямина Хакимовича, у которого было найдено письмо, написанное по-русски. Адресатом был мужчина, к которому автор обращалась «Милый мой, дорогой Феликс!» и подпись – «Ваша Юлия». Письмо было датировано 1 ноября 1901 года и написано, как установила жандармерия, кому-то находящемуся в тюрьме. С самого начала Юлия уверяла: «Я украшала Вашу жизнь в течение двух месяцев в тюрьме и, может быть, украшу ее и в ссылке»[176], что указывало на то, что она была готова ехать за любимым даже в Сибирь. Но, как следует из полицейской записки, она была вынуждена уехать за границу. Это подтверждает письмо Феликса Альдоне от 7 января 1902 года: «У меня тут было пару раз свидание с очень дорогой мне особой, больше этого не будет, судьба разлучила нас надолго, а может навсегда»[177].

Юлия уехала в Италию, откуда время от времени писала ему. А он о ней Альдоне: «Моя невеста чем дальше, тем сильнее болеет. Сейчас она живет в Италии, безнадежно больная и совсем одинокая». А потом уже с дороги в ссылку: «Будь так добра, пошли кого-нибудь к Гольдманам известить молодую Олю Гольдман (не родителей) и дай ей мой адрес. Они живут в Белом переулке, только забыл, в каком доме. Сделай это для меня. Пусть она обязательно пришлет мне адрес своей сестры, которая сейчас за границей, и свой адрес в Вильно»[178].

В 1904 году Юлия лечится в санатории в Швейцарии, где Феликс несколько раз ее навещает. Он будет с ней до конца. Оба знают, что это последняя стадия чахотки. «Юля умерла 4 IV, я не мог отойти от ее ложа ни днем, ни ночью, – пишет он Альдоне 16 июня, через день после возвращения в Краков. – Мучилась ужасно. Она умирала целую неделю, будучи в сознании до последней минуты". Дзержинский остается в Кракове в полном одиночестве. Во второй половине августа он пишет сестре: "Острая тоска и боль прошли, наступила апатия. Так или иначе, но надо жить".

Осенью новый удар – умирает дочка Альдоны Хеленка. Феликс пишет сестре:

> Дорогая моя Альдоночка! (…) Не буду тебя утешать – надо переболеть, а страдание – это удел человеческий, и верь, счастливы те, кто заснул на веки. Надо жить, ибо

> те, кто живет, должны плакать, должны страдать, должны жить для других, пока не придет смерть, как вор в ночи, и не освободит нас, и мы должны ее благодарить. И в сто раз счастливее те, которые не познали эту жизнь и заснули. (…) Альдоночка моя, твое горе – это мое горе, твои слезы – это мои слезы.

В декабре он жалуется: «Борьба с бытом меня порядком утомила. Физически чувствую себя неплохо. Несколько дней у меня проблемы со сном – либо мне ужасно хочется спать, либо до 4-х, 5-ти совсем не могу заснуть»[179]. Со временем это перерождается в хроническую бессонницу.

X. Генеральная репетиция. Год 1905

Революция и любовь пришли к Феликсу одновременно. Первая началась в Царстве Польском почти через неделю после петербургского «кровавого воскресенья», а вторая – в конце 1904 года, когда Дзержинский приезжает в Варшаву[180].

Продолжающаяся с начала 1904 года война оказалась фатальной для государства Романовых[181]. Социал-демократы отлично улавливают изменение общественных настроений, нарастающее недовольство масс и возможность проведения реформ, в том числе даже касающихся государственного устройства. Они решают держать руку на пульсе. Поэтому Феликс по указанию Главного правления[182] СДКПиЛ едет в Варшаву, ожидая, что там, где рабочая братия наиболее сознательна, в любой момент может что-нибудь начаться. Именно в это время, в ожидании революции, он познакомился с Сабиной Файнштейн – женщиной, которую он любил больше всего. Когда начался мятеж, он вместе с ее братом работает «военным корреспондентом» – доставляет берлинским руководителям СДКПиЛ информацию прямо с поля боя[183]. А сообщать есть о чем, потому что происходит множество событий, чреватых серьезными последствиями.

Лев Троцкий назвал революцию 1905 года «генеральной репетицией». Премьера состоялась лишь через двенадцать лет, но сейчас этого никто еще не мог предвидеть. Репетицию приняли за премьеру – первый массовый порыв народа против самодержавия с требованиями земли и рабочих прав. Ход событий, приведших к обеим революциям (1905 и 1917), был почти идентичный. Поводом к ним послужила бессмысленная война, которую вели правящие круги за счет народа, не имеющего права голоса.

Началом революции 1905 года считается день 22 января, вошедший в историю под названием «кровавое воскресенье». Собрание русских фабрично-заводских рабочих города Санкт-Петербурга во главе с попом Георгием Гапоном с иконами и крестами, под религиозные песнопения направились к Зимнему дворцу, чтобы передать царю петицию от рабочих и заверения в лояльности. Мирную демонстрацию встретили залпы из огнестрельного оружия. Первый залп был дан выше, в сторону деревьев, на которых сидели ребята-зеваки, результат – дети падали с деревьев как спелые груши. По официальным данным, на месте погибли 96 человек, ранено 333, из которых 34 умерли. Неофициально говорили даже о тысяче убитых. Кто отдал этот идиотский приказ? Правда, что организатор шествия, поп Гапон,

был агентом царской Охранки, то есть тайной полиции, а шедшие к царю рабочие – монархистами[184], которых подговорил на это Гапон.

В тени этих событий кроется фигура Сергея Зубатова, начальника сначала Московского охранного отделения, а потом Особого отдела Департамента полиции – большого мастера провокаций. Зубатов, назначенный на эту должность всеми ненавидимым министром внутренних дел и шефом жандармов Вячеславом Плеве, должен был заняться лицами, ведущими антигосударственную деятельность, то есть интеллигентами, которые смущают умы рабочих и крестьян. Его план перетягивания масс на сторону власти был одновременно и прост и дьявольски коварен. Зубатов решил, что следует поддержать массы в их извечных болячках, то есть в конфликте с капиталистами. «В России не было здоровой русской национальной организации, и мечтой Зубатова было дать импульс к ее созданию», – писал Петр Заварзин, следующий шеф московской Охранки. «Руководствуясь этой мыслью, он задумал создать легальные рабочие организации и реализовать в минимальной степени политические и экономические положения программы социалистов, но на основе Самодержавия, Православия и Русской Национальности»[185]. Таким образом, возник новый тип социализма: полицейский, провозглашающий, что только царь, Бог и национальная идентичность при посредничестве тайной полиции гарантируют равенство и справедливость. В 1904 году под опекой Зубатова было организовано Собрание фабрично-заводских рабочих г. Санкт-Петербурга, в котором ведущую роль играл как раз священник Гапон, ценный агент царской Охранки[186].

К вербовке агентов Зубатов подходил с любовью, как подобает истинному знатоку. «Господа, – объяснял он жандармам, – вы должны смотреть на агента как на любимую женщину, с которой вы находитесь в тайной связи. Берегите ее как зеницу ока. Один неосторожный шаг – и вы опозорите ее»[187]. Верхом мастерства стала операция, в результате которой во главе боевой организации эсеров встал Евно Азеф, один из наиболее ценных агентов департамента полиции. Обучаясь в университете в Карлсруэ, он создал русский революционный кружок, после чего отправил в петербургскую Охранку письмо с предложением доносить на его членов за 50 рублей в месяц. Руководителем боевой организации эсеров он стал в 1903 году с согласия министра Плеве, который, в свою очередь, через год был убит эсером Егором Сазоновым; план покушения разработал лично Азеф, а потом донес на молодого исполнителя в полицию[188]. А за

всем этим стоял отправленный в отставку Зубатов, который хотел отомстить своему бывшему начальнику, то есть министру Плеве.

Таким образом революционеры становились, не осознавая того, ангелами смерти в руках царской тайной полиции.

Планирование и осуществление провокаций требует специфической извращенности в моральном устройстве человека, – комментировал Станислав Мацкевич (псевдоним «Кошка»). – Крупнейшие провокаторы, такие как Азеф, Гапон, а также организаторы провокаций, такие как Зубатов, Герасимов, Ратаев, Рачковский, Заварзин – это не обычные, нормальные люди, это индивидуалисты со специфически извращенным характером[189].

Итоги революции 1905 года можно трактовать по-разному. Прежде всего, произошел перелом в сознании – рабочий стал самостоятельным, он взялся за оружие, преодолев в себе страх перед войсками (особым героизмом отличились тогда польские рабочие). Рабочий класс стал серьезным противником власти. Вторым вопросом, который затронула революция, была доля крестьянина, потому что одним из основных лозунгов, который поднял массы с колен, было крестьянское требование «Больше земли!». К сожалению, на практике это требование осталось лишь благим пожеланием[190], которое, однако, продержалось многие годы, став со временем важным аргументом в руках большевиков. 1905 год поднял также национальный вопрос – прежде всего в Польше, Финляндии, частично в странах Прибалтики и Кавказа – а также оживил этнические конфликты, в результате которых наиболее пострадала еврейская нация[191].

Каковы же еще итоги этой революции и предшествующих ей лет – она создала климат, который повлиял на сознание людей как опасный вирус. Потому что то, что вытворяли сотрудники и агенты Охранки не могло пройти бесследно. «Бацилла дегенерации», то есть провокаций, подозрительности и предательства, успела заразить общество. Эта бацилла будет использована Дзержинским во время создания структур ВЧК[192].

А что делали во время революции 1905 года будущие творцы большевистского государства? Ленин находился преимущественно в эмиграции[193], где писал тексты пламенных речей. Он призывал к вооруженному восстанию, но сам, как подобало интеллигенту, сосредоточился только на слове. С детства он любил играть в шахматы. Идею революции он разыгрывал тогда как заочную шахматную партию. Лев Троцкий был более конкретным. Уже весной 1905 года он приехал в российскую столицу, в октябре возглавил Совет рабочих депутатов, вскоре после этого попал в тюрьму и отправлен в

ссылку. Находясь в Петропавловской крепости, он разработал теорию мировой пролетарской революции, согласно которой социализм должен был распространиться на весь мир.

Но все это теория. Практиком и достойным сыном революции 1905 года был некто третий – Иосиф Сталин. Как пишет его биограф Саймон Себаг Монтефиоре, в то время «он впервые руководил вооруженными людьми, почувствовал вкус власти, включил в арсенал своих методов террор и бандитизм». В Грузии он стал организатором большинства акций по экспроприации. «Их целью было получение 200–300 тысяч рублей и передача их Ленину со словами «Делайте с этими деньгами что хотите»[195]. Учитывая то, кем в будущем станет Сталин и кого он оставит в своем окружении, высказывание Монтефиоре звучит вдвойне грозно. Но, исторической справедливости ради, следует напомнить, что такой же репутацией, как Сталин, пользовался тогда и будущий глава Польского государства Юзеф Пилсудский. Более того, в правительство II Речи Посполитой он ввел потом своих друзей из боевой организации ППС.

Что касается революционного террора, то Ленин всей душой был на стороне ППС. К неудовольствию СДКПиЛ.

> Убийство шпиков, полицейских, жандармов, взрывы полицейских участков, освобождение арестованных, захват правительственных денежных средств, чтобы обратить их на нужды восстания – такие акции уже проводятся везде, где разгорается восстание, и в Польше [имея в виду Пилсудского. – *Прим, автора*], и на Кавказе [имея в виду Сталина. – *Прим, автора*], и любой отряд революционной армии должен быть немедленно готов к таким операциям[196],

– писал Ленин в октябре 1905 года. Шах и мат!

Одним из первых городов в государстве Романовых, которые протестовали против «кровавого воскресенья», была Варшава. Дзержинский кружит по городу и описывает происходящие события товарищам в Берлине. В целях конспирации он подделывается под девушку, пишущую своей тетке. 28/29 января он сообщает:

> Дорогая тетушка! Не бойтесь за меня, ничего плохого со мной не случится; я сижу дома и в эти беспокойные дни буду сидеть и никуда не выходить, будьте уверены. Страшные дела здесь творятся. Пишу под впечатлением уличных столкновений, очень беспорядочно – но хочется рассказать. (…) В четверг на

многих фабриках началась забастовка, а в пятницу забастовали все остальные фабрики. Рабочие ходили по фабрикам и останавливали работу. Все охотно присоединялись к забастовке и шли дальше. В субботу после обеда уже все фабрики стояли, прекратили работу также пекари, извозчики, трамвайщики. Перестали выходить журналы «Курьер Варшавский», «Гонец», «Торговая газета» и другие. В субботу рабочие потребовали закрыть все магазины – удалось, а где не послушались, там разбивали витрины. Кондитерские тоже позакрывали – например, кондитерская Завистовского (на углу Алей Иерусалимских и ул. Маршалковской), не хотели закрываться, так им сразу побили все стекла. Буржуи в панике бежали, а рабочие говорили им, что фабриканты не должны объедаться, когда у народа хлеба нет. В пятницу забастовали телефонистки на главной станции, а их окружили полиция и войска. Но в субботу оборвали провода. На газовом заводе забастовали тоже в пятницу – туда ввели солдат, которые и работали. Но уже в пятницу там было более десятка ожогов, к солдатам вызывали скорую помощь. Тогда рабочие, в основном молодежь, побили фонари почти на всех улицах.

Сцена: иду сегодня вечером – группа рабочих спрашивает меня, не считаю ли я, что этот фонарь слишком ярко светит? – Я соглашаюсь, и тогда они берут по охапке снега– бац, бац. Иду дальше. (…) Извозчики не хотели бастовать, а также возницы угля и товаров. До 12-ти в субботу им разрешили ездить, но с полудня должны были прекратить. Сцена: едет пролетка, на углу группа бастующих останавливает ее – заставляют пассажира выйти и заплатить извозчику, которому велят ехать домой. И так на каждом углу. С трамваями то же самое – в случае сопротивления переворачивали трамвай. На Маршалковской опрокинули 3 трамвая. То же и с возами с углем – рабочие заставляли поворачивать лошадей назад, домой. Водопроводы охраняются войсками. (…)

В 11 уже огромные толпы на Гжибовской площади, на улицах Граничной, Твардой, Багно и на прилегающих улицах. В 4 часа на Маршалковской уже полно народа (я была только в этих районах). Христиане и евреи держатся вместе. (Полиция хочет с помощью негодяев спровоцировать антисемитские выступления). «А что, – спрашиваю, – евреи тоже бастуют?» – «Ну да, – отвечает

еврей, – ведь нам же не лучше». На улицах обо всем говорят свободно.

Вся полиция попряталась. После обеда появились военные патрули, но очень немногочисленные: так, в 3 часа на углу Твардой и Сенной я впервые с утра встретила патруль из 15–20 пехотинцев с винтовками, рядом – две шеренги городовых; во главе – помощник комиссара и околоточный. «Раззай-дись!» – раздается неуверенный окрик. Патруль проходит, а рабочие возвращаются. (…)

Сцена в пятницу и субботу утром: можно встретить господ в цилиндрах и разодетых барышень с буханками хлеба, купленными за 70–80 коп. – Наступает вечер: город погружается в темноту, только кое-где горят фонари – приближается что-то страшное. Слышны призывы, возня, топот ног, видно мелькание каких-то теней – все подворотни полны людей. Ворота не закрывают. Полиции нет. Бьют витрины вино-водочных магазинов, водку выливают, бутылки разбивают – слышатся голоса, что водку надо уничтожить, чтобы людишки не перепились, когда голод прижмет. Этим пользуются негодяи и поджигают винные магазины. Вспыхивают пожары. Так, например, в 8 часов горит магазин на углу Велькой и Злотой. Приезжают пожарные. Со стороны Броней доносится стрельба, которая не прекращается до 11 ночи. На Сенной у винного магазина недалеко от площади Витковского идет бой. 5 солдат закрылись там и стреляли – один рабочий убит на месте, один смертельно ранен, одному плечо прострелили навылет. (…) Иду дальше на площадь Витковского. После недолгого затишья вновь на площади стрельба: трах, трах, тррах (одиночные выстрелы солдат и залп с улицы Сенной наискось в направлении Медзяной), в ответ на это выстрелы рабочих: трах, трах, трах (револьверы)[197]. Через минуту все повторяется, а потом на какое-то время тишина, страшная, и темень, в которой ничего нельзя разобрать; потом снова голоса рабочих, солдат уже нет.

Убили ли там кого – не знаю. Вдруг крик – это околоточный высунулся из ворот своего дома, ну, саблю у него отобрали, рассекли ею голову и кинжал в спину всадили. Выживет ли – не известно. – Слышно, где-то бьют витрины магазинов. Это бандиты пользуются темнотой. Днем рабочие не позволяли им грабить

магазины и возы с углем. Полиции и след простыл. Солдаты уже не выходят, кажется, дальше улицы Желязной. Патрули немногочисленные, по 156-20 человек. Время от времени появляются казаки по 8-10 человек на конях. (…)

На Вроней стрельба из револьверов: это, наверное, бандиты на виват стреляют, ибо рабочие патроны берегли. Ожидание завтрашнего дня. Со стороны Желязной и Чеплей доносятся звуки солдатских сигнальных труб. На углу Гжибовской и Вроней баррикады из санок и ящиков из-под вина. В 10.30 со стороны Броней слышны крики: «виват!». В 11 все стихло. Обманчива эта тишина. Ворота везде открыты – так велели сторожам рабочие: должны быть открыты, чтобы было где спрятаться от винтовочных пуль. В 11.30 возвращаюсь, на Чеплей встречаю окровавленного рабочего – это полицейские его одиночного поймали и саблей по лицу ударили. Потом слышу отчаянный крик женщины – ее тоже схватили полицейские и куда-то потащили. А солдатские патрули одиночек не трогали. Это факты, очевидцем которых я была[198].

Через несколько часов, к вечеру 29 января, генерал-губернатор Варшавы Михаил Чертков выводит на улицы пять пехотных полков и три полка кавалерии. Результат – двенадцать убитых и триста раненых. Но самое главное произошло: революция показала рабочим, что они имеют право на вооруженное сопротивление.

В атмосфере забастовок, боев, взаимного террора[199], порождаемого революцией, рождается острая необходимость в моральной чистоте. О да, ибо революция – это женщина, а ее щитом является нравственность! Бунтовщик, получая преимущество в силе, вместе с этим принимает на себя право быть стражем добродетели. Поэтому в мае 1905 года варшавские рабочие, вооруженные ножами и топорами, решают очистить город от отбросов общества: воров, сутенеров, бандитов. Не обошлось без жертв. Как говорил Максимилиан Робеспьер, террор есть жестокая и непреклонная справедливость, то есть эмансипация добродетели. Со временем большевики тоже будут не хуже якобинцев, что, впрочем, явится одной из причин создания ВЧК. Пуританизм отвечает интересам революции. Он должен уничтожить ее настоящую натуру, которую прекрасно расшифровал Борис Пильняк, который написал: «Революция пахнет гениталиями»[200]. Но пока что будущий шеф Лубянки

думает иначе. В письме Главному правлению СДКПиЛ он так комментирует акцию по моральной очистке Варшавы, к которой присоединились также члены Бунда:

> В погроме лупанариев бундовцы страшно опозорились. Все это избиение я оцениваю как случай, который следует использовать, с одной стороны, для того, чтобы показать банкротство властей, судов и других правительственных органов, а с другой – для того, чтобы показать массам, что это движение бесцельное и нереволюционное, что рабочие должны ликвидировать это зло другими способами[201].

А если уж говорить о проституции, то настоящей проституткой является капитализм. В 1918 году Феликс сам начнет очистку улиц Москвы от отбросов общества – в том числе от анархистов.

Ибо во время революции как грибы после дождя возникают анархистские группы. В 1905 году это были такие группировки, как, например, Свобода, Интернационал, Черное знамя, Безмотивники, Рабочий заговор (в эту группу перейдут взбунтовавшиеся эсдеки), Революционные мстители, Максималисты. Через двенадцать лет сценарий повторится. Радикальные фракции навяжут радикальный образ мышления и обществу, и власти, которая радикальными же методами будет бороться с этим же явлением. Насилие порождает насилие и исполняет роль акушерки истории, на чем настаивал Жорж Сорель и что на первый взгляд кажется нам делом очевидным. Но человечество спотыкается именно на делах очевидных. Для будущих творцов Страны Советов насилие должно было быть орудием революции. И только революции! «Нам тогда казалось, что переворот, революция, которая когда-нибудь произойдет, будет делом трудным. А действительность после революции мы считали чем-то удивительно легким и простым»[202] – подытоживает годы спустя Вацлав Сольский. Иначе говоря, не только насилие порождает насилие. Наивность идеалиста может оказаться самым опасным его детонатором. В 1905 году молодой Дзержинский был идеалистом. Его возмущение чисткой лупанариев можно считать здоровым, насквозь гуманным порывом.

В то время как ППС развертывает свою боевую организацию, осуществляет террористические акты и покушения, социал-демократы идут другим путем. Они проникают в ряды военных, так как вооруженный и обученный солдат, выходец из народа и призванный на службу силой, может представлять собой

отличный материал для революции – всеобщей, потому что именно к такой революции эсдеки и стремятся. Уже к концу 1904 года Феликс вместе с меньшевиком Алексеем Петренко «Ивановым» начинают агитацию среди солдат варшавского гарнизона и создают Военно-революционную организацию РСДРП (по преимуществу меньшевистскую). Меньшевик Федор Петров вспоминает о деятельности ВРО, что настроение в ее рядах было очень боевое, особенно на территории Пулав, где стояли два пехотных полка и артиллерийская бригада. Революция и вероятность отправки на фронт породили среди солдат этих частей атмосферу бунта. Дзержинский решает этим воспользоваться, действуя при этом вопреки воле берлинцев, которые хотели, чтобы он вернулся в Краков и явился к ним лично.

> Что касается меня, – пишет он им, – то я хочу быть здесь, пока не решится вопрос с типографией, военно-революционной организацией, с русскими; потом в Пулавы (2–3 дня), Лодзь (2 недели), в Белосток, Вильно (2 недели), в Ченстохову и Домброву (2 недели). Не беситесь, не злитесь, у вас будет Здислав [Ледер][203] и все будет в порядке[204].

В Пулавы он приехал вместе с Адольфом Барским, на месте их ждал Эдвард Прухняк. Втроем они стали ходить по казармам, разговаривать с солдатами. Они посчитали, что настроения созрели настолько, что надо действовать быстро. «В Пулавах, Казимеже, Вонвольнице, Коньсковоле, Курове, Маркушове и др. из рабочих были организованы центры, которые должны были руководить восстанием в своем регионе, – вспоминает Владислав Ковальский, член Южного комитета СДКПиЛ. – В деревнях создавались группы, которые по сигналу должны бить в колокола и браться за оружие – главным образом, охотничьи ружья и револьверы старого образца, косы, вилы и т. п.». Восстание началось в ночь с 22 на 23 апреля 1905 года, но было подавлено в зародыше. Подвели солдаты и плохая организация мероприятия. В некоторых деревнях мужики «восстали, но походили, походили, да и разошлись на работу в поле»[25]. Дзержинскому, Барскому и Прухняку пришлось возвращаться в Варшаву. Убегая, они перелезли через высокий забор воинской части. Барский был уже в пожилом возрасте и физически не очень подготовлен, а Прухняк был очень низкого роста, и Феликсу пришлось сначала подсаживать их, а потом перелезать самому. Тем не менее, военно-революционная организация продолжала действовать вплоть до ареста подпольщиков в ноябре 1905 года.

На 1 мая социал-демократы наметили всеобщую демонстрацию. Еще в марте Дзержинский сообщал берлинцам, что в Варшаве массы надеются на этот день. И он сам встает во главе собравшихся, ведя людей, по правде говоря, на кровавую бойню, так как когда многотысячная демонстрация подошла к Алеям Иерусалимским со стороны улицы Желязной до нынешней улицы Халубинского, солдаты дали залп. «Эта толпа, состоящая главным образом из женщин и даже детей, не оказывали, конечно, никакого сопротивления; уже после первого залпа они разбежались как стая перепуганных птиц, оставив на мостовой 25 убитых и 20 раненых»[205], – рассказывал потом Владислав Побуг-Малиновский. Сам Дзержинский, без единой царапины, развозит раненых по больницам, а на 4 мая готовит общефабричную забастовку в знак протеста против резни[206].

Одновременно с этим социал-демократы объявляют войну Церкви, которая открыто противилась революции. В июне они издают воззвание Церковь в услужении деспотизма, в котором призывают: «Рабочие! Как видите, наше духовенство превратило амвоны костелов в политическую трибуну, и с этой трибуны ксендзы произносят речи в защиту полиции и царского правительства. Это позор, который трудящиеся люди не должны терпеть и не потерпят»[207]. А Феликс сообщает берлинцам: «В костелах борьба с ксендзами уже началась – сначала без участия организации, стихийно. Народ освистывает ксендзов, раздаются возгласы: «Врешь!». Дело доходит до драки»[208].

После варшавских событий отозвалась Лодзь. 18 июня там прошла пятитысячная демонстрация, и опять резня. От пуль солдат погибли пять человек. 21 июня по городу разнеслась сплетня, что власти выкрали из морга трупы двух погибших евреев и ночью скрытно их похоронили – после чего в городе прошла уже семидесятитысячная демонстрация. На сей раз убитых было двадцать один, по крайней мере, по официальным данным. Вечером на улицах выросли баррикады и началась стрельба. Когда двумя днями позже забастовка парализовала всю промышленность Лодзи, власти были вынуждены ввести военное положение[209]. Дзержинский пишет прокламацию, в которой призывает: «На борьбу должна подняться вся страна, все государство, так, как поднялась вся Лодзь»[210]. Он едет в этот город, чтобы своими глазами увидеть последствия уличных волнений. В письме берлинцам он пишет: «В общем материал и условия здесь очень хорошие и достаточные, не хватает только руководящей руки, ленинского «кулака», организатора»[211]. А вождь большевиков называет лодзинские события первым вооруженным восстанием рабочих России.

30 июля 1905 года в лесу под Дембем Вельким недалеко от Минска Мазовецкого собрались представители районных групп СДКПиЛ. Лес позволял лучше законспирироваться, но около пяти часов вечера расставленные наблюдатели дали знать, что приближаются конные стражники. Часть людей укрылась в лесных зарослях, но у большинства не было возможности убежать, так как поляна была быстро окружена. Дзержинский успел крикнуть: «Товарищи! Быстро отдайте мне все, что у кого есть запрещенного. Мне в случае ареста это и так не принесет большего вреда»[212]. Всего в импровизированную тюрьму в деревенской избе попало сорок человек. «Внутри нас никто не охранял, только сама изба снаружи была окружена солдатами, – вспоминал Антони Краевский, в то время секретарь районных комитетов СДКПиЛ. – В таких условиях настроение было отличное. Мы проказничали как малые дети, которые на минуту вырвались из-под бдительного ока строгих родителей. Уже с раннего утра начали приходить рабочие и местные крестьяне, которые, узнав об аресте, приносили нам разную еду. Солдаты оказались довольно порядочными и все охотно разрешали принимать»[213].

Они были настолько порядочными, что арестанты стали их агитировать: «Сидевшие по углам узники с жаром обрабатывали своих ангелов-хранителей. (…) Смотри, как к тебе относятся, – убеждал солдата Феликс, – любой «офицеришка» обругает тебя, ударит, каждый говорит тебе «ты» (…), а ты попробуй к нему на «ты». Как думаешь, ничего за это не будет?»! – пишет Краевский. На простых солдат, крестьянских и рабочих сынов, эти аргументы действовали так сильно, что они готовы были выпустить арестантов. Но тут вмешались офицеры – быстро, ночью арестантов перевезли на подводах в Варшаву. “«Юзефа» забрали к себе женщины, – рассказывает Краевский, – ему пришлось сесть на их подводу. Некоторые мужские телеги сопротивлялись этому, но женщины победили»[214]. С тех пор у Феликса появилось еще одно прозвище: «эсдековский Аполлон».

В Варшаве он попадает в уже известный ему X павильон цитадели. Брат Игнатий с женой приносят ему книги и учебники по французскому языку. «Ты видел зверя в клетке», – пишет ему Феликс после очередного свидания. И Альдоне: «Не люблю свидания через решетку, при свидетелях, следящих за каждым движением мышц на лице. Такие свидания – это мука и издевательство над человеческими чувствами»[215]. 8 сентября, когда Дзержинский сидел в X павильоне, на склонах цитадели был повешен Мартин Каспшак.

А тем временем революция охватывает все более широкие

круги. 20 октября рабочие Московско-Казанской железной дороги начинают забастовку, которая быстро перерастает во всероссийскую стачку. Наконец, царь понимает, что это конец самодержавия. 30 октября объявляется царский конституционный манифест, который обещает «даровать населению незыблемые основы гражданской свободы на началах действительной неприкосновенности личности, свободы совести, слова, собраний и союзов», гарантирует принцип, что «никакой закон не мог восприять силу без одобрения Государственной Думы» и предусматривает «привлечь теперь же к участию в Думе (…) те классы населения, которые ныне совсем лишены избирательных прав»[216]. То есть впервые в России парламентаризм! Но социалистам этого мало. Пролетариат России и Царства Польского отвечает забастовкой с требованием всеобщей амнистии и установления демократической республики[217]. 2 ноября в силу этой вытребованной у правительства амнистии из варшавских тюрем освобождают 365 политических, но из X павильона выходят только двое: Феликс Дзержинский и Хенрик Валецкий, с которым тот познакомился в ссылке в Верхоленске. На других заключенных, обвиняемых в вооруженных нападениях, амнистия не распространилась.

Из Цитадели Феликс писал сестре:

> Мне не хватает только красоты природы, я очень хорошо чувствую, что во мне произошла перемена, в последние годы я ужасно полюбил природу. До ареста я мечтал, что поеду в деревню, сейчас в тюрьме я мечтаю, что как только стану свободным и легальным, и больше не нужно будет скрываться и скитаться по чужим краям – поеду в наши места. А пока здесь отдыхаю[218].

После освобождения он, конечно, сразу забывает и о природе, и об отдыхе. Первым делом он направляется на улицу Цегляную, где проходит городская партийная конференция. Здесь он выступает с речью, из которой Юзеф Красны запомнил «только два слова: к оружию, только с оружием и т. д.»[219]. Эта мысль царит везде. Пилсудский тоже призывает: «… стало ясно, что революционному движению остался только один путь – создания физической силы, способной сломить мощь правительства»[220].

Декабрь– это кульминация революции 1905–1907 годов. Он начинается вооруженным восстанием в Москве, которое поддержали поляки в Королевстве. В это время Феликс едет в Домбровский угольный бассейн, где организует забастовку на металлургическом заводе Гута Банкова. Он надеется, что эта стачка перерастет в восстание во многих промышленных центрах.

Но после кровавого подавления московского мятежа революционный подъем в Польше также идет на убыль.

В апреле 1906 года в Стокгольме состоялся Объединительный съезд РСДРП (в это же время в Петербурге торжественно открылись заседания Государственной думы). О необходимости созыва межпартийной конференции для принятия временного соглашения между социал-демократическими партиями, действующими на территории России, говорилось уже давно. Революция ускорила принятие такого решения, потому что вызвала настоящий поток людей в партии, которые, благодаря этому, превратились из кадровых в массовые. Дзержинский принимает участие в съезде как делегат от СДКПиЛ[221]. После присоединения польская социал-демократия сохранила свое название, право на свои съезды, комитеты и литературу, была признана ее самостоятельность «во всех внутренних делах, касающихся агитации и организации в Царстве Польском и в Литве». Ей также обеспечено право на самостоятельное представительство на международных конгрессах и в Международном социалистическом бюро (МСБ). СДКПиЛ на сей раз отказалась от требования ревизии программы РСДРП по национальному вопросу и стала открыто критиковать меньшевиков, прежде всего за их стремление сотрудничать с Думой. Роза предостерегала, что «Плеханов и его товарищи могут посадить партийную лодку на мель оппортунизма».

Сохранилось забавное с точки зрения фактов письмо Льва Мартова, написанное им Павлу Аксельроду 15 октября 1905 года. Один лидер меньшевиков пишет другому, что польские социал-демократы «стали «ругаться» на меньшевиков» и ближе сотрудничать с большевиками после ареста «фактического русского вождя – рабочего Дзержинского, который был решительным меньшевиком «антиленинцем»»[222]. Такое суждение Мартова свидетельствует о его плохой осведомленности. Но его мнение доказывает лояльность Феликса в отношении берлинцев. Интересен также факт, что Дзержинский был для Мартова рабочим – такое впечатление он производил на тех, кто ничего не знал о его происхождении.

Стокгольмский съезд был чрезвычайно важным для последующей судьбы Феликса. Там он впервые встретился с Лениным. Не сохранилось никаких документов, описывающих их впечатления друг о друге, но с этого времени Феликс относился к создателю диктатуры пролетариата как к отцу. Только в одном они не могли прийти к согласию – в национальном вопросе[223].

В июле Дзержинский, как представитель Главного правления СДКПиЛ, становится членом Центрального комитета РСДРП. В

связи с этим он едет в финский городок Куоккала (ныне Репино), а оттуда перебирается в Петербург, где встречается с Лениным. В августе в российской столице происходит два громких события. 25 августа брошена бомба в дом премьера Петра Столыпина (бомбу продал максималистам большевик Леонид Красин). На следующий день эсерка Зинаида Конопляникова выстрелом из револьвера убивает генерал-майора Георгия Мина, руководившего кровавым подавлением декабрьского восстания в Москве[224]. А 20 августа Феликс пишет из Петербурга письмо товарищам в Берлине: «… я пришел к выводу, что нужны маузеры – я могу этим заняться, как и апельсинами [бомбами]; нужны ли они и надо ли что-либо делать в этом направлении?»[225]. Неужели ему передались настроения российских террористов? Вполне возможно, но в том же письме он осуждает «кровавую среду» ППС, то есть более десятка одновременных покушений на полицию, совершенных 15 августа в разных городах Королевства. Дзержинский считает такую политику авантюристической и даже провокационной.

В декабре 1906 года его вновь арестовывают[226]. В Варшаве на улице Цегляной в квартире эсдека Юзефа Красного он принимает участие в совещании СДКПиЛ с Бундом на тему выборов во 2-ю Государственную Думу и здесь попадает в ловушку. Его сажают в самую грязную тюрьму на территории Российской империи – в варшавскую Ратушу.

> Камера была до невозможности грязная, годами, наверное, ее никто не убирал. Стены, до половины покрашенные черной краской, были обшарпаны. Потолок и верхняя часть стен, когда-то белые, сейчас были темно-серые от грязи. Зарешеченные грязные окна с жестяными корзинами снаружи пропускали так мало света, что в нескольких шагах от окна ничего не было видно[227]

– вспоминает Софья Мушкакт-Дзержинская, его будущая жена, арестованная одновременно с Феликсом и тоже помещенная в Ратушу. В камеры, рассчитанные на десять человек, запихивали по шестьдесят, поэтому спали попеременно. В дополнение ко всему в уборных нечистоты покрывали пол на высоту нескольких сантиметров. Возвращаясь в камеру, заключенные приносили все это на своих подошвах. Феликс и в этой обстановке не падает духом – он организует ведро с водой и щетку, после чего на коленях приводит камеру в состояние, пригодное для пребывания. Сидевший вместе с ним Красны вспоминает, что Феликс трудился с таким упорством, как будто мытье пола было важнейшей партийной работой. Этим он

заслужил уважение заключенных, которые знали, кто он: член Главного правления СДКПиЛ[228].

Когда Феликса перевели из Ратуши в тюрьму Павяк, он организовывает там школу для политзаключенных. В маленьких группках учили всему, что только было возможным в подобных условиях. Неграмотных учили читать и писать, грамотным разъясняли Маркса. Феликс был занят в школе по пять – шесть часов ежедневно. Красны рассказывает об одном забавном случае. «Мы играли в игру, которую называли «дупак». Суть игры заключалась в том, что один из нас клал голову на колени другого, а стоящие полукругом за ним ударяли его пониже спины». Конечно, ему доставалось, пока он не отгадает, кто ударил. «Тов. Дзержинский увлекался игрой. (…) У меня создавалось впечатление, что таким своеобразным способом он сводил свои счеты с Бундом»[229]. Играли и в карты. На что? На уборку камеры и «ночника». Однажды Феликс и Якуб Ханецкий, с которым они дружили на воле, так заигрались, что Куба проиграл три месяца уборки. Счастливый Феликс рассказывал об этом в коридоре.

Феликс выходит из Павяка 4 июня 1907 года, после того как брат Игнатий внес залог в размере 1000 рублей. Эсдеки организовали сбор денег в партии, а освобождение удалось благодаря договоренности с подкупленными сотрудниками Охранки. Найденные у Феликса при аресте нелегальные бумаги они переложили в папки с делами других лиц, уничтожив тем самым отягчающие его дело обстоятельства. «Конечно, об этой комбинации наши товарищи ничего не знали, – замечает Красны, – уговор был только о том, чтобы выкрасть бумаги Дзержинского»[230].

XI. Я пил за романтизм. Расколы и лояльность

Выйдя из Павяка, Феликс быстро уезжает из Варшавы, где – по выражению Юлиана Мархлевского – «по пятам за ним ходила целая псарня». Он работает на территории Лодзи, Домбровскаого бассейна и Ченстоховы. Однажды, в 1907 или 1908 году, он приехал в Лодзь на межрайонную конференцию, – рассказывал позже Софье Дзержинской Станислав Бобинский «Рафал», работавший тогда вместе с Феликсом. – Перескакивая, как обычно, через две-три ступени, Феликс вбежал на этаж к условленной квартире, приоткрыл дверь и увидел мундиры полицейских и жандармов. Немедленно он захлопнул дверь, а видя в замке снаружи ключ, повернул его. Спокойным шагом он ушел и направился в город, чтобы предупредить товарищей о провале[231].

В очередной раз он попался 16 апреля 1908 года, за две недели до первомайского праздника. Охранка устроила в Варшаве охоту на политических рецидивистов, обоснованно предполагая, что готовится манифестация. В тот день Феликс пошел на почту на Варецкой площади, где он получал корреспонденцию *до востребования.* На выходе из здания его арестовали и отвезли в X павильон Цитадели.

Эту пятую по счету отсидку Феликс описывает лично – в период с 30 апреля 1908 по 8 августа 1909 года он пишет знаменитый *Дневник заключенного*, опубликованный позже в «Социал-демократическом обозрении». Его записки представляют большой интерес, особенно при их сопоставлении с *Воспоминаниями* Винцента Ястржембского, который тоже попал в X павильон после провала лодзинской боевой организации ППС. Дзержинский и Ястржембский представляют две противоположные картины одного и того же места в одно и то же время. Феликс пишет:

… здесь повесили 5 человек. (…) Подо мной уже несколько дней сидят два человека. Они ожидают казни.

> Не перестукиваются, сидят тихо. (…) На месте казни установлены постоянные, а не временные виселицы. (…) Каждый день заковывают в кандалы по несколько человек. (…) Когда они ходят на прогулке, вся тюремная тишина заполняется одним этим бряцаньем. (…) Мы

> узнали, что двоим утвердили смертные приговоры; сегодня ночью их не забрали, значит, завтра. А ведь у каждого из них есть, наверное, родители, друзья, невеста. Последние мгновения; здоровые, полные сил – бессильны. Придут и заберут, свяжут и отвезут на место казни. Вокруг лица врагов или трусов, касание палача, последний взгляд на мир, мешок на голову и все…

Тем временем Ястржембский утверждает:

> В X павильоне от вынужденных жителей этого дома не требовали ничего, кроме того, чтобы они не подпиливали решетки на окнах, не рушили камеры, не шумели и не общались с соседями. Заключенный, который не нарушал эти правила, имел самые лучшие отношения с тюремной администрацией и надзирателями, потому что не имел их вовсе. Были такие? По преимуществу были именно такие.

Феликс пишет: «Еды так мало, что если нет денег, то человек всегда голодный! Еда немного лучше, чем, например, в Павяке, но значительно меньше и буквально нечем заполнить желудок».[232] – Ястржембский, в свою очередь утверждает: «… не помню, чтобы в течение года я там голодал, хотя бы один день»[233].

Оба вспоминают две самые известные в X павильоне особы: анархиста Ватерлоса и затевающую драки с надзирателями Казимиру Островскую, выдающую себя за Ганку Марчевскую. О ней Феликс, сидящий в соседней камере, пишет: «… полуребенок, полусумасшедшая. (…) Стучит мне, чтобы я прислал ей веревку, что она повесится. При этом она добавляет, что веревка должна быть непременно от сахара, чтобы сладко было умирать». Ястржембский же вспоминает: «Островская страдала странным типом истерии самообвинения». К сожалению, окажется, что она страдала не только этим. Феликс отмечает: «Ганка была в Творках (дом для умалишенных) и оттуда была увезена прушковскими социал-демократами, а когда ее после этого арестовали, она выдала тех, которые ее освобождали»[234].

Оба используют партийный жаргон: людей отправляют на «шнурок», самые суровые приговоры получают «фраки» (деятели революционной фракции ППС), стражники – это «чудаки», опасаться следует «провоков». Но разница в оценке самого места значительна. Это тем более интересно, что Феликс, как социал-демократ, сидит за побеги из ссылки, организацию забастовок, демонстраций и издание нелегальной литературы. Это серьезные провинности, но не подпадающие под самые суровые приговоры.

А Ястржембский, арестованный как инструктор боевых отрядов ППС, и которому грозит смертная казнь за «эксцессы», в конце концов получает восемь лет каторги. Его товарищ по организации Юзеф Монтвилл-Мирец-кий приговорен к пятнадцати годам каторги, а на следующем процессе – к «шнурку». Его казнь Феликс описывает в *Дневнике* как самое тяжелое переживание того периода.

Ястржембский в 1909 году попал на каторгу в Псков. В переписанных в шестидесятые годы XX века *Воспоминаниях* он рассказывает, в частности, о характерном для русского самодержавия способе унижения человека: о «порке», то есть избиении розгами.

Декабристы, петрашевцы, землевольцы и народовольцы, социал-революционеры и социал-демократы, большевики – все эти люди, на протяжении целого столетия боровшиеся за величие своей страны, могли быть, а многие из них были высечены розгами, – пишет он. – В знак протеста эти люди совершали самоубийство, бросались на своих мучителей, чтобы получить смертный приговор, умирали под розгами от ран и надругательства над человеческим достоинством – ничто не помогало. (…) Лишь одно это могло бы оправдать Октябрьскую революцию[235].

Секли ли Феликса? Как пишет английский историк Орландо Фигес, «его тело было все покрыто шрамами»[236]. Конечно, у него должны быть шрамы на ногах от кандалов, в которые его заковали на каторге в 1914 году. Были ли у него шрамы от розог? Сам он вспоминал лишь о том, как секли других.

Приговор был суров: лишение шляхетского звания, всех прав и ссылка на ***вечное*** поселение в Сибирь (за побеги из ссылки и нелегальную деятельность). В конце августа 1909 года его отправляют вглубь России, в Тасеево Канского уезда Енисейской губернии. Там он находится не более недели и… снова убегает, передвигаясь главным образом по железной дороге. Он бы сбежал и быстрее, если бы не некий инцидент. Один из политических заключенных, обороняясь, убил уголовника. За это ему грозил смертный приговор, и Феликс отдал ему паспорт на фальшивое имя, полученный им перед отправкой в ссылку от товарищей с воли. Сам он бежал без какого-то ни было документа.

В декабре, по воспоминаниям Альдоны, он добрался к ней в Вильно, совсем больной.

> Всю ночь мы сидели втроем – Феликс, я и брат Станислав – и не могли наговориться. Феликс рассказывал о приключениях, которые он пережил во

время побега, о том, как в вагон сел человек, который видел его в кандалах и тюремной одежде, когда его вместе с другими политзаключенными везли в Сибирь. Не желая быть узнанным, Феликсу пришлось целые сутки лежать на полке, отвернувшись к стенке, пока опасный попутчик не сошел на одной из станций[237].

Был риск, что в Вильно его кто-нибудь узнает, поэтому родственники купили в аптеке краску и покрасили ему волосы в черный цвет. Вдруг кто-то звонит в дверь. Племянник выводит дядю Фелю через заднюю дверь к реке. И правильно делает, потому что в дом входят жандармы, ищущие беглеца. Дзержинский, просидев ночь на берегу Вилии, на следующий день быстро уезжает в Варшаву, а оттуда в Берлин[238].

И снова большая проблема с легкими, и руководство СДКПиЛ направляет его в отпуск в Италию. Примерно 22 января 1910 года Феликс приезжает на Капри, где знакомится с писателем Максимом Горьким и его второй женой актрисой Марией Андреевой. На этом итальянском острове Горький руководит в партийной школой для рабочих. Сам финансируемый германским миллионером Фридрихом Альфредом Круппом, сыном знаменитого промышленника, он за свой счет содержал курсантов в отеле Блезус. На фоне сказочных видов средиземно-морской природы молодежь впитывала в себя революционную науку. Горький преподавал им историю литературы, Анатолий Луначарский – историю философии, Александр Богданов – экономию, а Михаил Покровский – краткий курс истории России. К этому следует добавить прогулки, рыбную ловлю, игру в шахматы. Ну и отличие взглядов всей капринскрой группы от позиции Ленина, с которым автор романа *Мать* остро полемизировал (местные рыбаки хорошо помнят сцены их извечных ссор, когда Ленин навещал Горького).

В этот итальянский рай и попал Феликс. Он очарован Горькими, а они – польским социал-демократом. Их дружба будет длиться годы, несмотря на то, что в мировоззренческих вопросах Феликс встанет на позицию Ленина. С острова он будет писать письма Владиславу Штейну и Леону Йогихес-Тышке, в которых выскажет свое мнение, что не стоит строго судить оценку Горьким некоторых партийных вопросов, потому что он не политик. Одновременно он утверждает: «Горький – это романтик партии, верховный жрец народа и, наверное, поэтому он для меня– Колосс», «…они [оба с Андреевой] для меня – продолжение моря и острова – сказки, которая мне снится». Он восхищается этим итальянским курортом: «Позавчера был на горе Тиберио, видел,

как танцевали тарантеллу». В следующем письме: «С одной стороны огромный скалистый колосс острова, с другой – Неаполитанский залив, полукругом высеченная панорама – Сорренто, Везувий, Неаполь, там вдали – Искья. С лодки не видно живой игры красок моря, только отблеск дневного света. (…) И вот мы в гроте. Поднимаю голову и… замираю».

Перед отъездом он проводит у Горьких последние минуты. «Я принес им цветы, пил за романтизм, за мечты – его в особенности. Мне было хорошо, я не думал об отъезде, я радовался, что его вижу, слышу – что я ему не чужой»[239].

О том, что он делал после отъезда с Капри, пишет из Берлина в письме Альдоне: «Уже прошел целый месяц, как я вернулся с Капри – был на итальянской и французской Ривьере, был в Монте Карло, даже выиграл 10 франков – потом в Швейцарии смотрел на Альпы – на Юнгфрау и другие колоссы, горящие в лучах заходящего солнца». И сразу же добавляет: «И тем больше сжимается сердце, когда думаю об ужасах человеческой жизни»[240]. Это размышления, характерные для аскета. Ибо аскет – это человек, который познав земные удовольствия, испытывает глубокое чувство вины. А кроме того, социал-демократический Аполлон переживал несчастную любовь.

В начале марта 1910 года Дзержинский вновь едет в Краков. Этот приезд и следующие два года пребывания под Вавелем связаны с серьезным расколом в партии. Конфликт начинается со споров между литераторами (то есть партийными теоретиками) и организаторами (или практиками) и проявляется уже в 1908 году, когда Феликс был в тюрьме. Литераторы были тесно связаны с германскими социал-демократами (СДПГ), за это организаторы обвиняли их в отрыве от отечественных организаций и в излишне централизованной системе руководства. Варшавский комитет СДКПиЛ во главе с Юзефом Уншлихтом и Винцентом Матушевским жаловался на отсутствие средств, которые действительно были сильно урезаны берлинцами после революции. Большевики в этом плане были в лучшем положении, потому что их меценатами становились романтичные русские миллионеры, увлеченные красивыми лозунгами о социальной справедливости. Поляки на таких спонсоров рассчитывать не могли. Организаторы требовали также перенести Главное правление партии если не в Королевство, то по крайней мере в Краков, где работало Бюро заграничных секций СДКПиЛ. Литераторы, в свою очередь, считали, что Берлин – это наилучшее место для Главного правления, потому что отсюда легче было поддерживать контакты с заграничными секциями партии, с Брюсселем – резиденцией Международного

социалистического бюро, а также с Парижем, где находилось Заграничное бюро ЦК РСДРП[241]. В конце концов, согласились на компромисс, в Краков перевели секретариат и партийную кассу, объединив их с делопроизводством и архивом. Секретарем и казначеем Главного правления с 19 марта 1910 года становится Феликс Дзержинский.

Достигнутое соглашение не означало полного согласия Феликса с берлинцами, ему была ближе позиция варшавских раскольников. В письме Здзиславу Ледеру он дает понять: «В связи с новым курсом ГП [Главного правления] в направлении меньшевизма по вопросу о легализации профсоюзов – мне было бы очень трудно исполнять обязанности секретаря ГП, а может даже и невозможно. В следующем письме он сообщает: «… люди перестают доверять политическому руководству ГП, каждый самостоятельно формирует тактику и задачи партии. Я вижу начало хаоса и не могу противодействовать, так как по моему мнению линия ГП губительна». В декабре 1910 года, продолжая критиковать берлинцев за потерю связи со страной, он пишет Тышке: «Нынешнее ГП – это совсем не ГП активной партии. Была забастовка водителей трамваев – где было ГП, что сделало, как сделало? Был и есть целый ряд других забастовок – где ГП, что оно сделало?». И завершает письмо заявлением: «Быть членом так работающего ГП – это для меня просто моральная мука»[242]. Но в декабре 1911 года, в момент официального раскола в СДКПиЛ, когда Варшавский комитет отделится от Главного правления, Феликс все же останется с берлинцами. Победит врожденная лояльность[243].

Дзержинский всегда подчеркивал, что для него существует только два авторитета: Роза Люксембург (портрет которой висел у него в кабинете на Лубянке) и Владимир Ленин. Троцкий это подтверждает: «Многие годы он шел за Розой Люксембург, сотрудничая с ней не только в борьбе с польским патриотизмом, но и с большевизмом. В 1917-м он присоединился к большевикам. Ленин, довольный, мне сказал: – Нет и следа от прежних распрей»[244].

В личной жизни Феликса, как и в жизни партийной, произошли также серьезные расколы. В этот период любовь и политика объединились между собой с такой силой, какой Дзержинский не знал раньше, и уже никогда не узнает позже.

XII. Счастье ты мое, жизнь ты моя. Михалина, Сабина, Софья

На сохранившихся фотографиях Феликса, сделанных после его тюремных перипетий, трудно увидеть ослепительную мужскую красоту. Но эта красота была, по крайней мере, до последнего ареста в 1912 году, и женщины не могли ее не заметить. А кроме красоты было еще что-то. «Из всех нас по своей психической организации Д. был личностью наиболее чувственной, деликатной, мягкой и меланхоличной, (…) всегда деликатный в отношении женщин»[245] – писал некий а.н. в «Варшавской утренней газете» после смерти шефа ВЧК.

Исторический 1905 год ознаменовался для Дзержинского не только революцией – он показал ему, что может сделать с революционером бурная игра гормонов. Когда «социал-демократический Аполлон» начнет брать верх над товарищем «Юзефом», борьба за свою душу и сердце революционера принудит его к принятию радикальных решений по типу страданий юного Вертера. Он придет в состояние ослепления, которое создаст угрозу самому фундаменту его политического мировоззрения, и это заставит его сделать выбор, после которого всегда остается пепелище – на этой или на той стороне. В случае Феликса это будет рассказ о треугольнике, даже двух, если не трех треугольниках.

Сабина Фейнштейн, старше его на два года, была варшавянкой из ассимилированной еврейской семьи. Ее отец Людвик преуспевал в торговле, имея магазин дамского белья в Варшаве. Как предполагает его внук Стефан Ледер в семейной саге *Красная нить*, на судьбу Фейнштейнов трагическим образом повлиял… корсет. Людвик заказал в Вене крупную партию этого товара в тот момент, когда движение за эмансипацию стало менять образ мышления европейских женщин, которые решили больше не истязать себя этим страшным продуктом портняжного искусства, и Людвик, который инвестировал в корсеты большую часть состояния, обанкротился. Пришлось сменить квартиру на меньшую, к тому же не в таком престижном районе, что существенно снизило социальный статус семьи. Многие годы после этого близкие, якобы, упрекали его в этой неудачной торговой сделке.

Но правда могла выглядеть и иначе. Движение за эмансипацию оказывало тогда еще очень небольшое влияние на женщин. Отказ от ношения корсета означал всеобщее возмущение

и позор в обществе. Только некоторые из женщин, так называемые нигилистки, могли себе это позволить. До первой мировой войны корсет занимал такие прочные позиции, что в случае Людвика дело было, по-видимому, в чем-то другом: он мог просто не уловить тенденцию. Возможно, заказанная партия по покрою была выполнена в викторианском стиле, чего ни одна уважающая себя варшавская дама уже не могла себе позволить (в моду вошла линейка *sans ventre)*. Во всяком случае разорение семьи привело к тому, что дети Людвика, испытав бедность, стали склоняться к левым взглядам. От корсета к социализму – так в шутку можно было бы определить судьбу рода Фейнштейнов.

Жена Людвика Роза, прекрасно образованная, глубоко почитала немецкий язык и немецкую культуру и в этом духе воспитывала своих пятерых детей, что оказало сильное влияние на их последующие тесные контакты с кругами германских левых. Дочери Сабина и Михалина были ученицами известной варшавской женской гимназии пани Смоликовской (впоследствии пани Хевелке), которую Болеслав Прус предположительно изобразил в *Эмансипантках* как пансион пани Латтер. Таким образом, семья Фейнштейнов, образованная и ассимилированная, представляет собой пример социальной среды, которая в то время стала общественным авангардом. Это позволяло завязывать интересные знакомства – отсюда визиты в их дом представителей варшавских артистических кругов, а учитывая политические интересы – также представителей социал-демократической элиты во главе с Розой Люксембург, Леоном Йогихес-Тышкой, Юлианом Мархлевским и Феликсом Дзержинским.

Младшая из сестер, Михалина, сокращенно Мича, уже в 1901 году вступает в СДКПиЛ. Несмотря на туберкулез, она ведет активную деятельность на территории Варшавы. В 1905 году, убегая от жандармов через окно, она ломает ногу – хромота остается до конца жизни – и попадает на год в тюрьму.

Старшая, Сабина, сокращенно Инка, хоть и разделяет политические взгляды сестры, но в партию не вступает. После смерти отца она вынуждена пойти работать, чтобы содержать мать и самого младшего брата[246].

Самое первое сохранившееся письмо Сабине – а может вообще первое – Феликс пишет «Ночью 24.3.1905 г». В письме очень много тире, характерных для младопольской прозы.

> Я невменяем и боюсь писать. Но должен – как должен был купить эту ветку сирени – я должен что-то сказать – сам не могу – не могу выразить в словах того –

чувствую, что должен совершить безумие, что должен продолжать любить и говорить об этом. Сдерживаемое – оно взрывается сразу – срывает все преграды и несется как разбушевавшийся поток. Оно принимает мистические формы – мои уста все шепчут: лети, моя освобожденная душа, в голубизну неба – люби и разорвись мое сердце – и унесись в таинственный край – куда-то туда далеко, где бы я видел только Вас и белую сирень – и чудесные цветы, и лазурные небеса, где трогательная, тихая музыка, тихая, как летними вечерами в деревне – неуловимая для уха – наигрывала бы песнь жизни.

Принимая во внимание тот факт, что вокруг бушует революция, такой внезапный наплыв чувств может удивить – тем более, что ни одной женщине он не писал такие пламенные письма, даже Маргарите. Неужели это та единственная?

Сегодня кто-то мне сказал: не живешь – болеешь – горишь горячкой тела – сгоришь… Я сжигаю свое вожделение, страсть свою сжигаю, потому что если бы не сжигал – не сжег ее – погубила бы она меня – убила.

Я должен жечь и должен сжечь – нет для нее выхода. Есть выход – но либо отвратительный – мерзкий своей фальшивостью, своей ложью – и он либо убил бы само чувство – либо – если выбрать второй выход, был бы сегодня невозможным для осуществления. Я говорю сейчас о фарсе. Да, это было бы «фарсом» – и даже хуже. Но теперь – невозможно, никак невозможно. Но я люблю – сильно, безгранично люблю. Я должен сжечь вожделение и страсть – остальное обратить в другую сторону. Душа моя спасает сама себя и находит выход в этих взрывах и мистических настроениях, в этих сентиментальных чувствах, словно к любимому, самому дорогому ребенку – к Тебе[247].

Неизвестно, как реагировала на эти строки Сабина, ее ответы не сохранились, но, наверное, нетрудно догадаться, что для тридцатилетней женщины такой поток признаний должен был быть огромным эмоциональным шоком. Потому что, с одной стороны, старая дева (мы говорим о начале XX века) оказывается объектом воздыханий уже известного революционера, который вызывает большой интерес у дам, но с другой стороны, любовник заявляет, что он должен сжечь вожделение и страсть, а остальное обратить в другую сторону. Ха, их союз он даже смеет называть

«фарсом». Ведь фраза «выбрать второй выход было бы сегодня невозможным для осуществления» – это не что иное, как намек на то, чтобы Сабина не рассчитывала на замужество. Тем самым письмо становится «взрывом и мистическим настроением», которое должно спасти несчастную душу Феликса от… Вот именно, от чего? По-видимому от самой пани Фейнштейн.

Но душа независима, она мечется между чувством и политикой, поэтому в записи от 17 ноября 1905 года Феликс сам себя спрашивает: «Неужели я должен бросить революцию?», и признается: «… я уже становлюсь небрежным в работе и думаю о дорогой мне женщине». В следующей записи: «Я хотел разорвать, разбить, вырвать из души – и сразу встал страшный вопрос: а зачем жить? Революция, гармония природы – для меня это были пустые, бессмысленные звуки»[248]. Он анализирует также личностные качества: «Сабина и Владек – это типы с сильной душой. (…) Мича же с этой точки зрения совсем другая – больше похожа на меня. Я не самостоятельный – очень легко поддаюсь влиянию, вследствие чего я такой ужасно переменчивый». Такие размышления находят на него в бессонные ночи, и он решает взять себя в руки. «Я хочу порвать со всей личной жизнью – даже отношения с моими друзьями, – пишет он. – Конечно, дам ей – если она на это согласится – прочитать эти мои сумасшедшие записи. Это будет лучшим способом сжечь мосты».

В Домброве Гурничей, где он пытается организовать забастовку на металлургическом заводе Гута Банкова, он пишет в одну из субботних ночей: «Куда улетела эта мягкая улыбка, (…) куда исчезло сладкое выражение глаз, вызванное чувством любви. И внезапно остался хаос – действительность, революция опять оказались выше моих сил». А в Варшаве: «И здесь думаю о том, что сегодня ее увижу. На важном собрании об этом думаю. Скандал. Я сошел с ума». И: «Не могу уже думать… 10 с половиной часов уже заседаем… Не увижу ее сегодня. А ведь люблю – так люблю… Скандал»[249]. Эти записи он делает на Всепольской конференции СДКПиЛ, где он призывал к вооруженному восстанию в армии!

И так весь следующий 1906 год. В этом году он принимает участие в IV съезде РСДРП в Стокгольме и в V съезде СДКПиЛ в Закопане, с июля является членом ЦК РСДРП, работает в Петербурге, едет на встречу партийных деятелей в финский Куоккали, потом в Таммерфорс (ныне Тампере) на II конференцию РСДРП, пока 26 декабря его не арестовывают. И все время: “безгранично люблю”. В 1907 году его выпускают из тюрьмы Павяк под залог, он работает в Лодзи, Ченстохове, в Домбровском бассейне, присутствует на III и IV конференции

РСДРП в Финляндии, секретарствует в Главном правлении СДКПиЛ. В этот период он пишет: “… если моя любовь принята и нужна – каким же я могу быть гордым и счастливым!” И он счастлив – вплоть до октября 1909 года, когда последовал удар.

Совершенно больная Михалина Фейнштейн, которая после освобождения из тюрьмы уехала в Краков, а затем в Вену, 14 октября 1909 года совершает в Берлине самоубийство, приняв цианистый калий. Она оставляет два письма: родителям и Сабине. “Не мучайся. Живи спокойно, – пишет она сестре, – потому что я не хочу, чтобы мысль обо мне отравляла (…). Это моя просьба, большая просьба. Сделай Ю. счастливым, будь счастливой сама. Прощай, целую, дорогая, дорогая”.

Кто этот Ю.? “Юзеф”, партийный товарищ и мужчина, которого Михалина, женщина с меньшей привлекательностью и более слабой личностью, чем Сабина – любила без взаимности, видя к тому же его очарование сестрой. Сабина знала об этом, Феликс тоже. Он писал ей: “Ты хотела, чтобы я взял Мичу в жены – но она для меня только добрая, мягкая женщина – как ребенок. Ты мучилась, что всех у нее забираешь – наверное, такая уж ты есть – твоя красота пленит любого”.

Смерть Мичи вызывает большой шум и становится потрясением для польских и немецких социал-демократов. 26 февраля Сабина записывает:

> Мича отравилась. Как когда-то Бенио цианистым калием, который неизвестно где достала. У нее был ключ от квартиры одного из товарищей, где она приводила в порядок привезенный из Польши партийный архив. Она не вернулась домой – жила у Владка. Перепуганный товарищ потихоньку спустился по лестнице, чтобы не разбудить хозяйку немку, которая не очень дружелюбно относилась к поляку. Он поехал к Владку – взяли такси – и будто бы тяжело больную – в темноте ночи, велев ехать медленно, чтобы не разбудить якобы спящую, привезли ее домой. (…) Много было проблем.

Проблем было действительно много, потому что подозрительная смерть могла заинтересовать полицию, а все были на нелегальном положении, имея фальшивые документы. Брат был в отчаянии, ему пришлось симулировать внезапную болезнь сестры и официально оформить ее смерть, после чего, уже на похоронной машине, ее тело перевезли на берлинское кладбище Вайсенкирхе. «Ранним утром мы с Юзеком [дядей] поехали на кладбище, – пишет Сабина. – Тышки не было – слишком много приехало товарищей – это было небезопасно.

Рядом с могилой стояла Роза. Она обняла меня и сердечно прижала к себе, при этом повторив просьбу, чтобы я поехала к ней».

Конвергенция любви, смерти и революции коснулась более широкого круга лиц. Ведь Владек уже давно должен был понять, насколько глубоко его сестры вовлечены в союз с товарищем по партии. После смерти Мичи он с ума сходил от горя. Как оказалось, и Ханецкий, скрытно влюбленный в Сабину, воспринимал все происходящее значительно ближе к сердцу, чем казалось. Сабина пишет:

> [Куба] посчитал, что наступил самый подходящий момент, чтобы сказать мне, что сейчас, когда Мича из-за меня покончила с собой, я должна немедленно прекратить флирт с Юзефом. Здесь накопилось так много разных обстоятельств, что самым простым решением будет, если я выйду за него [Кубу] замуж. Я была вне себя от возмущения, но не ответила ни слова.

И добавляет комментарий: «Юзек его возненавидит, если я ему об этом расскажу»[250].

Феликс, которого в это время по этапу везли на вечное поселение в Сибирь, ни о чем не знает. И только в декабре, когда после третьего побега он добирается в Варшаву, до него доходит известие о смерти Мичи. Сабина так описывает их встречу:

> Через несколько дней появился Юзек. Мы присели на минутку в гостиной квартиры на улице Монюшко – он протянул ко мне истосковавшиеся руки – опустился на колени у моих ног – но не посмел обнять их. Я не могла дать ему свои губы – передо мной стояло видение Мичи (…). Я дала ему прощальное письмо Мичи и попросила, чтобы он принес на ее могилу белую розу. Белый цветок, а не кисть пахнущей белой сирени – она знала, что эти весенние цветы он часто приносил мне, прикладывал к губам, а потом без слов клал мне на колени. «Пойдем к ней вместе», сказал Юзек, «ты не сделала ей ничего плохого – ведь она пишет, что ее желание – это наше счастье…».
>
> Но я не могла, я чувствовала себя такой виноватой.

Феликс – Сабине: «Я должен слышать, чувствовать, видеть все – и о моей любви, и о смерти М. (…) Меня не мучают угрызения совести по поводу смерти М. – только больно, как после страшного удара. А любовь моя так же велика – так же…». А 27

декабря он пишет: «Не надо жалеть, что я прочитал письмо М. Еще не читая, я знал его суть. Я знал, как она мучилась, как любила».

Сабина: «Почему Мича не ждала возвращения Юзека с каторги – все знали, что он в пути – все было подготовлено. Значит, она явно не хотела его видеть – вновь моя вина, моя большая вина. Многие товарищи знали, как все складывалось на самом деле – душа плакала – сердце терзалось от отчаяния. Я спрашиваю себя, как жить – как жить?».

Оба едут в Берлин, поселяются у Владка. Сочельник они встречают у Мархлевских и несколько раз навещают могилу Мичи. В эти несколько берлинских дней разыгрывается их драма – влюбленного мужчины, который пришел в себя после смерти несостоявшейся свояченицы, и влюбленной, абсолютно потерянной женщины, которой угрызения совести не позволяют продолжать их союз. «Он хотел, чтобы мы вместе поехали в Швейцарию – мне не хватило смелости. «В таком случае – сказал он – я еду в Италию»». Она поехала в Цюрих, он – на Капри, где познакомился с Максимом Горьким.

Он пишет Сабине. «Ты заполняешь всю мою душу, все ее уголки, жажда твоей любви стало всем в моем сердце». Неоднократно он предлагает ей замужество: «Я хочу, чтобы ты была мне женой перед всем миром»[251]. Да, теперь он обязательно хочет свадьбы. Но она все еще не может избавиться от видений сестры. Вернувшись из Берлина, Феликс, полный отчаяния, обращается к членам Главного правления партии: я обязательно хочу попасть в Петербург, как можно ближе к политике и как можно дальше от личных проблем. В феврале он пишет Тышке, чтобы партия всерьез подумала о его предложении. О том же он просит и брата Сабины, аргументируя тем, что «находясь в Питере, я буду подробно информировать Главное правление о ситуации в думской фракции, ЦК и организациях, им же (т. е. большевикам) я буду давать информацию о СДКПиЛ и ее организациях»[252]. Но судьба и партия распорядились иначе – его направляют в Краков, потому что самое важное в данный момент – это спасти социал-демократию от раскола. В Кракове происходит поворот в его личной жизни.

«Я все больше умолкал – порвал со всеми – ничто и ни с кем меня не связывало. Я был безразличен ко всему, и при этом такой безвольный, что любой мог мне подсказать действие и мысль. Так я жил в работе и так шел по личной жизни»[253] – пишет он Сабине в ноябре 1910 года. До конца марта он ждал ее в Кракове, но не дождался. Ну, и появился кто-то другой.

Софья Мушкат. Варшавянка, 1882 года рождения, из

ассимилированной еврейской семьи. Дочь счетовода и корреспондента[15] торговых и промышленных предприятий, потерявшая мать в семилетием возрасте. Отец женился во второй раз на дочери известного профессора филологии, переводчика Илиады Августина Шмурлы. По окончании гимназии в 1900 году она два года училась в консерватории, благодаря чему она впоследствии могла жить, давая уроки музыки. Она вступила в СДКПиЛ в 1905 году, в среду социал-демократов ее ввела Ванда Краль, у которой она и познакомилась с Феликсом, «высоким, худым (…) товарищем». «Мне казалось, что он видит меня насквозь» – признается она в книге В годы великих боев. Арестованная в 1906 году, она, как и Феликс, сидела в Ратуше. Впоследствии они виделись на партийных собраниях в Варшаве. «В тот период Юзеф несколько раз приходил ко мне на Хмельную, 50, главным образом по издательским делам, я корректировала тогда «Красное Знамя» и прокламации СДК-ПиЛ»254 – вспоминает Софья.

В марте 1910 года Дзержинский вернулся в Краков и поселился в Лобзово, откуда был прекрасный вид на Краковский луг и на Курган Костюшко – тот самый, который три-четыре года назад запечатлел в знаменитых акварелях Станислав Выспянский из окна квартиры на Кроводерской. В мае он переехал на улицу Коллонтая, 4. Софья, высланная царским правительством за границу, приезжает в Краков, живет вместе с подругой «Кларой» в Дембниках. «Через несколько дней после приезда в Краков Юзеф навестил меня. Был веселый и оживленный. После месячного пребывания в Италии он был еще загорелым, но вокруг глаз я заметила глубокие морщины, которых раньше не было» – пишет Софья.

Феликс приступает к упорядочению краковского архива партийных изданий и финансовой документации. Софья ему в этом активно помогает. Они все ближе друг к другу. «И я, и Клара – мы обе очень любили природу и с ранней весны каждое воскресенье, взяв кое-какой провиант, мы целый день совершали пешие прогулки в окрестностях Кракова». Мы брали с собой и Юзефа, но он обычно был так занят, что отказывался: «За всю весну и лето нам это удалось всего несколько раз. А когда он отказывался, я приносила ему вечером с прогулки огромные букеты полевых и лесных цветов, которые он с радостью принимал, а так как ваз не было, то он развешивал цветы по стенам, наслаждаясь их запахом»255. Как и подобало жителям Кракова, не обошлось и без выездов в Татры256. В июне Софья и Клара проводят в Татрах две недели, а в августе Феликс берет партийный отпуск и с утра 28 августа они с Софьей едут в

Закопане. Оттуда они совершают экскурсии на озеро Морске Око. Позже Софья назовет эту поездку «свадебным путешествием». Она признается: «Через несколько дней после возвращения в Краков я переехала к Юзефу».

Седьмого сентября Феликс получает письмо от Сабины, состоящее из двух предложений: «Мне сказали, что Вы женились. Жду ответа: это правда?»[257]. Свадьба в костеле состоялась 10 ноября, то есть даты не сходятся – зато сходятся факты. Скорее всего, в августе они с Софьей сыграли так называемую партийную свадьбу[258]. Официальное бракосочетание прошло в краковском костеле св. Николая на улице Коперника. В церковной книге приходского костела есть запись: Феликс, 33 года, по профессии журналист, и Софья Юлия, 27 лет, магистр музыки, дочь Зигмунта и Саломеи Станиславы из дома Либкинд, оба проживающие на улице Коллонтая. Свидетели Мечислав Бобровский и русский Сергей Багоцкий (коллега Ленина)[259]. Почему они решились на церковную свадьбу? Она, еврейка, атеистка, хотя и крещеная в варшавском костеле св. Барбары. Он, поляк, атеист, хотя и из очень верующей католической семьи. Может они сделали это ради семьи (но Феликс сообщил Альдоне о свадьбе только через год), а может наперекор Сабине? А может, чувствуя политическую угрозу, они посчитали, что формальный брак даст более крепкие основы для стабилизации семьи, особенно при решении вопроса о ребенке? Потому что Софья уже была беременна.

Феликс пишет Сабине (25 сентября, то есть после партийной свадьбы):

> Я не трус. Я не хочу и не могу забыть прошлое и не стыжусь того, что сделал. Писать я не мог давно. Я знал, что Вам сразу сообщат (…). Если Вы потребуете, могу не только написать, могу приехать, могу сам рассказать, ответить на вопросы. Вы меня не любили. Были минуты, секунды, и была моя любовь. (…) Я не планировал, не раздумывал – само пришло и должно было прийти – как необходимость – моя потребность. (…) Я не оправдываюсь – я не жалею – я, когда пишу эти строки, не изменяю своей жене.

В следующем письме в ноябре: «Я не мог написать, что перестал любить, потому что если бы я это написал, то должен бы также написать, что люблю, что Вы были и есть мыслью моей, любовью моей». И дальше: «Без размышлений, без слов любви и без любви самой я женился и без слов отдался воле той, которая помогала мне в работе. (…) И я совершаю подлость только в

отношении жены, когда пишу Вам мою страшную правду, когда не говорю ей ничего о себе, ничего о любви». Через четыре дня после церковной свадьбы он напишет: «Я подавлю и вырву мою любовь к Вам – может вместе с сердцем вырву(…). Моя жена мне товарищ и друг».

17 ноября: «По Вашему требованию немедленно высылаю Ваше письмо. Фотографию, которую я не сжег, как Вы хотели – тоже высылаю. Писать – не могу». 21 ноября Сабина – Феликсу: «Не верю, чтобы Вы сожгли без следа мои письма. Это было бы недостойно. Еще раз требую их вернуть (…). Прощение… Ненавижу дешевую доброту и всякие «прощения» – это для меня пустые слова без сути»[260].

С октября Софья беременна, но так как срок небольшой, Феликс решается послать молодую жену в Варшаву с материалами для «Красного Знамени». В конце декабря ее там арестовывают и помещают в X павильоне Варшавской цитадели. С Феликсом они увидятся только через восемь лет.

Он остается в Кракове один. Продолжает переписываться с Сабиной, несмотря на обещание, что это уже конец. 18 декабря он пишет: «… я хочу понять все, что я сделал» и заявляет: «Если Вы, тем не менее, требуете от меня, чтобы я рассказал всю правду моей жене – сделаю это. Но я считаю, что это было бы с моей стороны по отношению к ней только бесцельной жестокостью». 21 декабря: «Сегодня отправляю письмо также жене – пишу ей обо всем»[261].

31 декабря Феликс получает письмо от Софьи, уже из тюрьмы:

> Миленький мой, пользуюсь случаем, чтобы тебя успокоить, что я здорова и чувствую себя хорошо. Единственное мое желание – это хоть время от времени получать слова твои. Неизмеримо жаль, что твои письма мне не дошли. Не знаю, не гневаешься ли на меня, не обижаешься ли. Мои мысли все время о тебе, солнышко мое, я чувствую твое настроение и думаю, что мне все-таки лучше, чем тебе. Твоя С. Прошу, пиши[262].

То есть Софья еще ничего не знает.

27 января 1911 года Феликс сообщает Сабине: «Я ей написал все – всю правду – эту двойную правду – не тая ничего и ничего не скрывая. Она узнала и тогда поняла все. И после страшной борьбы – простила меня». Может Сабина рассчитывала на то, что Софья не простит, что этот брак разрушится, но произошло по-другому. Это, видимо, привело ее в бешенство, потому что 18 февраля Феликс пишет ей в таком тоне: «Письма я Вам не верну.

Не могу и не хочу. Сам их сожгу. (…) Мое последнее письмо, кажется, вызвало Ваше презрение»[263].

24 февраля у Сабины день рождения. В этот день она пишет письмо – очередной акт игры женщины обманутой в надеждах, но все еще влюбленной: «Я закрываю глаза и вижу цветы (…). И белую сирень, весеннюю, пахучую– это цветок, с которым приходил Юзек, мой любимый, чтобы ласкать и прижимать к губам». На следующий день она делает записи в виде дневника: «Пришло письмо, что нам надо увидеться. (…) Только бы не в Берлине – у них там совещание, а Владек его возненавидел». Она приводит слова любимого: «…я изменил тебе – полюбил ту – и та принесет мне ребенка, которого я так желал (…) Неужели ты никогда не поймешь, как сильно меня мучает мысль о матери моего ребенка, о нанесенной ей обиде? Она подошла ко мне первой – это правда. Как девку я взял ее без любви… Но она простила, когда я написал ей правду». Записи Сабина заканчивает горестным выводом: «Ты боишься, как бы я не обвинила тебя в предательстве «легальной, любимой жены». А меня можно было предать». На следующий день она делает пометку, что они тоже когда-то принимали во внимание возможность иметь ребенка. Хотя, скорее, она этого хотела, а он повел себя не очень хорошо. Сабина вспоминает: «И вновь он схватил меня [в объятия] – я вздохнуть не могла… «Ты моя единственная, а если будет отпрыск?» – «Отпрыск? – спрашиваю – То есть ты не хочешь дать ему имя? Так дурно говоришь о ребенке, который будет нашим, которого мы будем любить»».

Теперь Феликса терзают угрызения совести. К жене. В мае он пишет Сабине: «Близка и дорога мне мать ребенка нашего, и так страшно далека. Связал ее и так обидел. И будем идти по жизни связанные – такие далекие друг от друга, что может никогда и не встретимся друг с другом». При этом, когда Сабина ему пишет: «А почему бы, собственно говоря, мне не стать женой Кубы [Ханецкого]?» – Феликс устраивает ей сцену ревности: «Ах, так, – отвечает он в бешенстве, – значит можно быть чьей-то женой без любви – не любя? Вы, наверное, можете (…). Ненавижу Вас – слышите – ненавижу, как когда-то безгранично любил». И: «Именно Вы, а не кто другой, научили меня искать «счастья» в чужих объятиях».

В Берлине, куда Феликс едет на собрание Главного правления СДКПиЛ, доходит до неприятной конфронтации с коллегами по партии. Он пишет Сабине: «Владек не прав, он не понимает ни моей психологии, ни объективной необходимости, чтобы я изменил свою жизнь». Не только брат Сабины, но и другие товарищи откровенно упрекают его в слишком интенсивной связи

с двумя женщинами, потому что он добавляет: «Вопреки тому, что кругом говорят (…) я никогда (…) не руководствовался тем, что все называют «личной жизнью»»[264]. Переписка 1911 года показывает, что он усиленно искал встречи с Сабиной, в Цюрихе или в Берлине. Но встреча уже больше никогда не состоялась. Были письма – по-прежнему пламенные.

Софью, как беременную, 11 марта переводят в «Сербию» – женскую тюрьму неподалеку от Павяка. В соседней камере сидела умалишенная эсдечка. «Часами, день и ночь она колотила табуретом в дверь или что-то пела трагическим голосом. Однажды, когда мы шли на прогулку, она вдруг стала возводить на меня поклепы и чуть не столкнула меня с лестницы. Это было 21 июня. (…) 23 утром я родила сына, которому дала имя Ян»[265]. Мальчик родился раньше срока, слабым и худым. «Любимый мой, – пишет Софья, – я пережила здесь страшные часы, когда ребенок на третий день после рождения в первый раз заболел. Весь посинел, почернел, я подняла шум»[266].

Тюремный врач не хочет даже осмотреть младенца. Только повторяет, что тюрьма не место для ребенка. Отец Софьи приносит ей жестяную подставку на ножках, которая ставилась над стеклом лампы, чтобы иметь возможность согреть молоко и приготовить овсянку. Но лампа «часто коптила и наполняла и без того душную камеру копотью и непереносимым запахом керосина». «… Во-вторых, если я на секунду оторву взгляд от кастрюльки, чтобы заняться ребенком, кипящий отвар заливает огонь и лампа гаснет»[267] – вспоминала Софья. Словом – кошмар матери-узницы и беспрерывно болеющего в недопустимых условиях сына. В сентябре 1911 года уже известно, что ей грозит ссылка в Орлингу, 800 верст севернее Иркутска. Младенец наверняка этого не перенесет. Феликс готов забрать сына в Краков, но он живет там в нищете, часто уезжает. В ноябре он просит Альдону, чтобы та нашла кого-нибудь в деревне присмотреть за ребенком. Он предлагает 15 рублей в месяц. Это первое письмо сестре после очень долгого перерыва, в котором он сообщает, что женился и у него ребенок. Он пишет: «Фамилия у него [сына] жены, Зоей, хоть и сочетались мы церковным браком здесь, в Кракове; мы скрыли это, так как боялись, что это отрицательно повлияет на дело Зоей. Мы постараемся, насколько это удастся, изменить ему фамилию на правильную»[268]. Альдона в шоке; три года после смерти мужа, ей самой очень тяжело, она объясняет брату, что не может взять Яська к себе. Наконец, помог в то время уже известный педагог Януш Корчак: он устроил ребенка в частный приют для младенцев пани Савицкой, куда мальчика перевезли 15 февраля 1912 года. Корчак велел также

прикармливать мальчика мамкой, два раза в день. Несмотря на все усилия, ребенок долго не сидит, у него не растут зубы, периодически случаются приступы конвульсий. Только в конце мая – начале июня семья Софьи решает отправить Янка к дяде, Мариану Мушкату, врачу-терапевту, живущему в Белоруссии. Софье сообщают об этом 25 июня 1912 года, когда она уже находится в Орлинге. Она принимает это известие с облегчением.

Тем временем в отношениях между Феликсом и Сабиной происходит очередной перелом. После года нерегулярной и острой переписки, в которой оба требуют друг от друга молчать, сжечь письма и все забыть, вдруг вновь пробуждается чувство, высказанное прямо. 2 мая 1912 года Феликс пишет: «Люби меня крепко, не оставляй одного, счастье ты мое, песнь моя желанная, жизнь моя, весна моя»[269].

Но о жене он не забывает. В конце июля он переправляет ей книгу – старую, многих страниц не хватает, в картонном переплете. Потом приходит письмо со словами, что эта книга придаст Софье много сил. Для конспираторов это явный сигнал: в переплете спрятан паспорт на чужую фамилию. В следующей посылке было 100 рублей, необходимых для побега. И Софья совершает побег. Почтовой лодкой по Лене, потом поездом через Иркутск, Самару, Челябинск и Москву она добирается в Люблин, где живет ее брат Станислав. Она дает знать Феликсу, что уже находится в Польше, но он не отвечает. Обеспокоенная Софья не может ехать ни в Варшаву, где ей грозит немедленный арест, ни в Краков, потому что у нее нет документов для пересечения границы. Она едет в Домброву Гурничу и там узнает, что 14 сентября Феликса арестовали и посадили в X павильон Варшавской цитадели.

Партия помогает ей пересечь границу. Она вновь поселяется в Кракове, устраивается на работу в Краковском союзе помощи политическим заключенным и подрабатывает уроками музыки. Таким образом, она уже может содержать ребенка. Жена дяди, Юлия, привозит Янка в июне 1913 года. Все еще слабенький, он начинает ходить только в два года, долго не говорит, время от времени страдает сильными мигренями, вызванными серьезным недостатком зрения. Феликс безумно любит сына – он становится для него самым важным в жизни. В тюрьме он не расстается с его фотографией, пишет ему нежные письма. А Янек, когда может уже сам что-нибудь нарисовать или склеить, в благодарность шлет отцу картинки и рисунки[270].

Из периода 1912–1914, когда Феликс сидел в варшавской тюрьме, сохранились только три письма, его и Сабины. Он пишет ей тепло, сердечно, но уже с некоторой эмоциональной

дистанцией: «Но без воли не придет новая весна». Да, для этого союза ему, видимо, уже не хватает воли. В отличие от нее. Последнее письмо Сабина пишет 30 июля 1914 года.

> Юзек мой, мой единственный. Любимый, самый дорогой, где ты сейчас, думаешь ли обо мне – тоскуешь ли и любишь? (…) Я знаю, как ты любишь детей – сможешь ли ты оторваться от собственного сына? Знаю, что велика вина моя. И грех мой велик, что тогда, в том страшном апреле, когда ты был один в Кракове – бессильный и беспомощный – что я не приехала тогда, чтобы засвидетельствовать правду. И не допустила бы, чтобы другая стала матерью твоего ребенка. (…) Но и мне было нелегко – после смерти Мичи. Велика вина моя – и грех велик. Я поняла это – слишком поздно…
>
> И плачу – плачу всей моей жизнью[271].

Письмо к Феликсу не доходит, тюремные власти возвращают его ей. Он тоже ей не пишет, хотя, находясь во время первой мировой войны в российских тюрьмах, активно переписывается с Софьей и Альдоной. Ясно, что Сабине он писать больше не хочет[272].

Есть еще одна сюжетная линия этой истории, тоже очень интересная и касающаяся Софьи, которую во многих воспоминаниях представляют как холодную, лишенную чувства юмора партийную активистку. Она не всегда была такой. С началом первой мировой войны Дзержинская, как гражданка России, должна уехать с сыном из Австро-Венгрии. Она едет вместе со Стефаном Братманом, руководителем краковского отделения СДКПиЛ, его женой Марией и их сыном Яном. Они едут через Закопане и Вену в Швейцарию. В книге *В годы великих боев* она вспоминает: «Мы все – Братманы с сыном, Барский и я с Янеком – поселились в Цюрихе». Речь идет, конечно, об Адольфе Барском, которого Софья, как и Феликса, знала с 1905 года. В Цюрихе влажный климат, и наступление осени и зимы означало для болезненного Янека вечные ангины. Весной 1915 года Софья решает переехать в Кларенс – местечко на берегу Женевского озера – и забирает с собой также сына Братманов. «Спустя некоторое время в Кларенс приехал на несколько недель Адольф Барский» – вспоминает она в книге *В годы великих боев*. Эта лаконичная информация приобретает иное значение, если сопоставить ее с содержанием некоего письма. Оно было написано весной 1915 года и содержало такие формулировки:

> Заходящее солнце и тишина успокоили мою душу и

> настроили на ноту высокой и чистой грусти. Она идет к тебе. (…) Меня охватывает давно забытое настроение, похожее на то, в каком я провела месяц чудесной грусти восемь лет назад. (…) Ты совершил чудо, любимый. (..) Адольф, мой дорогой, я прижимаю к себе твои ладони, я прижимаюсь к тебе и тоскую по тебе. Я уже хочу, чтобы ты был здесь. Твоя Зоська[273].

Воспоминание о «месяце чудесной грусти» восемь лет назад может указывать на близкие отношения Софьи и Адольфа в 1907 году, а просьба приехать в Кларенс, наполненная столь интимными признаниями, свидетельствует о том, что за эти годы прежнее чувство сохранилось. Но можно ли удивляться одинокой женщине, пять лет лишенной мужской ласки?[274]

XIII. Как медведь в берлоге. Каторжник

В Кракове Феликсу скучно. Краков его раздражает. Он хочет действовать и рвется в Варшаву. Год 1912. Варшавский комитет СДКПиЛ подозревает, что в ряды партии проник провокатор. Подозревается рассорившийся с Главным правлением Юзеф Уншлихт – как оказалось безосновательно, но Дзержинский пользуется случаем и в марте едет в Королевство. Берлинцы реагируют остро. Они обвиняют его в том, что он необоснованно покинул Краков, где идет важная партийная работа. Они утверждают, что он «бесцельно мечется». Феликс защищается. Он аргументирует свой отъезд возложенной на него обязанностью найти провокатора. Кроме того, в Варшаве у него осиротевший сын. «Принадлежность к Главному правлению не лишает права на личную жизнь»[275] – пишет он в Берлин. Действительно, ему удалось увидеть Янека в сиротском приюте – он представился воспитателям дядей ребенка.

В апреле Феликс поступает как совсем отчаявшийся человек. Он пишет *Письмо товарищам*, в котором заявляет, что едет в Польшу, несмотря на их настойчивое требование этого не делать. Он осознает угрозу со стороны Охранки, он даже уверен, что из этой поездки не вернется. Просит опубликовать письмо в случае его ареста. В официальных биографиях и воспоминаниях этот поступок преподносится как необычайный героизм. Но с перспективы душевных переживаний, о которых мы уже знаем, это можно было бы назвать скорее проявлением депрессии и, что за этим следует – потребностью уйти с головой в конспиративную работу. Неужели он хотел умереть смертью мученика?

Охранка настигает его 14 сентября на улице Вильчей. Случайно. Он ночевал у социал-демократической активистки Марии Волковыской и ее русского мужа Владимира Вакара. Жандармы пришли с рутинной проверкой квартиры лиц, подозреваемых в нелегальной деятельности. Нашли запрещенную литературу. Вакар заявил, что литература принадлежит ему, и его хотели забрать, но Феликс выдал себя: «Эти люди невиновны, они меня не знали, – сказал он. – Я – Феликс Дзержинский»[276].

Это уже шестое заключение. Самое долгое и самая тяжелое. Оно доведет его до крайнего истощения – физического и психического.

Первые месяцы он сидит изолированно. В начале июня 1913 года в камере появляется еще один заключенный – Тадеуш Венява-Длугошовский, фигура колоритная, публицист и поэт, активист Революционной фракции ППС[277]. Из всех воспоминаний

о Дзержинском рассказ этого товарища по камере оформлен наиболее литературно. В этом тексте чувствуется аутентичность. Если другие делают из Дзержинского бронзовый памятник стойкости и непоколебимости или портрет фанатика и психопата, то в воспоминаниях под названием *Из моего дневника* мы видим приятеля «из камеры», который проводит акцию стирки носков и носовых платков, через слово употребляет ругательство «псякость слоновья»[278], а также до тошноты зачитывается *Quo vadis* Сенкевича и рассказывает истории из сибирских времен.

Тадеуш, как поэт, сочиняет стишок *Ясъку, сыну Фелъка*, который потом будет переправлен Софье. Стих начинается так:

> У Фелека на стене сын
> на трех фотографических карточках,
> приклеенных тюремным хлебом (…)

Им хорошо вдвоем, но разве может быть вместе идеально двум людям в четырех стенах двадцать четыре часа в сутки? Венява пишет: «…потом мы надоели друг другу – и были такие моменты, когда ненависть мучительным образом наслаивалась на нашу дружбу»[279].

Один раз было свидание с Альдоной – это была их последняя встреча – и несколько свиданий с женой брата, которая, как он писал сестре, каждый раз давала ему огромную порцию семейного тепла. 10 августа 1914 года Феликса переводят в губернскую тюрьму в Орле. Началась война, и еще никто не знал, что она затянет в свой водоворот всю Европу, поглотит миллионы жизней. Предвидя опасность вступления германских войск в Варшаву, царские власти переводят политических заключенных вглубь России. Перед этим Феликса приговаривают к трем годам каторжных работ – за побеги из ссылки. Позже ему добавят еще три года.

В мае 1915 года Дзержинский оказывается в орловской крепости, то есть в каторжной тюрьме, пользующейся славой одной из самых жестоких. Он с нетерпением ждет известий с фронта, знает, что царская армия терпит поражения. «Если эти известия правдивые – они сулят и мне свободу»[280] – надеется он в письме жене. Могло ли ему тогда прийти в голову, что через три года он сам и его партийные товарищи будут подписывать мирный договор с Германией?

Он переписывается и с сестрой. В письмах он вспоминает детство, высказывает незначительные просьбы, затрагивает семейные дела. «Я как-то не собрался написать Игнатию, узнав об их несчастье, – пишет он после смерти Ванды Дзержинской,

дочери Игнатия, которая умерла от сахарного диабета, – очень хотелось бы их прижать к груди и обнять. (…) Здесь тяжелее и хуже, чем в X павильоне, – признается он Альдоне, – но человек ко всему привыкает»[281]. В письмах Софье он более искренен. Уже в Орле он признается, что условия «просто невыносимые»: «Результатом этих условий является то, что каждый день отсюда кого-то увозят в гробу. Из нашей категории [политзаключенных из Польши] умерли уже пятеро за последние 6 недель (…), из-за таких условий многие заболели брюшным и сыпным тифом – говорят, что каждый день хоронят двух-трех. (…) И почти каждый здесь болен – иначе и быть не может. Еда отвратительная – вечна я капуста без всякого вкуса, пять раз в неделю, и, якобы гороховый, суп (…). Все бледные, зеленые или желтые». Ну, и белье меняют каждые две недели – белье грязное, завшивленное. От паразитов избавиться невозможно, так как в камерах теснота»[282]. Наконец, группа заключенных, в том числе и Феликс, в знак протеста против плохого содержания объявляет голодовку (сухую! – не пьют даже воду). Через четыре кошмарных дня, когда умирает несколько протестующих, тюремные власти уступают.

В марте 1916 года Дзержинского переводят в Москву, на Таганку. Здесь над ним проходит очередной процесс и окончательный приговор – шесть лет. В августе его переводят в Бутырку, он серьезно заболевает. Он каторжник, поэтому его ноги закованы в кандалы, от которых появились глубокие раны, грозящие опасным заражением. Сильно поднялась температура. Врач предписывает снять кандалы – только предписание он дает в августе, а выполняют его только в декабре. В тюремной больнице на Таганке, куда его возвращают, его посещает живущая в Москве сестра Ядвига, приходит также жена брата Владислава, живущего в Харькове. Феликс жаждет контактов с семьей.

Он впадает в депрессию, хотя старается не показывать это близким. «Я жил, чтобы до конца выполнить свой долг и быть собой, – пишет он в сентябре Владиславу. – Я должен пережить все, что судьба мне уготовила, вплоть до самого конца. (…) Несмотря ни на что я – оптимист»[283]. Серьезно больной, он работает в тюремной пошивочной мастерской помощником портного, а со временем уже самостоятельно шьет на машинке по пять часов в день. От Ядвиги он раз в месяц получает посылки. 31 декабря 1916 года он напишет Софье: «Мы не знаем, что принесет нам год 1917, но мы знаем, что сохраним свои душевные силы, а это самое главное».

Последнее письмо из тюрьмы он пишет жене 4 марта 1917 года. «Я сейчас дремлю, как зимой медведь в своей берлоге; осталась только одна мысль, что весна придет, и тогда я

перестану сосать свою лапу». Через десять дней взбунтовавшиеся солдаты врываются в Бутырскую тюрьму и освобождают 350 содержащихся там заключенных, в том числе и Дзержинского. На следующий день царь Николай II подписывает отречение от престола. 19 марта Временное правительство объявляет амнистию для всех политических заключенных, включая террористов. Где будет Дзержинский через год, в марте 1918? В начале месяца он будет участвовать в VII съезде Российской коммунистической партии в Петрограде (6–8 марта) и будет избран членом Центрального комитета. Спустя несколько дней он переведет ВЧК в Москву, на Лубянку и будет руководить всей российской тюремной системой.

Большой знаток большевистской России Ричард Пайпс написал о Дзержинском: “Одиннадцать лет он провел в царских тюрьмах и на каторге. Это были трудные годы, и они оставили в его психике не зарубцевавшиеся раны; вместе с этим он развил в себе непреклонную волю в сочетании с ненасытной жаждой мести”[284]. Что касается воли – можно согласиться или не согласиться, потому что в его случае вся его деятельность была движима страстностью. Не тюрьма сделала его таким, каким он стал. Наоборот: то, кем он был, привело к тому, что он попал в тюрьму.

А жажда мести? В отношении личности Феликса это был бы слишком упрощенный диагноз. Примитивной эмоцией, какой является жажда мести, руководствуются жертвы в самых простых отношениях с палачом – если получают возможность взять реванш за насилие, несправедливость и обиду – и нет в этих отношениях идеологического контекста. Когда же такой контекст появляется, и жертва обладает теперь силой и властью – мы начинаем иметь дело уже не с жертвой, перевоплотившейся в палача, а со спасителем. Ибо спаситель принимает на себя ответственность за всех: он карает палача не от своего имени, а от имени всех других. Жажду мести он заменяет чувством своей миссии. Если к тому же он аскет, то к миссии спасителя он отнесется как к жандармской обязанности.

Феликс Кон приводит фрагмент разговора между Дзержинским и его товарищами по тюремной недоле. Они сетовали на поведение царских жандармов, и вдруг он их прервал: «Самое главное, что они это делают не из убеждений, а ради карьеры, должностей и орденов. (…) Если бы они действовали по убеждениям, искренне и бескорыстно, защищая господствующий строй, если бы они верили в свое дело – их не в чем было бы упрекнуть»[285]. Эти слова вызвали возмущение в камере. А находясь в Орле, он просто заявил: «Я посчитал бы для

себя великой честью стать жандармом революции!»[286].

Без сомнения, тюрьма научила его жестким следственным методам. Одним из них была провокация, позаимствованная у Охранки и очень плодотворно применявшаяся ВЧК. Второй – помещение в камеру агента, чтобы тот выуживал у сокамерников информацию, которую они никогда бы не дали на допросе. Третий – использование осведомителей и поощрение доносительства. Энн Аппельбаум в своем *Гулаге* так описывает Бутырку в первые два года его работы на Лубянке:

Разрешалось свободно перемещаться по тюрьме, заключенные организовали утреннюю зарядку, основали оркестр и хор, создали «клуб» с иностранными газетами и хорошей библиотекой. (…) Совет заключенных распределял камеры, некоторые из них прекрасно оборудованные, с коврами на полу и стенах. Один из заключенных вспоминал: «Мы прохаживались по коридорам как по бульвару». Эсерке Бабине тюремная жизнь казалась нереальной: «Нас что, даже не могут посадить в настоящую тюрьму?»[287].

Только один раз Феликс воспользовался своим положением председателя ВЧК в личных целях: он приказал разыскать убийц своего брата Станислава и расстрелять их. В свою очередь, в 1923 году, когда появилась возможность совершить покушение на Юзефа Пилсудского – который ранее унизил его, выиграв польско-большевистскую войну – он категорически запретил это советским агентам.

Феликс Дзержинский стал главой кровавого министерства безопасности. Повторяю: это было кровавое ведомство. Он создал страшный ГУЛАГ – пенитенциарную систему, по образцу которой со временем была построена структура советского общества! Но эта система не была спланирована сверху и навязана большевиками сразу после захвата власти (несмотря на введение диктатуры пролетариата). Ленин, хоть и любил насилие и пользовался «паразитологичным» языком, призывая к борьбе против паразитов – тем не менее, у руля ВЧК он поставил человека, который гарантировал, что не будет руководствоваться личными побуждениями[288].

А будь на этой должности кто-то другой – действовал бы он иначе? Спираль насилия в послереволюционной России не оставляла места милосердию. Даже настоящий демократ Александр Керенский после великодушной отмены смертной казни за дезертирство с линии фронта – и тот восстановил ее, видя нарастающие масштабы бегства солдат и их неподчинения командирам. Другие демократы были возмущены его решением. Три-четыре месяца назад он и сам бы возмутился. На что еще был

бы способен демократ Керенский? Кризис после февральской революции углублялся, анархия бесчинствовала, большевики поднимали голову, эсеры со временем начали бы выражать свой гнев в террористических актах, монархисты готовились бы к реваншу… Факт, что в этих условиях Керенский проявил исключительную мягкость, когда после июльского путча не позволил арестовать всех большевиков – но через несколько месяцев оказалось бы, что его правительство, в состав которого входили ведущие российские либералы, установило диктатуру. Потому что не было иного выхода! Потому что массы этого ждали! Что спасло Керенского от того, чтобы стать автократом? История – которая не дала ему шанс доказать это[289]. Шанс доказать, что в России не обойдется без кровопролития, получили большевики. Чтобы выйти из послереволюционного хаоса с чистыми руками, следовало бы от политических функций просто отказаться.

Если бы Дзержинский отказался, то кто возглавил бы службу безопасности? Ягода, Ежов, Берия?[290] Нашлось бы еще несколько садистов – охотников на эту должность. Поэтому первым упреком, который нужно предъявить создателю советских специальных служб должна быть не его жажда мести, а его вера в лозунг с развешанных по всей Москве плакатов: «Железной рукой загоним человечество к счастью». Такова, к сожалению, участь спасителя.

Российский период

XIV. Революция во второй раз, и в третий. Rien ne va plus! [16]

«Война между Австрией и Россией была бы чрезвычайно полезна революции»[291] – писал Ленин Максиму Горькому в 1913 году. Он был прав.

Все началось 28 июня 1914 года. В этот день наследник австро-венгерского престола Франц Фердинанд д'Эсте – известный, главным образом, благодаря разгромам, которые он устраивал лесным зверям, и морганатическому браку с чешкой – едет в открытой машине по улицам Сараева. И здесь его настигают пули террориста. Дальнейшие события известны – Европу охватывает большая война, впоследствии названная первой мировой. Самым прозорливым аналитиком в России оказывается министр внутренних дел Петр Дурново, который доносит царю, что если война пойдет плохо, то не удастся избежать социальной революции, притом в крайней форме. Но Николай II относится к мировому конфликту с той же небрежностью, как и в 1904 году. Россия встанет на защиту Сербии, хоть и не подписала с ней ни одного соглашения, обязывающего оказать ей вооруженную поддержку. Выдвинуты лишь красивые лозунги типа: “Помощь братьям славянам”. Этим решением царь сам себе готовит гроб – в переносном смысле, так как в действительности им будет шахтный ствол и в лесу яма с известью.

Удар, нанесенный немцами русской армии под Танненбергом в августе 1914 года[292] – это начало агонии восточной империи. Агонии, которая в условиях кровавой и затяжной войны продлится всего несколько лет. Моральный дух русской армии быстро падает, простой солдат не хочет воевать, а офицер потчует его нагайкой, дезертирство и смертная казнь за дезертирство становятся обычным явлением повседневной жизни, к тому же с 1915 года в России начинается волна забастовок. Находящийся в генеральном штабе и на фронте царь утрачивает контроль над столицей – в ней властвует демонический монах Григорий Распутин[293]. Все идет к тому, что и предрекал министр Дурново: 8 марта 1917 года (23 февраля по старому стилю) Петроград охвачен забастовками. 11 марта председатель Думы Родзянко шлет царю телеграмму, информируя его о революционных волнениях. Николай II считает это ерундой… А через четыре дня он подписывает акт о своем отречении от престола. Февральская революция привела к падению самодержавия. Польский социал-

демократ Вацлав Сольский, который в то время был в Москве, стал свидетелем примечательного момента на Красной площади, ставшего символом взятия власти народом. Собралась толпа, на площадь въехала конница из двухсот всадников. И вдруг “один из солдат слез с коня, а за ним остальные. Раздались аплодисменты. (…) Они слезли с коней, наверное, сами еще не зная, зачем это делают и что это сделают, и так же поступили миллионы людей по всей России”[294].

Но что вместо самодержавия? Предлагаемая Временным правительством демократия? Нечто, что для интеллектуальной элиты имело совершенно ясное определение, но для масс было понятием совершенно абстрактным. Россия перед угрозой хаоса всегда мечтает о порядке.

Дзержинский пока сидит в Бутырской тюрьме. Он сильно болен, ослаблен и в депрессии. Первые известия о начале революции воспринимает с некоторым удивлением. Случилось! 15 марта 1917 года кончилось господство Романовых. А днем раньше Дзержинский освобожден из Бутырской тюрьмы.

Люцина Френкель, состоявшая в боевой дружине Московского революционного комитета, вспоминала, что их задачей было освобождение приговоренных и арестованных в Москве. На грузовике они подъехали к воротам Бутырки и потребовали их открыть. Когда охранник отказался, они выломали их ломами. Потом под громкие крики: «Товарищи, свобода!» и под революционные песни они стали открывать камеры. В одной из них Френкель узнала Дзержинского. Узнала с трудом, так как он был бледный, с обритой головой, истощенный и хромающий от кандалов. Они пали друг другу в объятия[295].

Вместе с группой других заключенных Феликс едет в Московский совет рабочих депутатов. Еще в кузове грузовика он произносит перед своими товарищами пламенную речь. Второе выступление, уже с балкона Совета, он адресует собравшемуся народу. Вечером он идет на квартиру сестры Ядвиги в Кривом переулке, 8. Здесь он будет жить, пока партия не отправит его, больного – чуть ли не силой – на отдых в подмосковный санаторий в Сокольниках. На следующий день сестра приносит ему гражданскую одежду из Польского комитета помощи беженцам и жертвам войны. Феликс не тратит время впустую. Через несколько дней он уже ведет агитацию, как заправский военный, в казармах на Ходынке. В это время он получает от товарищей по партии военную шинель – носимая без ремня, она станет неотъемлемым элементом одежды будущего председателя ВЧК.

В эти первые дни в Москве происходит много событий. Люди

чувствуют потребность выговориться, лучше всего прямо на улице. «Митинги начинались утром и продолжались до поздней ночи (…). Выступал любой, кто хотел, говорил о том, что накипело, а выговорившись, исчезал в толпе»[296] – описывает события Вацлав Сольский. У памятника Скобелеву с трибуны, сколоченной из досок, выступал и Дзержинский. «Снова я по уши в своей стихии»[297] – напишет он позже жене, все еще находящейся в Швейцарии. Там на площади его увидел и услышал Сольский. В первый момент получилось смешно, потому что Дзержинский обратится к собравшимся: «…подойдите ближе, чтобы меня услышали все в камере», все рассмеялись. Сольский представился ему польским социал-демократом и какое-то время сопровождал его по улицам Москвы. На Мясницкой произошел неприятный инцидент. Еще перед революцией ходили слухи, что многие извозчики работают на Охранку. Их отличительным знаком, говорят, были специальные подковки на вожжах. Теперь таких извозчиков останавливали, стаскивали с козел и били. Увидев это, Феликс «возмутился и сказал, что нелепые слухи распускают, наверное, сами агенты Охранки, чтобы посеять хаос и замешательство. И что в то время, как преследуют невинных извозчиков, никто не позаботился о том, чтобы обеспечить сохранность архивов Охранки» – пишет Сольский. И добавляет: «Дзержинский с особым раздражением говорил о провокаторах в рабочем движении»[298].

Потом разговор зашел о молоденькой Розе Люксембург и о связанной с ней истории, хорошо известной в среде польских социал-демократов. Когда в 1888 году Розу нужно было переправить через границу в Германию, ей помог Мартин Каспшак. Для этой цели он привлек ксендза, которому наврал, что Роза убегает от своего отца раввина, чтобы принять католицизм. По пути, однако, Люксембург призналась ксендзу, что она революционерка. Вопрос – кто поступил хорошо, а кто плохо, оправдывает ли цель средства? – стал потом предметом споров на собраниях СДКПиЛ. И теперь Сольский, проходя с Дзержинским по улицам бурлящей революционной Москвы, спорил с ним по этому вопросу. Феликс считал, что прав Каспшак, а правдивость Розы относил к мелкобуржуазным предрассудкам. Сольский, наоборот, упрекал Каспшака в отсутствии порядочности. И тогда Дзержинский посмотрел на него как на очень молодого и наивного товарища. «То, что порядочно в одних условиях, совсем непорядочно в других, а для революционера порядочным может быть только то, что ведет к революционной цели» – заявил он и добавил, что почерпнул эту уверенность в прочитанном в тюрьме романе Стендаля Красное и

черное. Там герой романа Жюльен Сорель, – продолжает Сольский, – «готов был бы» повесить троих, чтобы спасти четверых»».

Для Ленина новое демократическое устройство России – это «кисель и каша», потому что эсеры и меньшевики, вступив в коалицию с буржуями, немедленно стали врагами революции. Поэтому надо бороться за свою революцию. Без всяких коалиций: только диктатура пролетариата!

В Копенгагене осел очень важный человек – Александр Парвус, главный организатор большевистских финансов. Гениальный ум, который любую идею может переплавить в золото. А сейчас он убеждает германского посла, что русские либералы захотят продолжать войну. Поэтому Германия должна позволить, чтобы в России вызрела анархия, и поддержать того, у кого есть все предрасположенности к тому, чтобы стать сильным руководителем, гарантирующим Рейху мир. Парвус указывает немцам такого человека – это находящийся в Цюрихе Ленин. Его надо только безопасно и быстро перебросить в Россию. В секретных переговорах и одни и другие руководствуются сиюминутными интересами. Германия хочет мира на востоке, но на своих условиях. Большевики – взять власть в России[299].

9 апреля 1917 года с вокзала в Цюрихе отправляется поезд, имеющий дипломатический статус. Его провожают выкрики русских эмигрантов: «Предатели! Вильгельм заплатил за вашу поездку!». Специальный состав едет через Германию, Швецию и Финляндию. Через неделю он прибывает в Петроград – а вслед за ним на счета большевиков перечисляются соответствующие суммы. Начинается ожесточенная борьба за захват власти в России. Большевики внедряются в толпу и агитируют – а навыки агитации у них в крови. Теперь достаточно сунуть бедняку в руку десять рублей, и он будет кричать: «Прочь с Временным правительством! Вся власть в руки Советов! Война дворцам, мир хатам! Грабь награбленное!». Анархия выступает союзником Ленина. Его люди не жалеют бумаги: в сумме издается семнадцать ежедневных и еженедельных газет и журналов.

Переломным месяцем становится июль. Большевики пытаются начать в Петрограде вооруженное восстание и совершить государственный переворот. Официально во имя мира, но на самом деле лозунг Ленина таков: «Превратим империалистическую войну в войну гражданскую». Это настолько опасно, что министр юстиции Переверзев велит развесить в столице плакаты с информацией, что Ленин и его компания – это германские агенты, и обращается в суд с обвинением их в государственной измене. Часть большевиков арестована, Ленин и

Зиновьев бегут в Финляндию.

Дзержинский не принимает участия в этой попытке мятежа – он находится на излечении по направлению партии. Лечит легкие в Оренбургской губернии. Здесь он узнает об убийстве брата Станислава. Феликс едет в Дзержиново, где последний раз был двадцать пять лет назад. Он устраивает похороны брата, оформляет формальности, связанные с имуществом и едет в Петроград. Если в первые дни свободы он действовал как представитель польской социал-демократии, то потом он становится все ближе к русским, особенно к Ленину[300].

3 сентября немцы берут Ригу и двигаются в направлении морской крепости Кронштадт. Чуть позже Лев Троцкий становится председателем Совета рабочих и солдатских депутатов [301]. Дзержинский со своим опытом, приобретенным в 1905 году, а при этом горячий сторонник вооруженного восстания, поможет Троцкому в качестве великолепного агитатора среди солдат. Вместе с Яковом Свердловым, близким соратником Ленина, они ведут работу с представителями гарнизонов Петрограда, Кронштадта и Выборга. Оба проводят с ними совещание и сообщают своим: солдаты что-то планируют самостоятельно. Если дело дойдет до военного переворота, никто не сможет предсказать, в какую сторону пойдет Россия. Поэтому большевикам надо действовать быстро.

23 октября (10 октября по действовавшему в России юлианскому календарю) Центральный комитет РСДРП (большевиков) по предложению Ленина принимает резолюцию о вооруженном восстании. Ночью создан Военно-революционный центр в составе: Свердлов, Сталин, Бубнов, Урицкий и Дзержинский. Председателем назначается Троцкий, потому что после переворота власть должна перейти в руки Советов. То есть будет вторая в этом году революция. И *rien ne va plus!*

1 ноября Ленин, который неделей раньше вернулся из Финляндии в столицу России, приглашает к себе на квартиру Дзержинского и расспрашивает его о настроениях в петроградском военном гарнизоне. Он получает положительный ответ: солдатам надоела война, они недовольны проводимой Временным правительством политикой. В эту бочку с порохом надо только бросить искру. На следующий день на расширенном пленуме ЦК идет горячая дискуссия. Часть членов ЦК считает – как и неделю назад – что технически большевики еще не готовы к вооруженному восстанию и что заговорщицкие методы не принесут успеха. Среди сторонников восстания находится Дзержинский, который заявляет: «Именно заговорщицким методом как раз и является постулат, что к восстанию все должно

быть технически подготовлено. Будет восстание – будут и технические силы. Так же и со снабжением»[302]. После рассмотрения мнений обеих сторон принимается окончательное решение: Действуем! 6 ноября Дзержинский получил задание захватить почту и телеграф. Все произошло бескровно, с помощью выписанной бумажки и нескольких слов. Здание охранялось Кексгольмским полком – союзником Красной гвардии, главной боевой силы ленинского переворота. Почти сразу после захвата важнейшего в стране узла связи большевики передают из него призыв Владимира Ильича Ленина *К гражданам России.* Они объявляют о победе социалистической революции в Петрограде.

Государственный переворот с 6 на 7 ноября (24/25 октября) большевики осуществили совершенно гладко. В дни переворота российское общество сохранило злобный нейтралитет[303]. Утром в новом главном штабе большевиков, то есть в Смольном институте[304], Ленин в смешном, спадающем с лысого черепа парике (надел его, чтобы пройти в Смольный *incognito)* ложится на ворох газет. Рядом лежит изнуренный Троцкий. Сталин заснул сидя на стуле. “Немного слишком быстрый переход от конспирации к власти, – буркнул Троцкому Ленин. – Голова кружится “[305].

Скоро у всех закружится в головах.

XV. Добрый пролетарский якобинец. Концепция Ленина

В октябре 1917 года во главе российского государства встал человек, который в глубине души презирал Россию. К тому же человек, очень специфическим образом относящийся к самому институту государства. Такое случилось с Россией впервые.

Двумя месяцами раньше этот человек написал книжицу под многозначительным названием *Государство и революция*, которая стала большевистской библией.

Государство есть особая организация силы, – пишет он, ссылаясь главным образом на Фридриха Энгельса, – есть организация насилия для подавления какого-либо класса. Какой же класс надо подавлять пролетариату? Конечно, только эксплуататорский класс, т. е. буржуазию. Трудящимся нужно государство лишь для подавления сопротивления эксплуататоров, а руководить этим подавлением, провести его в жизнь в состоянии только пролетариат, как единственный до конца революционный класс[306]…

А что потом, после подавления буржуазии? Потом – утверждал этот человек – от государства можно отказаться.

Для российских масс главным было, прежде всего, то, что этот человек обещал им расправиться с институтом государства. Ведь все российское зло шло от государства.

Сама Россия Владимира Ильича Ленина не интересовала. По происхождению он был калмыком с примесью немецко-еврейско-шведской крови, с колыбели впитавший в себя уважение к немецкой культуре. Это привила ему мать, а позже он утвердился в этом, читая Маркса и Энгельса, находясь в эмиграции и общаясь с немецкими социал-демократами. Он мог реально наблюдать, как была организована немецкая экономика с началом первой мировой войны – всеобщую мобилизацию и монополизацию, то есть «государственно-монополистическую монополию». Когда в 1917 году он заканчивал писать *Государство и революция*, он уже знал, что формируемое им общество будет выглядеть как… почта[307].

Один остроумный немецкий социал-демократ семидесятых годов прошлого века назвал *почту* образцом социалистического хозяйства – напишет он в своей книжице. – Это очень верно. Теперь почта есть хозяйство, организованное по типу государственно-*капиталистической* монополии. Империализм постепенно превращает все тресты в организации подобного типа.

Над «простыми» трудящимися, которые завалены работой и голодают, здесь стоит та же буржуазная бюрократия. Но механизм общественного хозяйничанья здесь уже готов. Свергнуть капиталистов, разбить железной рукой вооруженных рабочих сопротивление этих эксплуататоров, сломать бюрократическую машину современного государства – и перед нами освобожденный от «паразита» высоко технически оборудованный механизм, который вполне могут пустить в ход сами объединенные рабочие, нанимая техников, надсмотрщиков, бухгалтеров, оплачивая работу *всех* их, как и *всех* вообще «государственных» чиновников, заработной платой рабочего[308].

Правда, просто? Ленин утверждал, что к социализму можно прийти только через высшую стадию капитализма. Что бы это могло значить? Что капитализм подготовит почву, а мы провозгласим рай на земле. В России каждый знал, что такое рай, а капитализм функционировал исключительно в теории, но вождь большевиков не обращал на это внимания. Он был уверен, что немецкая концепция настолько совершенна, что будет работать в любых условиях. Он верил также в силу классового авангарда – рабочих. Да, их диктатура должна была опираться на насилие «вооруженного народа», но только какое-то время, пока пролетариат не достигнет поставленной революцией цели. Поэтому на этот переходный период лучшей формой организации общественной и экономической жизни будет военная экономика. Потом произойдет ликвидация чиновничьего и полицейского аппарата, постоянной армии – что является главной чертой диктатуры пролетариата, которая позволит народу взять в свои руки контроль над всем. Да, государство вооруженного народа должно применять насилие, но по мере укрепления власти сам институт государства начнет отмирать. Его заменит «управление делами» – а это сможет даже кухарка! А что же будет гарантировать прочность и долговечность такого устройства? Привычка! Тогда и помощь будет не нужна.

Ленин, без сомнения, должен был чувствовать себя гением[309].

Однако условием хорошего функционирования является централизация, а ее лучшим образом обеспечивает уже упоминавшаяся почта, работающая в условиях военного времени. Милитаризированная почта, в свою очередь, должна иметь свое центральное управление, наделенное чрезвычайными полномочиями – а возглавлять ее должен человек, обладающий чрезвычайными качествами. О себе Ленин знал, что он интеллектуал, что мировой порядок он лучше всего строит на бумаге при помощи слов: острых, метких, оскорбляющих противника, ибо на этом основывается эффективность идеи. Он

не хотел быть премьером, то есть председателем Совета народных комиссаров (Совнаркома), эти функции он оставлял исполнителям, организаторам. Он был теоретиком, литератором – он был богом. И ему нужен был божественный легион, возглавить который должен «добрый пролетарский якобинец». Ведь диктатура требовала террора освященного, который откроет человечеству дорогу в рай.

Однако, прежде чем это произойдет, сама концепция успеет дать небольшой сбой. В первый момент ей окажет сопротивление стихия, или человеческая натура. Правда, Максим Горький за неделю до путча предостерегал: «Если начнется восстание, то разгорятся все наихудшие инстинкты толпы (…) люди будут убивать друг друга, не сумев подавить звериную глупость»[310], но для Владимира Ильича это не было большой проблемой. Сам он с февраля использовал аргумент анархии, будучи уверенным, что диктатура пролетариата так увлечет за собой массы, что силой исторической необходимости они вступят на путь добродетели.

Не вступили.

Надо было спешно вместо распущенной царской полиции создать рабочую милицию, а с этим была проблема, так как в ее рядах «оказалось много людей случайных и даже враждебных»[311]. Что это значит? Что в милицию пошли обыкновенные бандиты, пользующиеся привилегией носить форму и оружие. Этого провидец Ленин не предусмотрел. Не беда, такие инциденты можно отнести к временным трудностям. Впрочем, этим должен заняться «пролетарский якобинец», ведь он на это был помазан.

Во время штурма Зимнего дворца начались кражи драгоценностей и произведений искусства. Дворец разгромлен. В подвалах нападавшие находят огромные запасы вина. «Попав в подвалы, – вспоминает красногвардеец Моисеев, – пьяницы прикладами выбивали из бочек деревянные затычки или проделывали отверстия штыками. Вино заливало подвал. Захлебываясь, они тонули в вине»[312]. Их тела потом рядами укладывали во дворе. А неистовство радостного пьянства уже охватило всю столицу. Разграблены всё новые склады с алкоголем. Это усиливает оргию ненависти, разбоя и насилия. Правда, что революция пахнет гениталиями. Поэтому «добрый якобинец» Дзержинский должен заняться также самым темным элементом – убийцами, ворами, насильниками и пьяницами, ну, и отлично организованными анархистами (Черная Гвардия), то есть всеми теми, которых он защищал в 1905 году, утверждая, что не в насилии путь к ликвидации зла. С первого дня революции «якобинец» выполняет также функции интенданта, а точнее – коменданта генерального штаба, подписывая сотрудникам

Смольного талоны на чай, выдавая распоряжения о выдаче автомобильных шин, занимаясь устройством инвалидов. Ибо и к этому у него есть предрасположенность.

Ленин все еще уверен, что всё нарастающие те или иные проблемы, как, например, закрытые почтовые отделения, не работающие банки, нехватка денег – это трудности преходящие. Настоящий враг только затаился – контрреволюционеры и саботажники. Но этот враг ему нужен. Это главный двигатель концепции. Поэтому в первые десять дней, которые потрясли мир, большевики будут обращаться к народу с призывами.

> Контрреволюция подняла свою преступную голову, – пишут в одном из них. – Корниловцы мобилизуют силы, чтобы не дать провести Всероссийский съезд Советов и сорвать Учредительное собрание. Одновременно отбросы общества могут попытаться вызвать беспорядки и устроить резню на улицах Петрограда. (…) Петроградский гарнизон не допустит никакого произвола и беззакония. (…) При первой попытке беспорядков, грабежей, поножовщины или стрельбы преступники будут стерты с лица земли![313]

Ленин уверен – никакие самые отъявленные хулиганы и черносотенные агитаторы не в состоянии подорвать его концепцию. Хуже, если поперек ее дороги встанут те, для кого она и создавалась! И вот тогда возникнет проблема идеологического плана. А так и случилось почти сразу после переворота.

Железнодорожники из профсоюза Викжель (*Всероссийский исполнительный комитет железнодорожного профсоюза – Прим. перев.)* требуют создать правительство из представителей всех социалистических партий, угрожая в противном случае всеобщей забастовкой на всех железных дорогах. Направленный к ним на переговоры Лев Каменев был даже согласен на компромисс, но Ленин приходит от этого в ярость. Вера Засулич назвала его как-то бульдогом – если вцепится в горло, то уже не отпустит. Он сразу осуждает бунтовщиков: «Мы не будем разговаривать с «Викжелем» (…). «Викжель» держит сторону Калединых и Корниловых»[314], то есть контрреволюционеров. Это значит, что здесь, где мы, стоят рабочие, а кто встанет по ту сторону, он уже не рабочий.

В этот первый период доминирует, однако, революционная атмосфера общности и торжественности момента. Ну, и в нужное время творец диктатуры пролетариата точно указал пальцем на виновных. Вооруженный народ считает, что получил от него власть (в действительности – иллюзорное чувство власти),

поэтому «[в] длинных очередях за хлебом, которые и раньше стояли на морозных улицах, уже не было слышно проклятий в адрес правительства, как во времена Керенского, но были слышны проклятия в адрес чиновников-саботажников. Люди знали, что нынешнее правительство – это их правительство, правительство их Советов, которому сопротивлялись чиновники министерств»[315]. За большевиков действительно высказались массы. Почему? Потому что поверили, что будет построено лучшее общество. Потому что посчитали большевиков такими же, как они[316].

Народ требовал возмездия. Концепция Ленина давала ему такую гарантию. Ее инструментом должен был стать террор – в массовых масштабах. Народу – вооруженному народу! – большевистский вождь обещал не только власть, но и уверенность, что острие террора будет направлено исключительно против тех, кто «не с нами»[317]. Еще в июне 1917 года Ленин оптимистично предполагал: «Если бы власть перешла к «якобинцам» XX века, пролетариям и полупролетариям, они объявили бы врагами народа капиталистов, наживающих миллиарды на империалистской войне», но «[я]кобинцы» XX века не стали бы гильотинировать капиталистов – подражание хорошему образцу не есть копирование. Достаточно было бы арестовать 50—100 магнатов и тузов банкового капитала»[318] – чтобы, раскрыв проделки банковых королей, выпустить их на волю. Итак, на страже нового порядка должен был стоять экзорцизм[319]. Объявляя о массовом терроре, Ленин придерживался простого принципа, что диктатура будет не нужна, когда исчезнут классы. Но они не исчезнут без диктатуры пролетариата. Чтобы дождаться финала, необходимо пройти этап террора. Ничего не поделаешь, надо. Но этот террор не будет кровавым. Он будет показной! Он будет театром. В назидание. В связи с этим, его нужно поручить человеку с сердцем голубя: доброму пролетарскому якобинцу, который освятит его своей биографией. И станет великим экзорцистом.

На эту роль Ленин выбрал Феликса Дзержинского.

С первых дней после освобождения из тюрьмы Феликс носил шинель. С назначением его на должность председателя ВЧК 20 декабря 1917 года он наденет также военную форму. Отдавал ли он себе отчет в том, что Ленин – это «не всесильный волшебник, а расчетливый фокусник», о чем на страницах «Новой Жизни» писал тогда Максим Горький? Наверняка нет. К концепции вождя революции он подходил как будто к откровению. Он был в его руках инструментом, причем исключительно ценным. Ленин создал себе этот образ «доброго якобинца», и в его замысле он

действительно должен был быть добрым. Почему? Провидцу Владимиру Ильичу все казалось простым: организовать и проконтролировать массовый террор (а контроль над ним он предусматривал) означало не убивать, а только напугать, продемонстрировать силу, разыграть именно театр. Создать современный рыцарский орден, который во имя всеобщего счастья будет наставлять неверных на путь истинный. Но это требовало достоверности, а достоверность мог обеспечить только такой человек, как беззаветно преданный и абсолютно честный Феликс Эдмундович. По словам Бориса Левицкого, «ибо фанатизм Дзержинского был гарантией безжалостного истребления врагов, а его личная скромность и аскетизм исключали возможность злоупотребления этой, как же опасной, властью»[320]. Безусловно. Но дело было и в симпатиях к нему со стороны рабочих. Этот шляхтич, как мало кто из большевистских интеллигентов-шляхтичей[321], умел найти путь к простым сердцам при помощи личного обаяния и истории жизни. Он был героем романтической легенды. Он мог иметь поддержку масс – и получил ее.

Дзержинский был решительным противником индивидуального террора – как и вся польская социал-демократия во главе с Розой Люксембург. Официально Ленин такой террор тоже осуждал, но вместе с тем поддерживал акции по экспроприации, проводимые Леонидом Красиным и Иосифом Сталиным, одобрительно относясь и к подобным же акциям Пилсудского. Он рассматривал эти акции как практический способ добывания финансовых средств для партии. Но массовый террор содержал в себе совершенно иной, моральный груз. Он был неотъемлемым элементом революции («Как можно проводить революцию без экзекуции?» – спрашивал Ленин Льва Каменева). Трудно, однако, считать руководителя большевиков человеком со склонностями убийцы. Абсолютно уверенный в правильности своей идеи, в самые трудные моменты он рассчитывал на силу экзорцизма. А потом все должно быть просто прекрасно: без государства и без диктатуры.

Заместитель Дзержинского на Лубянке латыш Мартин Лацис скажет позже, что «ЧК прилагала все силы к тому, чтобы ее деятельность оказывала на людей такое впечатление, что сама мысль о ней отбивала бы желание к саботажу, шантажу и заговору.»[322]. А Феликс тоже рассчитывал на силу экзорцизма организации, которую возглавил? «Может, из меня получился не самый плохой революционер, но я не вождь, ни государственный деятель, ни политик», – цитирует Троцкий его высказывание в книге *Моя жизнь*. Так кем он был? У этого «рыцаря революции» совесть потеряла чувствительность после заверения Ленина о

том, что они создают совершенно новый моральный кодекс, позволяющий очень многое, потому что «первыми в мире» они обнажили меч «не с целью порабощения, а во имя свободы и освобождения от угнетения»[323].

Чрезвычайность комиссии, которую возглавил «добрый якобинец», должна была заключаться не в ее полной независимости (за что ее многие упрекали), а в ее временном характере. Действующая, как предполагалось, только в период гражданской войны, она не дождалась даже самого короткого упоминания в разрабатываемой советской конституции. То, что она оказалась учреждением, которое не только просуществовало многие годы, но и навязало свой образ мышления всему российскому обществу – это явилось поразительным триумфом действительности над ленинской концепцией.

XVI. Мы представляем собой террор. Председатель ВЧК

«Суть власти есть насилие» – писал Борис Бажанов, бывший секретарь Сталина, который в 1928 году перебежал на Запад. Он писал о коммунистической власти в СССР.

> Насилие в отношении кого? Согласно доктрине – прежде всего в отношении какого-то классового врага. В отношении буржуя, капиталиста, помещика, шляхтича, бывшего офицера, инженера, священника, зажиточного крестьянина (кулака), человека с иными взглядами, не приспосабливающегося к новому общественному строю (контрреволюционера, белогвардейца, саботажника, вредителя, социал-предателя, симпатизирующего классовому врагу, союзника империализма и реакции и т. п.). А после ликвидации всех этих категорий можно создавать очередные и следующие: середняк может стать пособником кулака, малоземельный – противником колхозов, а тем самым саботажником и врагом социалистического строительства, рабочий, не проявляющий социалистического энтузиазма – агентом классового врага[324].

Это классификация как из детской считалки, но в этой системе было много инфантилизма. Это был мир уже не марксистской теории, а обещанной Лениным практики. И в этом мире: «Не тот большевик, кто читал и понял Маркса (…), а тот, кто натренировался в безустанном поиске и преследовании всякого рода врагов» – добавляет Бажанов.

5 декабря 1917 года новое правительство, Совет народных комиссаров, постановляет поручить Дзержинскому создание специальной комиссии для борьбы с забастовками «путем самых энергичных революционных средств»[325]. Пока только с забастовками, так как новой власти грозит всеобщая забастовка в государственных учреждениях. И это непосредственно после революции, когда для осуществления насилия нужно спокойствие, нужен хлеб, нужны деньги. А без порядка и хлеба даже самая прекрасная идея умрет немедленной смертью, а легко захваченная власть быстро умыкнет из рук. Ленин и товарищи понимают: выхода нет. Диктатура пролетариата должна стать карающим мечом против врагов народа. Но забастовки – это слишком мало. Утром 20 декабря 1917 года в записке

Дзержинскому Ленин приводит причины создания нового ведомства: «Необходимы чрезвычайные средства борьбы с контрреволюционерами и саботажниками»[326]. В тот же день вечером на заседании Совета народных комиссаров Дзержинский представляет план действий – он предлагает создать Всероссийскую Чрезвычайную комиссию для борьбы с контрреволюцией и саботажем. Сокращенно ВЧК, ЧК, в обиходе – чрезвычайка.

Сначала их было всего тридцать человек, включая водителей и уборщиц – все с добрыми намерениями и без какого-либо опыта[327]. Большой проблемой оказался подбор сотрудников низшего звена. Феликс искал твердых и неподкупных, или – как сам повторял – «с холодной головой, горячим сердцем и чистыми руками». Он искал их прежде всего среди красногвардейцев, солдат и матросов. Многие отказывались, говоря, что готовы отдать жизнь за революцию, но брезгуют слежкой и провокациями. Ведь специфика нового ведомства требовала от сотрудников специфических качеств, ну, и ассоциировалась (и правильно) с ненавистной Охранкой. Это была грязная революционная работа, которую нельзя выполнять в рукавичках – это все понимали. До тех пор, пока ВЧК не обросла легендами и привилегиями, она не пользовалась уважением у кандидатов, которые подходили бы для этой работы.

С кадрами Феликсу помог Яков Свердлов, вместе с которым они вели агитацию в войсках накануне большевистского переворота, и который теперь стал правой рукой Ленина и председателем ВЦИК – Всероссийского центрального исполнительного комитета, то есть главой исполнительной власти большевистского государства. У Свердлова был нюх на людей и связи в самых разных кругах. Он прислал Дзержинскому необходимый человеческий материал[328]. Неоценимыми оказались левые эсеры – имеющие опыт и навыки конспирации, приобретенные в непосредственных акциях и контактах с Охранкой. Выхода не было: Феликсу пришлось прибегнуть к услугам некоторых бывших сотрудников царской полиции[329]. А вместе с ними воскресить и нечистоплотные методы провокаций и агентуры, которых он сам так опасался в годы конспиративной работы. Но он знал их поразительную эффективность, и теперь технические подробности этих методов бывшие «охранники» передавали сотрудникам ВЧК на курсах переподготовки.

Полезным для чрезвычайки оказалось доносительство, которое пышно расцвело в тот период. «Почти все крупные заговоры были раскрыты благодаря показаниям граждан, – вспоминал Мартин Лацис, заместитель Дзержинского. —

Первую ниточку находили бесплатные и добровольные сотрудники из населения, а после аппарат ВЧК добирался до клубка»[330]. Но усердие в доносительстве развилось до такой степени, что Дзержинский стал опасаться, как бы эта бацилла провокации не заразила ряды чекистов. В ноябре 1920 года он издал распоряжение: «Если заявление окажется лживым, вызванным личными счетами и т. п., то заявителя следует привлечь к ответственности за клеветнический донос и дискредитацию советской власти»[331]. Но в политических делах он требовал «чисто идейного взаимодействия советских элементов» против нежелательных элементов. Только этот идеализм быстро закончился. Уже в июне 1918 года было принято решение об использовании секретных агентов в политической борьбе.

Перед ЧК было поставлено несколько задач. Во-первых: предотвращать попытки любых контрреволюционных и деструктивных действий по всей России, а при выявлении таковых – ликвидировать их. Во-вторых: отдавать под суд революционного трибунала саботажников и контрреволюционеров, а также разработать методы борьбы с ними. И, наконец: вести предварительное следствие, если оно будет необходимо с точки зрения безопасности. А все указания и распоряжения, а также результаты работы Комиссии публиковались на страницах «Еженедельника ВЧК», который издавался открыто, так как этого требовал Дзержинский. Задачи были распределены между тремя, а позднее – четырьмя отделами: информационным, организационным – он должен был разрабатывать планы противодействия, боевым, а также отделом по борьбе с контрреволюцией и саботажем – он должен был претворять эти планы в жизнь. По предварительному замыслу речь шла прежде всего о конфискации имущества, выселении, занесении в списки врагов и лишении продовольственных карточек. ВЧК еще не имела права выносить и исполнять приговоры (это было в компетенции ревтрибуналов), она должна была исполнять функции, скорее, полиции и прокуратуры. Но Дзержинский быстро стал добиваться такого права. «Сотрудники ЧК – это солдаты революции, которые не будут заниматься разведывательной или шпионской деятельностью; социалисты не годятся для такой работы. Боевой орган, каким является ЧК, не может выполнять работу полиции. Поэтому право на расстрел чрезвычайно важно для ЧК»[332]. Заместитель Феликса Мартин Лацис в воспоминаниях *Дзержинский и ВЧК* пишет – что очень характерно – что председатель ВЧК «нарушал букву закона, но действовал в соответствии со своим классовым чутьем и собственной совестью». Только понятие «собственная совесть»

в случае такой развитой структуры по сути дела ничего не значило. Оно создавало Дзержинскому легенду кристально чистого чекиста, а подчиненным предоставляло неограниченные возможности. Форма, оружие и неограниченные права ломали психику человека, особенно в обстановке военного времени. Как выглядел типичный чекист? «Огромный маузер, взгляд исподлобья, подчеркнутое недоверие к собеседнику и небывалая самоуверенность»[333] – писал Владимир Бонч-Бруевич, будущий секретарь Ленина.

У Дзержинского не было проблем с тем, чтобы убедить Ленина в необходимости расширить права службы безопасности. Тем более что немцы все еще продвигались вглубь России, а белые армии, поддерживаемые англичанами и французами, набирали силу. Поэтому своим декретом от 21 февраля 1918 года Совет народных комиссаров постановил, что «агенты неприятеля, спекулянты, бандиты, хулиганы, контрреволюционные агитаторы, германские шпионы должны расстреливаться на месте преступления». С лета 1918 года чекисты не только могли расстреливать на месте преступления – они также стали приводить в исполнение смертные приговоры за контрреволюционную деятельность и брать заложников. А с момента введения в сентябре того же года красного террора права ЧК были уже неограниченными. В обстановке гражданской войны большевики учредили так называемые судебные тройки, то есть чрезвычайные трибуналы ЧК, состоящие из трех человек, которые могли приговаривать к тюремному заключению, выселению, конфискации имущества, расстрелу. Они были хозяевами жизни и смерти людей. И работали с силой адских машин.

Становление и разрастание ВЧК происходило по мере развития событий в России. Изо дня в день оказывалось, что у врага много лиц, чего провидец Ленин не предусмотрел. Сначала бандитская стихия, занимающаяся грабежами и убийствами, значительную часть которой составляли возвращающиеся с фронта деморализованные солдаты. Потом, в условиях нарастающего экономического кризиса и явной нехватки товаров – черный рынок и мошенничества. Оппозиционная деятельность различных политических группировок – от справедливо добивающихся созыва Учредительного собрания и демократии до радикальных групп националистов и анархистов. Крестьянские бунты, вызванные беспощадной реквизицией, а на этнически нерусских землях – бунты за независимость. Ну, и война: на внешнем фронте, при огромных усилиях нового правительства ее закончить, и внутренняя на нескольких фронтах, где развертывались белые армии Краснова, Деникина, Колчака,

Юденича, Дутова и Врангеля. Лекарством от всего этого, наряду с Красной Армией под руководством Льва Троцкого, должна была стать ВЧК с юношами и девушками в кожанках («кожаные люди в кожаных куртках» – как писал Борис Пильняк) под руководством Дзержинского. Отсюда решение о расширении на двух уровнях: территориальном (региональные ячейки) и структурном (проникновение во все области жизни). В Чрезвычайной комиссии множатся новые отделы, так что к концу 1919 года чекисты будут с гордостью заявлять: «у нас нет территории, на которую не падал бы орлиный взгляд ЧК»[334].

Эта развивающаяся в неслыханном темпе махина вызвала громкие протесты даже тех, кто до сей поры был сторонником большевиков. С юмором висельника люди говорили, что лозунг «Вся власть Советам» переделан на «Вся власть в руки ЧК». Лацис в 1926 году признаёт: «Теперь это кажется неправдоподобным, но в то время было много товарищей, которые принцип неприкосновенности личности ставили выше, чем благо революции; они, конечно, еще находились в идейных оковах мещанства»[335]. Более трусливые большевики метались между голосом совести и конъюнктурщиной.

На вопрос жены Горького, зачем он взял на себя функции главы ВЧК, Феликс ответил, что получил такое указание от партии. Получил указание – и как ярый коммунист, приверженец ленинского мироустройства, легко вошел в роль великого инквизитора. Совесть индивида он заменил всеобщей совестью, которая заботится о благе всех. Таким благом должна быть всеобщая справедливость – нравится это кому-то или нет. «Единица – ноль» – писал Маяковский. А Дзержинский осознавал свою роль.

Общество и пресса не понимают задач и характера нашей комиссии – говорил он в июле 1918 года. – Они понимают борьбу с контрреволюцией как вид нормальной государственной политики и поэтому кричат о гарантиях, судах, о следствии и т. д. Мы не имеем ничего общего с военно-революционными трибуналами, мы представляем собой организованный террор. Это надо сказать открыто[336].

С каждым днем триумф действительности над концепцией становился все более очевидным. Наверх выходила отвратительная правда: сам экзорцизм перестал действовать. Насилие порождает новое насилие, и нет ему конца. А потом Илья Эренбург напишет: «Два слога, страшные и патетические для каждого гражданина, который пережил годы революции, два слога, произнесенные раньше, чем «мама», потому что ими пугали детей уже в колыбели, как когда-то Бабой Ягой, два самых

простых слога, которые никто не забудет»[337].

Просто: Че-Ка

XVII. Советую вам немедленно меня расстрелять. Путч эсеров

«Анархия мать порядка». Когда большевики в первые послереволюционные часы заседали в залах Смольного института в Петрограде, все здание снаружи было увешано флагами и знаменами анархистов, а над ними красовалась эта надпись. И вскоре оказалось, что это правда – чем больше Россию захватывала анархия, тем туже затягивалась петля порядка.

23 февраля 1918 года в «Известиях» было напечатано обращение ВЧК, в котором говорилось, что до сих пор ВЧК проявляла великодушие в борьбе с врагами народа, но с момента, когда гидра контрреволюции, используя преступное нападение Германии, нагло поднимает голову[338], Комиссия вынуждена начать беспощадно расправляться с преступниками на месте происшествия. На следующий день людьми Дзержинского совершается первая экзекуция. Приговоренный – некий «князь Эболи» и его любовница – за шантаж и грабеж с использованием фальшивых документов, выданных, якобы, чрезвычайкой.

Выдвинутый далеко на северо-запад Петроград в опасности, немцы через Ригу продвигаются вперед. Большевики принимают решение о переносе столицы в Москву. 10 марта Дзержинский со своим ведомством перебирается к Кремлю – на Лубянскую площадь, 11, в прекрасное здание в стиле сецессион, где ранее располагалось Страховое общество «Россия». С Красной площади сюда можно дойти за десять минут.

На новом месте на первый план выдвигается проблема самой Москвы. В городе действует анархистская Черная гвардия. Образованная сначала как политическая организация, через несколько месяцев она становится обычной разбойной бандой. В период послереволюционного хаоса она активно действует в богатом районе иностранных представительств в поисках легкой добычи. Дзержинский организует против

Черной гвардии быструю, беспощадную акцию, используя ее также в пропагандистских целях: в качестве наблюдателей он приглашает представителей французской, английской и американской дипломатических миссий.

> Мы заходили во все здания. Царящую в них грязь трудно себе представить, – описывал свои впечатления Брюс Локхарт, американец, наблюдавший за акцией в ночь с 11 на 12 апреля. – На полу валялись разбитые

> бутылки. (…) Пятнами от вина и человеческими экскрементами были вымазаны ценные гобелены. (…) Убитые [чекистами] лежали там, где их настигла смерть. Среди них были офицеры в гвардейских мундирах, студенты, двадцатилетние юноши и мужчины, несомненно принадлежавшие к криминальному элементу, выпущенному революцией из тюрем. В салоне люкс дома Грачева анархисты были застигнуты во время оргии[339].

Участие западных наблюдателей помогло. После этой акции преступность в Москве значительно уменьшилась, а Запад доброжелательно посмотрел на большевиков и признал целесообразным создание Чрезвычайной комиссии. И в российском обществе выросла поддержка новой власти. Стоит упомянуть, что идейных анархистов Дзержинский приказал освободить[340].

Народный комиссариат юстиции находится под влиянием левых эсеров, которые вошли в правительство большевиков. У чрезвычайки с ними конфликт – например, по вопросу передачи революционным трибуналам эсеровских и меньшевистских деятелей. Конфликт разгорелся в начале января 1918 года, когда ВЧК арестовала руководство эсеровско-меньшевистского Союза защиты законодательного собрания. Народный комиссар юстиции эсер Исаак Штейнберг втот же вечер их выпустил. Месяц спустя, прочитав декрет, дающий чекистам право расстреливать на месте, он возмущенный пошел к

Ленину и заявил: «В таком случае зачем мы вообще морочим себе голову Комиссариатом юстиции? Давайте назовем его честно «Комиссариатом общественного уничтожения» – и проблема решена!»[341]. В конце концов в этом конфликте выигрывает Дзержинский и ВЧК будет подчиняться непосредственно Совету народных комиссаров, а не Штейнбергу и комиссариату юстиции, как изначально планировалось.

3 марта 1918 года большевики подписывают в Бресте мирный договор с Германией[342]. 15 марта IV съезд Советов ратифицирует этот договор, и не согласные с ним эсеры выходят из состава правительства. На июнь они планируют поднять бунт в ВЧК и Красной Армии, где у них много своих людей. 20 июня от руки их человека Сергеева погибает В.Володарский, народный комиссар по вопросам агитации и пропаганды. 4 июля во время работы V съезда Советов в Большом театре эсер Борис Камков от имени своей партии оскорбляет германского посла Вильгельма фон Мирбаха, который является посредником в тайных финансовых

транзакциях между Берлином и большевиками. А самих большевиков Камков называет “лакеями германского империализма”. 6 июля эсеры демонстративно покидают зал заседаний съезда. В тот же день в два часа пополудни два сотрудника ВЧК эсеры Яков Блюмкин и Николай Андреев, предъявив удостоверение, якобы выданное на Лубянке Феликсом (удостоверение было подделано его заместителем эсером Александровичем), входят на территорию германского посольства и убивают Мирбаха. Это был сигнал к началу путча.

Конный полк чекистов под командованием эсера Попова захватывает здание ВЧК на Лубянке, другие отряды занимают важные объекты в городе, в том числе Главный почтамт. В провинции тоже начинаются восстания, в частности, в Ярославле и Вологде. Часть Красной Армии идет на Москву. Предводитель левых эсеров Мария Спиридонова направляется в Большой театр на съезд, чтобы объявить о свержении большевистского правительства.

Тем временем Ленин после скандального дипломатического инцидента пытается задобрить немцев. Он звонит в посольство с извинениями и приказывает Феликсу, чтобы тот лично расследовал это дело. Феликс едет в посольство, объясняет мотивы убийц и обещает в кратчайшие сроки с ними расправиться. В сопровождении трех чекистов он идет в резиденцию эсеров, предполагая, что именно там укрылись убийцы посла. Бунтовщики его разоружают и арестовывают. Узнав об этом, Ленин приказывает окружить Большой театр и арестовать представителей эсеров. Он угрожает, что если хоть один волос упадет с головы Дзержинского, он размозжит тысячи эсеровских голов.

А арестованный Феликс впадает в полное отчаяние. Он угрожает Попову, что расстреляет его из его же револьвера. Узнав об аресте Спиридоновой, он кричит: «Советую вам немедленно меня расстрелять, потому что я буду первым противником ее освобождения!»[343]. Но он был слишком ценным заложником. Эсеры понимали, что его убийство будет означать смерть их элиты, арестованной в Большом театре.

7 июля бунт был подавлен, главным образом благодаря мужественным действиям латышских частей под командованием Юкумса Вациетиса. Феликса освободили. Из арестованных эсеров двенадцать, в том числе Александровича и Попова, поставили к стенке[344].

Существует большая вероятность того, что Ленин и Дзержинский знали о готовящемся покушении на посла. Знали и не противились – заявил годы спустя Яков Блюмкин жене

Луначарского. Это было время, когда Мирбах начал сомневаться, что большевики смогут удержать власть – телеграммы именно такого содержания он слал в Берлин. В этом мнении его поддерживал обиженный Парвус, которого перед началом переговоров в Бресте предал Ленин[345]. Немцы внезапно могли переключиться на поддержку оппозиции, особенно людей типа Бориса Савинкова. Такие аргументы были у Ленина – с Дзержинским было иначе. Противник условий, на которых заключался Брестский мир, он прямо назвал вождя «покровителем сепаратистов». Биограф Маяковского Бенгт Янгфельдт обронил фразу, что Блюмкин продолжал оставаться под защитой Дзержинского»[346]. Это вполне возможно.

Дзержинский очень сильно переживал в эти два июльских дня путча. Ссылаясь на то, что в ходе расследования он должен выступить как свидетель, он подал в отставку. Его обязанности председателя ВЧК до 22 августа исполнял Яков Петерс.

Вскоре после этого произошло чудовищное событие. В ночь с 16 на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге убита царская семья. Кто был инициатором этой резни? Одни утверждают, что Уральский областной совет. Другие – что приказ пришел из Москвы, если не от Ленина, то наверняка от Свердлова, у которого были очень близкие контакты с лидерами Уральского совета и ЧК. И тот факт, что этот город в 1924 году переименовали в Свердловск, может также наводить на некоторые размышления. Но есть и германский след. В апреле 1918 года император Вильгельм II написал на полях просмотренных документов, касающихся Ленина “Кончается”. И приказал послу Мирбаху привезти в Москву свергнутого царя, чтобы тот поставил подпись под брестским договором. В случае нового переворота и возвращения царя на трон договор с его подписью оставался бы незыблемым. Свердлов любезно обещал послу привезти Николая II в столицу – после чего приказал своим людям перевезти царскую семью вглубь Сибири, в Екатеринбург. Это окончательно решило ее судьбу. То есть все-таки Свердлов? [347] Как сам Дзержинский отнесся к этому преступлению – неизвестно. В эти июльские дни он не исполнял свою должность, поэтому со всей очевидностью не мог отдать приказ на эту кровавую расправу.

Конец лета 1918 года приносит очередные потрясения. 30 августа эсер Леонид Каннигиссер убивает начальника петроградской ЧК Моисея Урицкого. Вечером того же дня на заводе Михельсона пули настигают Ленина, он серьезно ранен. Схвачена виновница покушения – тридцатилетняя Фанни Каплан. Ее записали как правую эсерку, хотя она принадлежала, и то

всего три года, к анархистам-коммунистам. Почти совсем слепая после взрыва бомбы в 1906 году– она добровольно признается в покушении. 3 сентября ее расстреляет лично комендант Кремля Павел Малков. (Потом ее труп он будет неумело пытаться сжечь в кремлевском саду. Увидев это, поэт Демьян Бедный упадет в обморок)[348].

Первого сентября 1918 года на страницах газеты «Известия» Дзержинский заявляет: «Преступная авантюра эсеров, белогвардейцев и псевдосоциалистов велит нам ответить врагам рабочего класса массовым террором». На следующий день ВЦИК принимает решение: «На белый террор врагов рабоче-крестьянской власти рабочие и крестьяне ответят массовым красным террором». В Петрограде расстреляно 512 человек, еще столько же взято в заложники. Список их фамилий под названием *Ответ на белый террор* опубликован в «Красной Газете». 5 сентября Совет народных комиссаров постановляет: «Необходимо оградить Советскую Республику от классовых врагов путем изоляции их в концентрационных лагерях». Это начало новой системы – ГУЛАГа (хотя само название системы, Главное управление лагерей, появится только в 1930 году). Дзержинский рассылает своим подразделениям директиву: «ВЧК полностью самостоятельна в проведении обысков, арестов, казней – с представлением потом донесения в Совнарком и ВЦИК»[349].

Теперь насилие становится акушеркой истории. Россию охватывают три цвета: красный, белый и зеленый. Это цвета трех терроров.

XVIII. И каждый день обиды множит. Террор

Мы не ведем войну против личностей. Мы уничтожаем буржуазию как класс. Во время следствия мы не ищем доказательств, что обвиняемый словами и делами действовал против Советской власти. Первые вопросы, которые следует задать, звучат так: К какому классу принадлежит? Каково его происхождение? Какое у него образование и профессия? Именно эти вопросы должны решить судьбу обвиняемого. В этом значение и суть красного террора[350].

Это Мартин Лацис, заместитель Дзержинского в ВЧК. Он первым в ноябре 1918 года на страницах «Красного Террора» – журнала, образованного в связи с усилением репрессий – назвал террор в исполнении большевиков по имени. Но его указания ужаснули даже Ленина. Он вызвал Лациса на ковер и велел отказаться от этих слов. Он почувствовал в них признаки геноцида – хотя в то время такого термина еще не было. А в ленинской концепции доктрины геноцида не было. В его представлении, красный террор должен ликвидировать единицы, чтобы устрашить тысячи. Несмотря на военное положение, творец диктатуры пролетариата все еще рассчитывал на силу примера. Но единичный пример с каждым месяцем все больше приобретал массовый характер. С сентября по декабрь 1918 года, то есть в первую волну красного террора, зарегистрировано 3753 казни (на 6300 за весь год), в том числе в сентябре 2600. Больше всего приговоров было приведено в исполнение в Петрограде, Кронштадте и Москве[351]. Главным поводом для усиления террора было покушение на Ленина, который, узнав об этом, стал протестовать. Он считал, что красный террор должен бороться с контрреволюцией, а не мстить.

Репрессии в больших городах и в провинции существенно разнились. В крупных конгломератах, как Петроград и Москва, еще был какой-то шанс на соответствующий уровень допроса, на справедливое рассмотрение дела и на оправдательный приговор в случае отсутствия доказательств. Примером могут быть свидетельства Штефана Шпингера, которого из-за беглого знания немецкого приняли за шпиона, арестовали на московском вокзале и доставили на Лубянку.

Следственная тюрьма на Лубянке переполнена. По слухам в тюрьмах находится несколько десятков тысяч человек, арестованных после покушения на В.И.Ленина. Ежедневно утром

читаю в газете, которая доходит до нас, о расстрелянных по приговору Коллегии ЧК. (…) Ежедневно вечером к нам заходит человек, называемый заключенными «комиссаром смерти», по фамилии Иванов в сопровождении двух красноармейцев и выкрикивает фамилии. Некоторым он говорит, что не надо забирать вещи, они уже не понадобятся – эти в камеру не возвращаются.

Проходили недели– и ничего. Шпингер подсчитал: «… если бы даже сто следователей работали по 10 часов ежедневно, уделяя каждому заключенному 10 минут, то шанс, что мое дело рассмотрят в ближайшие месяцы – ничтожен»[352]. Но им занялись через несколько недель. Кто-то позвонил сверху и… Шпингера освободили.

Масштабы арестов были огромны, и в то же время они были совершенно случайными. В тюрьмах ЧК можно было увидеть весь срез советского общества: царских офицеров, бандитов, анархистов, купцов, чиновников, учителей, попов, университетских профессоров, проституток и детей. Якуб Ханецкий (коллега Феликса по СДКПиЛ) описал историю тринадцатилетнего мальчика, арестованного людьми Дзержинского за попытку воспользоваться фальшивым банковским чеком. Чек изготовил его старший брат, чтобы помочь голодающей семье, в том числе матери с маленьким ребенком. Ханецкий видел всю абсурдность ситуации, быть может Дзержинский тоже ее увидел бы – но его чекисты уже этого не замечали. Механизм заключения под арест действовал по жесткой бюрократической квалификации, результатом которой была еще большая жесткость системы. Ленин, например, направил такую телеграмму в адрес областной ЧК в Курске:

> Немедленно арестовать Когана, члена курского Управления закупок, за то, что не оказал помощь 120 голодающим рабочим Москвы и отправил их с пустыми руками. Опубликовать это в газетах и листовках, чтобы все работники управлений закупок знали, что за формальное и бюрократическое отношение к делу, за неумение оказать помощь голодающим рабочим репрессии будут суровыми – вплоть до расстрела[353].

Намерения, конечно, были добрые, результат – никакой. Предупрежденный о возможности расстрела сотрудник управления закупок отнюдь не становился хорошим работником. Террор сверху деморализовал его еще больше.

Подобным образом дело обстояло и с непосредственными приказами Дзержинского. В апреле 1919 года некий И.Павлов

стал регулярно присылать в ВЧК доносы на знакомых ему людей. Эти доносы оказались обычной клеветой. Шеф Лубянки на коллегии ВЧК предложил расстрелять Павлова за злостную провокацию, в результате которой было арестовано много невинных людей. И опять: намерения добрые, результат – никакой. Такие решения вызывали в обществе чувство разрушения системы ценностей. С одной стороны, создавался климат дозволенности, даже побуждения к доносительству, понимаемому как гражданский долг – что само по себе является деморализующим фактором и в экстремальной ситуации высвобождает в человеке самые низменные инстинкты и естественный рефлекс выжить любой ценой. С другой же стороны, строгость наказания была несоизмерима с совершенным преступлением. Строгое наказание должно было служить предостережением для других – а на самом деле способствовало еще более негативному поведению, результатом чего было еще большее ужесточение репрессий. Круг насилия замыкался. А потом с этими толпами арестованных надо было что-то делать: выпускать, сажать в тюрьмы, отправлять в концлагеря, ставить к стенке. У судебной машины не было достаточной перерабатывающей мощности; приговоры выносились поспешно, поверхностно и несправедливо.

В провинции царил еще больший балаган и еще большее своеволие чекистов. Там, на местах доходило до зверств, которые создавали самый черный имидж большевистским палачам.

В Евпатории, маленьком городке на Черном море местные коммунистические руководители устроили нечто невообразимое. Секретарь партии распорядился составить списки бывших офицеров царской армии и представителей «буржуазии». Кровавую расправу он поручил расквартированным в Евпатории матросам. И пошел разгул зверств. Матросы топили свои жертвы в море, отрезали им уши, носы и гениталии перед тем, как умертвить. Тут и там наигрывал оркестр, когда чекисты убивали людей, – пишет немецкий историк Йорг Баберовски. – Везде, где чекисты уничтожали классового врага во имя революции, чинились ужасающие, чудовищные злодеяния, уже полностью заслоняющие большевистскую драматургию. Жертвы бросали в кипящую воду, с живых сдирали кожу, сажали на кол, заживо сжигали или закапывали в могилы, нагими выводили на мороз и поливали водой до тех пор, пока они не превращались в ледяные статуи[354].

Большевики проводили также этнические погромы. Так было, например, в Баку в марте 1918 года, где погибли тысячи азербайджанцев. А под антисемитскими лозунгами были

устроены погромы, например, в Новгороде Северском, Глухове, Екатеринославле, Симферополе.

Красный террор 1918–1921 годов поглотил в сумме около 50 тысяч жертв, о чем сообщала сама Лубянка. К официальным данным, полученным из российских архивов, следует добавить огромное количество незарегистрированных злоупотреблений, казней и расправ (подчеркнув, что самая кровавая резня произошла в Крыму и в Донской области). В число 50 тысяч не входят умершие в тюрьмах и лагерях, а также погибшие и умершие от ран, полученных в боях с воинскими формированиями. Можно предположить, что вместе с ними это число составило бы около 200 тысяч человек. Это ужасающий результат, но даже если мы добавим еще 50 тысяч, все равно не получим тех «миллионов» жертв красного террора, о которых слышим и читаем в разных источниках. Арестовано в этот период было 400 тысяч человек.

Можно также сопоставить работу чекистских «троек» с действиями НКВД десятью-двадцатью годами позже. В годы Гражданской войны тройки рассматривали по несколько десятков дел ежедневно, вынося самые разные приговоры. В годы Великой чистки, когда не было военного положения, то есть высшей необходимости, Андрей Вышинский и Николай Ежов занимались каждый день тысячей, а то и двумя тысячами дел, которые, как правило, заканчивались смертным приговором.

ВЧК во главе с Дзержинским не скрывала своих решений. Она открыто сообщала, кого ей пришлось арестовать, а кого расстрелять. Ленин заверял, что большевики расправляются со всеми буржуями, кулаками, священниками и интеллигенцией. Если бы творец диктатуры пролетариата выполнил свои обещания, то в сталинские времена в тюрьмы осталось бы сажать только рабочих и крестьян. Но он их не выполнил. Весной 1935 года только в Ленинграде НКВД арестовал 21 бывшего князя, 38 баронов и 9 графов. В первые послереволюционные годы людей из высших сфер могла еще спасти декларация лояльности. Достаточно было признать новую власть, чтобы не только сохранить жизнь, но также в меру нормально работать, притом под собственной фамилией. В тридцатые годы, несмотря на лояльность, а часто за чрезмерно усердную ее демонстрацию – ставили к стенке.

Сегодня помнят о жертвах только красного террора. А тем временем: «Наш белый террор был сильнее красного террора», – гордо заявлял Антон Деникин, командующий Добровольческой армией.

Число жертв у белых такое же, если не больше, чем у

большевиков. Точное количество подсчитать невозможно, так как никто не вел официальную статистику. Жестокость белых вытекала из многовековых отношений господин – раб, из пренебрежительного отношения к народу-сброду, а также из бытующей в прежних царских армиях, поддерживаемых Антантой, ментальности времен Столыпина и Охранки.

Рой Медведев, оппозиционный в Советском Союзе историк утверждает, что «органы белой власти ликвидировали намного больше коммунистов, комсомольцев, взятых в плен красноармейцев, чем органы ВЧК ликвидировали врагов советской власти и случайных людей». Они тоже «применяли индивидуальный и массовый террор против населения (…), устраивали казни или массовые порки целых деревень», – добавляет американский историк Моше Левин. Но им не хватало тактики и обычной логики – белые командиры не хотели понять, что они получили бы в народе больше поддержки, если бы смогли привлечь крестьян на свою сторону. Поэтому крестьянство выбирало новый строй, несмотря на политику красных, несмотря на распространяемое ими новое политическое учение, переоценивающее все его, крестьянства, мировоззрение, несмотря на конфискацию зерна и закрытие церквей.

Кто это сказал? «Мы должны спасти Россию, даже если понадобится поджечь половину ее и пролить кровь трех четвертых русских». Создатель Добровольческой армии Лавр Корнилов. Тот самый, который раньше был в демократическом правительстве Керенского. «Арестовывать рабочих – это ошибка. Приказываю их вешать или расстреливать» – а это мысль генерала Петра Краснова, освобожденного большевиками, когда дал честное слово, что больше не будет выступать против них. А другой генерал, Сергей Розанов, командовавший по поручению адмирала Александра Колчака (который объявил себя Верховным правителем Государства Российского) частями белых в Сибири, приказывал: «Деревни, жители которых встретили правительственные войска с оружием в руках – сжигать, всех взрослых мужиков расстреливать; имущество, лошадей, повозки, зерно и т. д. – забирать в пользу государства».

Это верхушка. Инициативы снизу были более изощренными. Стали преданием красные пытки типа осмотреть ладони, а потом снять «белые перчатки». Белые в этом не уступали красным – они тоже проверяли ладони, только искали под ногтями металлические опилки – знак работы на заводе. Барон Алексей Будберг, военный министр в правительстве Колчака, то есть человек, которого трудно заподозрить в симпатиях к красным, вспоминал:

Дегенераты, приезжающие из отрядов [Калмыкова] похваляются, что во время карательных экспедиций отдавали большевиков на расправу китайцам, предварительно подрезав у пленных сухожилия под коленями («чтобы не сбежали»), хвалятся также, что закапывали большевиков живьем, выстилая дно ям внутренностями, выпотрошенными из [животов] закапываемых («чтобы было мягче лежать»).

Колчаковцы тоже, войдя в деревню, спрашивали женщин: «Ты коммунистка?». Если крестьянка отвечала: «Если муж коммунист, то и я тоже» – отрезали ей груди, искалеченную привязывали к лошадям и волокли, пока не умирала. Монархист Виктор Шульгин, которого тоже трудно относить к почитателям большевиков, рассказывает о таком случае: «на одной хате повесили за руки комиссара, под ним разложили костер и медленно поджаривали… человека. А вокруг пьяная банда монархистов… выла «Боже, царя храни»». А вот как вели себя белые в Крыму: «Сначала нагнали страху на матросов (…), погнали их на набережную, велели выкопать для себя большую яму, а потом подводят к краю и по одному из револьвера. (…) Не поверите, они там шевелились в этой яме как раки, пока их не засыпали. Даже и потом еще земля на этом месте шевелилась»[355]. Этот последний рассказ Г. Виллема напоминает показания свидетелей нацистских преступлений.

Зеленый, или крестьянский, террор считался наиболее стихийным, спонтанным и слабо организованным, но тоже жестоким.

К нему прибегали прежде всего взбунтовавшиеся крестьянские массы, которые в 1917–1921 годах разгулялись по России значительно сильнее и более кроваво, чем легендарные стихийные восстания под предводительством Стеньки Разина и Емельяна Пугачева. Сначала это были массы солдат, возвращающихся или бежавших с фронтов великой войны. Их перемещения начались сразу после начала февральской революции. Фронтовая стихия разливалась, уничтожая буржуев и евреев, грабя усадьбы. Начался также кровавый конфликт между деревенской беднотой и кулаками. Позже эта стихия стала оформляться в более организованные группы. Их возглавляли самозваные атаманы, анархисты или левые эсеры, перешедшие к партизанской борьбе. Лозунгом зеленого террора было: «Бей красных, пока не побелеют, бей белых, пока не покраснеют». Его острие, сначала направленное главным образом против белых, в 1920 году стало поворачиваться против красных, когда крестьяне ощутили на себе жесткую руку голода.

Только в двадцати районах Центральной России во время

гражданской войны вспыхнуло 245 крестьянских восстаний. Самым известным атаманом того времени стал Александр Антонов, харизматичный левый эсер, действовавший на Тамбовщине недалеко от Москвы, главарь так называемой Зеленой армии. Его люди убили около двух тысяч большевиков, используя партизанские набеги. Еще одной территорией, на которой активно действовали бунтовщики, была Украина. Там наибольшую славу снискали два атамана – Семен Петлюра и Нестор Махно. Отряды, подчиненные Петлюре совершили более 500 погромов и иных нападений на еврейское население, а Махно стал легендарным степным пиратом и автором тачанки. Хоть сам батько, как называли Махно, стремился сдерживать зверские поползновения своих людей, тем не менее наиболее деморализованная часть его армии, так называемые раклы, «первыми бежали громить, насиловать, жечь и грабить. Свержение власти, уничтожение тюрем, роспуск полиции – было лишь хорошим предлогом»[356]. Исаак Бабель так писал о казаках: «алчность, удаль, знание дела, революционный энтузиазм, звериная жестокость»[357]. О конфликте в Донской области читаем у Троцкого: «Глубокий антагонизм между казаками и крестьянами отметил особой жестокостью гражданскую войну в южных степях; она проникала здесь в каждую деревню и приводила к вырезанию под корень целых семей»[358]. Истекал кровью и Кавказ, где стихию снизу вызвали прежде всего горцы.

Но жестокость крестьян можно как-то оправдать, ведь их предали те, кто обещал принести им освобождение от господ. Не только не освободили, но во имя новой власти ограбили до последнего зернышка. Проблема хорошо отражает лозунг махновцев: «Мы за большевиков, но против коммунистов». Этот лозунг означал поддержку новой власти при раздаче земли, но решительный протест против конфискации продовольствия, организации колхозов и диктатуры пролетариата. Простой Иван ничего в жизни на знал, кроме насилия над собой, поэтому от него трудно было ожидать возвышенной человечности. Алексей Толстой в *Хождении по мукам* пишет: «… народ бежит с германского фронта, топит офицеров, разрывает на кусочки главного вождя, жжет усадьбы, грабит купцов на железной дороге, выбивая у них из всех мест бриллиантовые серьги». А если у мужика не было оружия, он пускал в ход серп и вилы, линчуя входящих в деревню представителей власти – будь то белые или красные. Ибо веками притесняемый и унижаемый русский народ, «на семьдесят процентов неграмотный, – добавляет Толстой, – не знает, что ему делать со своей ненавистью, мечется в крови, в ужасе»[359].

Гражданская война в России, ее бунты, путчи, террор и жертвы не были специфичны только для этой разрушающейся империи. Что касается масштабов насилия, то ситуация за пределами России и вокруг нее выглядела не намного лучше. Так и Польша не являла собой в этом плане какого-то обособленного анклава справедливости[360].

Хранителем правды с большевистской стороны в период войны с Польшей является выдающийся писатель Исаак Бебель. Описание им зверств, совершаемых Конной армией Буденного – это пример мастерского владения литературой факта. Но так же честно и беспристрастно он пишет и о польской жестокости. «Поляки вошли в город на 3 дня, погром евреев, поотрезали бороды, как обычно, потом собрали 45 евреев на рынке, погнали на бойню, на пытки» – записывает он в *Дневнике 1920*. «Дворника, которому мать [еврейка] оставила на руках младенца – закололи». В Берестечке он недоумевает: «Что за идиотизм. Поляки, наверное, с ума сошли, сами себя этим губят»[361].

С польской стороны Бабеля не было[362]. Но есть разные свидетельства, как, например, дневник Казимира Свитальского, будущего премьера II Речи Посполитой: “Деморализация большевистской армии посредством дезертирства затруднена из-за того, что наши солдаты жестоко и беспощадно убивают пленных”[363]. А будущий полковник Юзеф Бек так вспоминал о боях на Украине в 1918 году, которые велись от имени и по поручению Польской военной организации: «В деревнях мы убивали всех и все сжигали при малейшем намеке на нечестность. Я сам собственноручно давал пример»[364]. И в Седльцах во время польско-большевистской войны проводились казни гражданских лиц, заподозренных в симпатии к большевикам: «В течение нескольких недель эти казни проводились два раза в день, причем за одну экзекуцию казнили несколько человек»[365] – описывал Зигмунт Михаловский, редактор газеты «Глос Подляся». К этому следует добавить регулярные еврейские погромы, в которых с ноября 1918 по декабрь 1919 года от польских рук на Кресах погибло несколько сотен евреев. Во время войны 1920 года счет шел уже на тысячи – самую кровавую расправу учинили в Ровно и Тетиеве. Бывший легионер Владислав Броневский пишет в *Дневнике* о разбое, избиении и насилии, чинимом над крестьянами, употребляя выражение: «уланы как бандиты».

Ужасные условия были в лагерях русских военнопленных. Те, которые попали в плен летом, в одном белье, когда пришла зима, так и остались без теплой одежды, потому что никто им ее не дал. На малой, замкнутой и переполненной людьми территории

распространялись эпидемии, главным образом, брюшного тифа, холеры, испанки. «В Стшалкове, где находилось от 25 до 37 тысяч военнопленных, умерло 9 тысяч, 2 тысячи – в Тихоли, 1000 – в Бресте, ок. 6 тысяч в других лагерях. Всего 18 тысяч»[366] – сообщает историк Збигнев Карпус. А в тяжелых условиях, не во всем зависящих от начальников лагерей – ведь молодому польскому государству и без того жилось не сладко – временами сказывалось и их чрезмерное усердие. «Комендант обратился к нам со словами: «Вы, большевики, хотели забрать у нас наши земли – хорошо, мы дадим вам землю. Убивать вас я не имею права, но буду вас так кормить, что сами сдохнете» – вспоминал бывший советский узник лагеря в Брест-Литовске. – 13 дней нам не давали хлеба, а на 14-й день, а это был уже конец августа, дали около 4 фунтов хлеба, но уже сильно подгнившего, заплесневелого»[367].

Революционные движения и связанный с ними террор охватили тогда многие европейские страны, так как лихорадка изменений государственного и общественного устройства распространилась почти на весь континент. Больше всего жертв борьба за власть унесла в Финляндии в 1918 году – в трехмиллионной стране жертв красного террора было 2 тысячи, а убитых и умерших в тюрьмах в результате белого террора – 25 тысяч! Кровавую жатву собрала коммунистическая революция в Венгрии и белый террор, развязанный после свержения Венгерской республики Советов в 1919 году – полтысячи жертв красного террора и 5 тысяч белого[368]. Революционные волнения прокатились по Германии, а самыми известными их жертвами стали Роза Люксембург, Карл Либкнехт и Леон Йогихес-Тышка. Эта волна затронула также Эстонию, Латвию, Италию, Болгарию, Ирландию. Во всех этих странах попытки революции были подавлены, и сделано это было отнюдь не в бархатных рукавичках. Доходило до кровопролитных столкновений – со значительно большим числом смертельных жертв среди коммунистов.

Настроения в Европе того времени, истерзанной и деморализованной мировой войной, были далеки от гуманных. Особенно в отношении кого-то, кто был признан политическим врагом. «Парижский суд присяжных признает невиновным убийцу Жана Жореса! [известного французского социалиста]. Человек, который задел Жоржа Клемансо [премьер-министра Франции], был приговорен к смерти»[369] – возмущался лауреат Нобелевской премии писатель Ромен Роллан. А философ и математик Бертран Рассел писал: «… к преследованиям за взгляды терпимо относятся во всех странах. В Швейцарии не только допустимо убить

коммуниста, но, кроме того, убийца получает условный приговор по следующему преступлению (…). Такое положение вещей вызывает возмущение только в Советской России»[370]. Расчет простой – жизнь одного некоммуниста стоит столько, сколько жизнь, по крайней мере, двух коммунистов.

По выражению Збигнева Херберта, богиня истории Клио – девка чрезвычайно вульгарная – это означает, что, в случае истории, простое разделение на чернь и бель относится к сфере только лишь благих пожеланий, потому что никто здесь не способен сохранить девственность. «И каждый день обиды множит» – как писал упоенный «святой стихией» революции Александр Блок[371]. При попытке понять Россию первых декад XX века нельзя недооценивать тот факт, что ее душила сначала внешняя война, потом внутренняя, приправленные голодом и эпидемиями. Все это вместе взятое не позволяло найти в себе силы на гуманизм, даже при самых благих намерениях. А благих намерений по обеим сторонам было не много. Человек начала XX века был отмечен пятном насилия. В зависимости от исторических условий, в которых ему дано было жить, он пробуждал эти инстинкты в большей или меньшей степени.

В гражданской войне в России окончательную победу одержали красные – но не с помощью самых жестоких репрессий. Они выиграли, потому что были хорошо организованы – в отличие от белых, командиры которых не смогли наладить взаимодействия друг с другом.

XIX. Добрый палач. Представитель власти

На письменном столе – фотография сына Ясика, на стене – обрамленная бархатом фотография Розы Люксембург. Кроме письменного стола – стул, за ширмой – койка, прикрытая военным одеялом, за окном – вид на закрытый двор. На стене лозунг: «Каждая минута ценна», а рядом – этажерка с книгами. Кабинет Дзержинского на Лубянке выглядел как неотапливаемая тюремная камера. Он практически его не покидал. Сотрудники беспокоились о состоянии его здоровья, Ленин потребовал отправить его в отпуск, на отдых. Он харкал кровью, прикуривал папиросу от папиросы, ел черный хлеб, запивая его мутным чаем. Легендой стала история, когда в 1919 году, в период голода, он навестил сестру Ядвигу, а та пожарила изголодавшемуся брату оладьи. На вопрос, откуда мука, сестра ответила, что купила на черном рынке, что немедленно вызвало негодование Феликса: «Я борюсь с ними днем и ночью, а ты…». Он схватил тарелку и выбросил ее в окно. «Этот инцидент не вызывает симпатию к Дзержинскому. Мог бы оладьи оставить сестре… Но он всегда был искренен сверх меры» – комментирует годы спустя российский журналист Отто Лацис[372].

Это тогда к Дзержинскому пристало прозвище «Железный», которое дали ему ближайшие сотрудники – не в связи с железной расправой с контрреволюцией, а в связи с аскетичным образом жизни. Прозвище было связано и с его неприятием культа личности. Когда в одном из кабинетов на Лубянке он увидел свой портрет, немедленно велел его снять, после чего направил по этому поводу письмо во все подчиненные ему подразделения. Он разрешал вывешивать только коллективные фотографии. Он не хотел также, чтобы его именем называли предприятия.

Жене он написал только в марте 1918 года, через полгода после завоевания большевиками власти: «Гражданская война должна разгореться до небывалых размеров. Я выдвинут на пост передовой линии огня, и моя воля – бороться и смотреть открытыми глазами на всю опасность грозного положения и самому быть беспощадным, чтобы как верный пес разорвать вора». Он должен был знать, что о нем говорят в Западной Европе, потому что добавил: «А обо мне у тебя, наверное, искаженные вести из прессы, и, быть может, уже не летит так мысль твоя ко мне… Мысль моя заставляет меня быть беспощадным, и во мне твердая воля идти за мыслью до конца»[373].

В августе 1921 года расстреляли Николая Гумилева, мужа

Анны Ахматовой. Он был, конечно, против большевиков, но не участвовал в заговоре Петроградской боевой организации Владимира Таганцева, за что был осужден. Гумилев стал первым писателем, расстрелянным ВЧК. Интеллектуальная элита страны призывала Дзержинского помиловать Гумилева, аргументируя это тем, что нельзя убивать одного из крупнейших российских поэтов. Он, по-видимому, им ответил, что нельзя делать исключение для поэта, если расстреливают всех других. Да, конечно, это коварное понятие справедливости. Но Дзержинский делал исключения, особенно для поляков.

Известен случай, произошедший с Болеславом Венява-Длугошовским, который, будучи членом Польской военной организации, поехал в Москву на встречу с явно антибольшевистской организацией Бориса Савинкова. Феликс лично его допрашивал и отпустил на свободу, вручив ему, однако, волчий билет и велев немедленно вернуться в Польшу. В этом освобождении определенную роль сыграл адвокат Леон Беренсон, которому раньше приходилось быть защитником социалистов на политических процессах. Он защищал и Дзержинского, поэтому теперь мог хлопотать перед ним о снисхождении к полякам.

Генеральская жена Ядвига Соснковская тоже вспоминает: «… еще перед нашим возвращением в Польшу, 5 ноября 1918 года, мамочка ходила к нему, когда он был шефом ВЧК. Речь шла об освобождении того или иного поляка, который, по ее мнению, был несправедливо брошен в тюрьму или осужден. Феликс не вникал в суть их дел, ему хотелось просто услужить мамочке, и он освобождал поляков»[374].

Давид Якубовский, биограф Мархлевского, приводит в своем блоге несколько ценных воспоминаний, таких как, например, воспоминание Ванды Богуславской-Драминской о ее дяде, арестованном в Киеве:

> Когда Дзержинский делил заключенных на десятки, дядя как раз оказался десятым. Возможно, черты лица у него были не очень русские, во всяком случае Дзержинский спросил: – Откуда ты? – А я из Польши, математик. – Ну, раз математик, то иди туда, здесь налево, здесь направо, там длинный коридор, потом дверь и выходи, и иди! – И оказалось, что это выход на свободу[375].

Точно так же вспоминал и один ксендз из Белостока:

> А я каждый день молюсь за Дзержинского, потому

что он мне жизнь спас. Когда я сидел в Петрограде в тюрьме вместе с группой из 40 ксендзов, и мы ждали смерти, потому что тогда всех расстреливали – однажды вечером пришел Дзержинский и сказал: Выходите, черные вороны. И освободил нас[376].

Российский историк Анатолий Латышев пытался в свое время опровергнуть тезис о том, что Дзержинский мягко обходился с поляками. В начале девяностых он один из немногих получил разрешение достаточно свободно работать в архивах ФСБ. Там он нашел письмо шефа Лубянки своему заместителю Ксенофонтову по делу католических священников.

Согласно имеющимся у меня данным, – писал Дзержинский, – ксендзы играют большую роль в организации шпионажа и заговоров. Их необходимо обезвредить, с этой целью предлагаю издать циркуляр для всех губ чека [губернские отделы ВЧК], чтобы всех ксендзов занести в картотеки и взять под наблюдение. Кроме того, так как ксендзы обделывают свои дела во время исповеди, разжигая фанатизм католиков, поэтому следует иметь своих женщин-католичек (но неверующих), которых послать на исповедь и этим путем проникнуть в конспирацию ксендзов. Надо [также] подумать об организации такой разведки. Это дело необходимо согласовать со специальным отделом[377].

Оценивая этот документ, следует обратить внимание на его дату. Он был написан 1 июля 1920 года, то есть тогда, когда враждебность между Польшей и Советской Россией достигла зенита. Шла война, и трудно было ожидать от начальника советской службы безопасности особого отношения к польским священникам. То, что он мог себе позволить два года назад, сейчас было невозможным[378]. Польская политическая полиция по другую сторону границы тоже теснее сплотила свои ряды.

Латышев старается также показать, что легенда об аскетичном образе жизни Дзержинского – это искажение правды. Он пишет: «… этот утвердившийся образ революционного аскета портят опубликованные недавно документы из бывшего партийного архива[379] (…) – меню председателя ВЧК: Понедельник – свежая лососина, капуста по-польски. Вторник – грибная солянка, телячьи котлеты, шпинат с яйцом. Среда – суп-пюре из спаржи (…) брюссельская капуста. Четверг – (…) зелень, горошек»[380].

Мы ничего не знаем о дате этого документа. Правда, слова «председатель ВЧК» могли бы указывать на то, что речь идет о периоде с декабря 1917 по декабрь 1921 года. Тем временем, Мартин Лацис пишет, что Дзержинский ел то же, что и другие

сотрудники ВЧК, то есть в 1919–1920 годах по преимуществу конину. И что курьер Беленький пытался иногда приготовить что-нибудь получше, например, жареную картошку, за что был обруган шефом, который не позволял относиться к себе каким-то исключительным образом. Поэтому, чтобы он лучше питался, прибегали к хитрости, говоря, что все получили на обед то же, что и он. Процитированное Латышевым *меню* могло быть такой хитростью, хотя это малоправдоподобно. Дзержинский прекрасно ориентировался в ситуации с продовольствием и не поверил бы, что во время гражданской войны все его сотрудники питались телячьими котлетами и свежей лососиной. И, наверное, не случайно этот документ оказался в партийном архиве. Принимая во внимание старания Сталина, Ежова и Берии[381] опорочить первого чекиста, вполне серьезно можно предположить, что это была провокационная фальшивка.

Но вернемся к польскому вопросу. В июне 1920 года в России был арестован главный резидент польской разведки Игнатий Добжинский. Его допрашивал Артур Артузов, занимавшийся в ВЧК вопросами контрразведки. Добжинский критически отзывался о политике Пилсудского и позитивно – о Ленине. Артузову удалось его убедить, что Пилсудский предал социалистические идеалы. Лубянка получила его для революции, предоставив работу в разведке и новую фамилию: Сосновский. Но людям из его шпионской сети было предоставлено право выбора: служба в ВЧК или возвращение в Польшу. Гарантии безопасности дал им лично Дзержинский. Хотя тех, кто не хотел сотрудничать, проще было бы расстрелять.

О многом говорит и такой случай: весной 1923 года руководитель советской разведывательной резидентуры в Варшаве Мечислав Логановский готовил покушение на Юзефа Пилсудского. Планировалось, что коммунистические боевики, переодетые социал-демократическими студентами, ночью нападут на виллу в Сулеювке и совершат убийство Начальника государства. Логановский помнил, какое замешательство на польской политической сцене царило после смерти Нарутовича, и теперь рассчитывал на подобную реакцию. Узнав об этом плане, Дзержинский категорически запретил его исполнять. Немалую роль в принятии такого решения сыграл, возможно, личный фактор. Именно в это время любимый племянник Феликса Тонио женился на Ванде Юхневичувне, племяннице Пилсудского. Молодые бывали в Сулеювке, даже жили там какое-то время, о чем Дзержинский знал, так как специальные люди постоянно информировали его о судьбе близких, с которыми он уже не мог поддерживать контакты. Но Григорий Беседовский, в то время

советский дипломат, настаивает, что начальник Лубянки остановил покушение, будучи категорическим противником индивидуального террора. Это вполне возможно.

Случаи помилования поляков председателем ВЧК имели бы для него, по всей видимости, серьезные последствия. Сразу после смерти Ленина по поручению Сталина стали собирать доказательства агентурной деятельности Дзержинского, о чем в тридцатые годы вспоминал Ежов[382]. Но довести до конца это дело не удалось – помешала внезапная смерть будущего обвиняемого.

Осуществляя террор, Дзержинский при этом спасал не только поляков. В 1920 году Ленин по просьбе Максима Горького приказал ему лично заняться делом некоего Воробьева, который укрывал у себя эсеров. Феликс его освободил, посчитав, что делал он это по доброте душевной, а не по политическим мотивам[383]. В свою очередь, когда петроградская ЧК по доносу арестовала дочь Льва Толстого Анну и письмо по этому вопросу Дзержинскому написал Владимир Чертков, Феликс также приказал: освободить. Историку Сергею Мельгунову, начиная с дня покушения на Ленина, чекисты не давали покоя. До 1922 года его арестовывали пять раз. Но всегда освобождали, в том числе и по личному приказу начальника Лубянки.

Сам Дзержинский в марте 1918 года инструктирует чекистов:

> Все, кому дано право вести следствие, лишать человека свободы и сажать его в тюрьму, должны предупредительно относиться к арестованным и подследственным. Будьте с ними даже более вежливыми, чем даже с близким человеком, помня, что лишенный свободы не может защищаться и что он находится в нашей власти. Каждый должен помнить, что он – представитель власти и что каждый его крик, грубость, неделикатность, невежливость – это пятно, которое он оставляет на этой власти[384].

Он также говорил: «Лучше тысячу раз ошибиться в направлении либерализма, чем приговорить невинного к ссылке, из которой он вернется активным врагом»[385]. В январе 1920 года он вносит предложение в Центральный исполнительный комитет и Совет народных комиссаров об отмене смертной казни. Ее быстро вернули, но в тот момент, когда фронт гражданской войны вновь стал затихать, он издает приказ № 10 (8 января 1921 года), в котором говорилось: «При помощи старых методов, массовых арестов и репрессий (…) в изменившихся условиях ВЧК будет лишь лить воду на мельницу контрреволюции, умножая число недовольных»[386]. То есть он прекрасно осознавал, что

репрессии деморализуют, и когда была возможность от них отказаться – он отказывался. Человек с психопатическими наклонностями не мог делать подобные выводы[387].

Арестованный в годы Великой чистки и впоследствии расстрелянный чекист Артур Артузов в 1937 году написал письмо начальнику НКВД Николаю Ежову:

> Я никогда не нарушал наказа Дзержинского – не врать и не скрывать своей вины. Он научил меня, что при поражениях ругать надо только за то, что не доделано, скрыто от сотрудников. Как умный хирург, скальпелем своего диалектического анализа он исследовал неудачу, а сотруднику, с которым неудача случилась, помогал как ассистент, знающий обстоятельства и детали болезни. Сотрудники не боялись, в отличие от Ягоды, говорить ему о поражениях и не боялись также пойти на практический риск в работе, зная, что за это их не высекут[388].

И это не единичное мнение.

«В то время погибло много людей, иногда невинных, – вспоминал Ежи Якубовский, польский врач Кремлевской больницы, который лично знал Дзержинского. – Помню, скольких людей он освободил, если по счастливому стечению обстоятельств их дела попадали к нему»[389]. Например, выдающийся русский философ Николай Бердяев. Ночью 19 февраля 1920 года его арестовали по приказу Менжинского – мыслитель подозревался в членстве в контрреволюционном Тактическом центре, преследовавшем цель восстановления монархии. Пробыв несколько дней в камере на Лубянке, Бердяев был лично допрошен Феликсом в присутствии Менжинского и Каменева. «Дзержинский произвел на меня впечатление человека с абсолютно прочными убеждениями и искреннего, – вспоминал философ в автобиографии. – Фанатика. Было в нем что-то необычайное… В прошлом он хотел стать католическим монахом, и свою фанатичную веру перенес на коммунизм».

Бердяев смело вступает с Дзержинским в острую полемику мировоззренческого характера. Он объясняет, какие предпосылки – религиозные, философские и моральные – не позволяют ему стать коммунистом. Он утверждает, что:

> революция не является носителем творческого начала – она представляет собой лишь отрицание, она продукт рабского сознания. А социализм является ничем иным, как только псевдорелигией, демонизмом, который

> все жизненные проблемы сводит к куску хлеба, порождает убогий и пропитанный ненавистью филистерский менталитет, внедряет принудительное равенство в условиях нищеты духа и тела.

Его слова были выслушаны с вниманием. Иногда Дзержинский вставлял замечания типа: «Можно быть материалистом в теории и идеалистом в жизни, или, наоборот, идеалистом в теории и материалистом в жизни». Когда же Феликс стал расспрашивать о конкретных людях, философ отвечать отказался. «Сейчас я вас освобожу, – вдруг заявил Дзержинский. – Но вы не можете уезжать из Москвы без разрешения». Потом он повернулся к Менжинскому и велел отвезти гражданина Бердяева на автомобиле, так как уже поздно, а в городе царит бандитизм. Автомобиля в данный момент не было, поэтому философа отвезли на чекистском мотоцикле.

Виталий Шенталинский в *Тайнах Лубянки* так комментирует поступок председателя ВЧК:

> Что спасло Бердяева? Бескомпромиссность и искренность? А может Дзержинский убедился, что его узник не имеет на совести никаких особых грехов и оказался в ЧК по ошибке? (…) А может фанатику революции внушил уважение такой же, как у него самого, бескорыстный фанатизм арестанта, только касающийся другой веры?[390]

По-видимому, сыграла роль вся приведенная выше аргументация. Но и что-то еще. Можно смело сказать, что Дзержинский своей личностью идеально вписывался в дефиницию «банальности зла» Ханны Арендт. Будучи чиновником, он подписывал приговоры, потому что имел дело с цифрами на бумаге и идеологическим посылом в сердце. В момент непосредственного контакта с допрашиваемым в нем пробуждалась человечность. Адольф Эйхман в своем последнем слове в зале суда заявил – как записала Арендт – что: «его вина берется от того, что он был послушным, а ведь послушание расценивается как достоинство. Достоинствами, которыми он располагал, злоупотребили нацистские предводители»[391]. В принципе, обвиненный в геноциде Дзержинский мог бы избрать такую же линию защиты. Он был послушен идее, был послушен Ленину. Является ли это для него оправданием? Нет.

Легенда о Феликсе Дзержинском – «карающем мече революции» и «палаче России» – быстро облетела всю Европу, а так как Запад чувствовал угрозу со стороны революционных

движений, он украшал эту легенду еще более страшными перышками: людей пугали жидокоммунами и азиатским невежеством, что должно было эффективно отбить желание заниматься революцией у ее возможных сторонников в культурной части континента. Ведь негативная пропаганда была оружием не только большевиков.

Сомнения в том, как трактовать проводимую Лениным политику, имели даже сами социал-демократы. Роза Люксембург написала критическую статью *Русская революция*, в которой утверждала, что основанное на терроре большевистское правление является противоположностью диктатуры пролетариата. Карл Радек так описал свою последнюю встречу с ней в 1918 году:

Дискуссия развернулась главным образом вокруг террора. Розе больно было осознавать, что во главе ВЧК стоит Дзержинский. Ведь нас террором не задушили. Как можно возлагать надежды на террор? «Но при помощи террора, – отвечаю я ей, – при помощи преследований нас отбросили на много лет назад. Мы делаем ставку на мировую революцию; надо выиграть по крайней мере на несколько лет. Как тут отрицать значение террора? Более того, террор бессилен в отношении молодого класса, являющегося будущим общественного развития и поэтому полного запала, самоотверженности. Иначе дело обстоит с классом, приговоренным историей к смерти и имеющим на своем счету преступление мировой войны». Либкнехт меня горячо поддерживает. Роза говорит: «Может вы и правы. Но как Юзеф может быть таким жестоким?». Тышка смеется: «Если будет надо, то и ты сможешь»[392].

Критика Розы доходила до Феликса. Была ли у него по этому поводу моральная дилемма? Наверняка.

Йорг Баберовски пишет:

> Немецкий экспрессионист Артур Холитшер, который в 1920 году выехал в Россию, чтобы напитаться коммунизмом, описал «Железного Феликса» как человека, который творил «дела ужасные, но обязательно необходимые, выбрасывая человеческий мусор. Наверное, Дзержинский даже не понял бы упрека в том, что он – лишенный совести убийца[393].

Нет, он это прекрасно понимал. Взять хотя бы его последнее письмо Альдоне. Весной 1919 года Красная Армия вступает в Вильно и создает на Виленщине советскую республику. Феликс пользуется возможностью и едет в Дзержиново, чтобы встретиться с Альдоной. Но сестра не приезжает в родную усадьбу, которая

автоматически воспринимается новой властью как буржуазное имущество.

> Посылаю тебе вещи из Дзержиново, – извещает он сестру в этом письме, датированном 15 апреля. – Очень массивные ценности были конфискованы согласно нашим законам… Знаю, что эта конфискация фамильных ценностей огорчит тебя, но я не мог иначе поступить – таков у нас закон о золоте[394].

Подход Феликса к семейному имуществу, в принципе, не изменился, но диаметрально изменился строй. В этом письме он ведет с Альдоной очередной идеологический бой, пытаясь объяснить ей, что он не красный палач.

> Не знаю, о чем писать, с чего начать после такой долгой разлуки, – пишет он неуверенной рукой. – Объяснить тебе всего я в письме не могу – разные люди понимают по-разному (…) Одну правду я могу сказать тебе – я остался таким же, каким и был. Чувствую, что ты не можешь примириться с мыслью, что это я – и не можешь понять, зная меня. (…) Мне трудно писать. Трудно доказывать. Ты видишь только то, что есть и о чем слышишь, может, в сгущенных красках. Ты – зритель и жертва молоха войны. (…) Альдона моя, ты не поймешь меня (…). Если б ты видела, как я живу, если б ты мне взглянула в глаза – ты бы поняла, вернее, почувствовала, что я остался таким же, как и раньше.

Видимо она упрекнула его в советизации Виленщины, потому что он ей отвечает: «Из-под ног [у тебя] уходит земля, на которой ты жила», но это все для того, «чтобы не было на свете несправедливости, чтобы эта война не отдала на растерзание победителям-богачам целые многомиллионные народы»[395].

Убедил ли он Альдону? Нет, тогда – нет. Вдобавок ко всему ее сын, подпоручник Антони Булгак служит в это время адъютантом Пилсудского. В 1920 году он будет награжден орденом Виртути Милитари, что само за себя говорит о патриотических настроениях в семье. Это письмо, подписанное «Твой Фел», было последним контактом брата с любимой сестрой. Ведь Феликсу оставалось еще семь, притом громких, лет жизни.

В конце письма он объясняет Альдоне: «… и сегодня, кроме идеи, кроме стремления к справедливости, ничего нет на весах моих дел». Это правда. Добрый палач не обманул сестру. Он всегда верил, что железной рукой загонит человечество в счастье.

XX. А Яська смеялся до упаду. Муж и отец

О чем мечтал заключенный Дзержинский, сидя в 1916 году в московской тюрьме?

> Да, мой маленький, когда я вернусь, мы пойдем и на еще более высокую гору, высоко-высоко, туда, где тучи ходят, где белая шапка снега покрывает верхушку горы, где орлы вьют свои гнезда – писал он своему пятилетнему сыну. – Цветочки, которые ты собрал для меня и прислал, тоже у меня в камере. Я смотрю на них и на карточку твою и думаю о тебе. Мы будем вместе любоваться живыми цветами на лугах – белыми и красными, желтыми и голубыми, всеми, и будем смотреть, как пчелы на них садятся и ароматный сок их собирают (…), а потом дома будем слушать, как мамуся играет; а мы будем тогда тихо сидеть и молчать, чтобы не помешать, – и только слушать[396].

Он хотел быть с семьей. Хотел близкого контакта с женой и маленьким сыном, которые находились за сотни километров, в Берне. Но покинув стены Бутырки, он личные мечты сразу перековал на революционные действия. Семья опять отошла на второй план.

Первое после освобождения письмо Софье он пишет 31 марта 1917 года. Все еще идет война, и письмо попадает адресату только 9 мая.

> Не могу быть спокойным до того момента, когда и я смогу давать средства на Яська – и буду тогда счастливым, если он будет здоров

– делится мыслями с женой (в августе ему удастся впервые послать ей 300 рублей).

> Ведь это наш сын, наше сокровище, и надо работать для него, чтобы жил и рос. Я послал тебе карту, подумал, может, ты захочешь вернуться [в Польшу] так как революция, но совсем забыл, что возвращения в Варшаву революция нам пока еще не дала… Поэтому подождем дальнейших событий и, может, скоро сможем вернуться с Востока и с Запада и встретиться в Варшаве. Жду этого момента, а пока я опять брошусь в свою стихию, которая дает мне смысл жизни.

Да, тогда он еще хотел вернуться в Польшу, а о каких бы то ни было постах в России вообще не думал.

Тем временем Софья думала, что делать дальше – вернуться на родину или поехать в охваченную революцией Россию. Она выбирает второе. Он перестала давать уроки музыки и записалась в список на поезд в Россию. Но перед самым отъездом Янек заболел, и ей пришлось отказаться от поездки. Через пассажиров поезда она только передала мужу, письмо, шоколадку и сделанную руками сына коробочку из папье-маше. Феликс будет держать в ней табак для папирос. Вскоре Ясик пришлет отцу открытку, написанную собственноручно, печатными буквами: «Дорогой папочка, я тебя очень люблю и целую. Ясик».

Разлука продлится еще два года. Феликс то уезжал в Оренбургскую губернию на лечение легких, то начинал активно работать в Петрограде. «Мы переживаем тяжелые времена, но мы настолько уверены в будущем, что я не хочу быть пессимистом. Только сам я потерял много сил, постарел, молодость прошла» – писал он жене. Потом произошел переворот, и большевики взяли власть в России. Через десять дней Феликс сообщает Софье новый адрес: Петроград, Смольный институт, члену ЦИК, 1 этаж, коми. 18.

Еще одна попытка Дзержинской выехать в Россию в декабре 1917 года оказывается также неудачной – вновь из-за болезни сына. Это время Софья не переписывается с мужем, зато много узнает о нем из западной прессы – конечно, в самых черных красках – как о председателе подозрительной комиссии, которая на самом деле является политической полицией. Когда переписка возобновляется, Феликс в письме от 29 августа 1918 года – почти накануне объявления красного террора – пишет ей: «Думаю о вас, очень бы хотелось, чтобы ваш приезд не совпал с моментом наивысшего усиления борьбы». Это, конечно, сигнал – им надо ждать. Не прошло и месяца, как 24 сентября он неожиданно пишет:

> Может мне удастся приехать к вам на несколько дней – мне надо немного отдохнуть, дать телу и мысли передышку – и вас увидеть и обнять… Может, наконец, вдали от водоворота мы встретимся после стольких лет, после всего пережитого. Может наша грусть найдет то, к чему стремилась. А здесь танец жизни и смерти – момент поистине кровавой борьбы, титанических усилий.

По официальным данным, сообщенным биографами, самой Софьей и Яковом Свердловым, в Кремле было принято решение предоставить Дзержинскому отпуск, чтобы он мог поехать к

своим близким. Свердлов утверждал, что добился на это согласия Ленина после того, как побывал в кабинете Феликса на Лубянке, где увидел не человека, а развалину. И он подумал, что только в кругу семьи у Дзержинского сможет нормализоваться образ его жизни.

В действительности значительно более важным был немецкий вопрос. В государстве Вильгельма II начинается революционное волнение. Руководители социал-демократов Люксембург, Либкнехт и Тышка еще сидят в тюрьме, но есть шанс выйти на свободу по амнистии, и даже создались условия для свержения монархии, то есть осуществить государственный переворот, как в России. В такой обстановке Дзержинский в октябре едет в Швейцарию, чтобы после восьмилетней разлуки, наконец, увидеть жену и ребенка. По пути он заезжает в Берлин, где встречается с советским послом Адольфом Иоффе. Он передает послу информацию об убийстве царской семьи – все-таки жена Николая II Александра Федоровна была немкой.

Дзержинский путешествует в сопровождении чекиста Варлаама Аванесова, обритый наголо, под фальшивой фамилией Доманский, потому что в Западной Европе шеф Лубянки уже узнаваем. В Берне они с Аванесовым останавливаются в гостинице при вокзале. После десяти вечера Феликс идет к дому, где живут Софья и семья Братманов, и насвистывает несколько тактов из оперы Гуно *Фауст*. Это условный сигнал социал-демократических конспираторов. И вот – объятия и слезы. Для семилетнего Яська это слезы страха, так как он не узнаёт отца, которого видел только на фотографии. Феликс привез сыну из Берлина огромную коробку – металлический «малый конструктор». И надо же обстоятельствам сложиться так, что впоследствии Ян окончит институт с дипломом инженера-конструктора.

Софья взяла отпуск и втроем они поехали на несколько дней в Лугано. В поезде до Люцерны они сидели одни в купе. «Трудно описать радость и счастье сына и отца, когда, сидя рядом друг с другом, они разговаривали и играли, – вспоминала Софья. – Ведь впервые в жизни они были вместе. Феликс рассказывал Ясику интересные и смешные истории, учил его фокусам и разным штучкам, а Яська смеялся до упаду».

В Лугано они остановились в гостинице на берегу озера. «Здесь мы совершали прекрасные прогулки пешком и на лодке по озеру. Феликс очень любил грести, а я правила. Мы сфотографировались на берегу озера. В один прекрасный день мы поехали на подвесной дороге на вершину ближайшей горы [Сан Сальваторе], где провели несколько часов»[397].

Когда в один из дней они садились на пристани в лодку, к берегу пристал пароход. На палубе Феликс увидел бывшего британского посла Роберта Б.Локхарта, которого лично допрашивал на Лубянке и выдворил из России.

> Дзержинский – это человек с безупречными манерами, – описал его позже Локхарт, – говорит спокойно, без эмоций, но он совершенно лишен чувства юмора. Наиболее характерны его глаза. Глубоко посаженные, горящие холодным огнем фанатизма. Дзержинский вообще не моргал. Создавалось впечатление, что у него парализованы веки[398].

Но в Лугано англичанин его не узнал. Если бы это случилось, он немедленно попал бы в руки швейцарской полиции. А заполучить шефа советских спецслужб, который вместе с семьей наилучшим образом отдыхает на швейцарском курорте, было бы большой удачей для западных разведок!

Феликс приходит к выводу, что еще не время перевозить семью в Россию – учитывая прежде всего состояние здоровья сына, которому трудно было бы обеспечить необходимую медицинскую помощь и хорошее питание в голодающей Стране Советов. Поэтому 25 октября он уезжает из Берна один, через Берлин в Москву. Когда он возвращается в Москву, как раз заканчивается второй месяц красного террора. В Петрограде свирепствует стоящий во главе городского Совета Григорий Зиновьев; он проявляет исключительное усердие, он первый по числу арестов и расстрелов. В Москве старается с ним сравниться Лацис. А Ленин встречает Феликса словами: «Где ты шляешься, когда у нас здесь полно работы!». А Ясик спустя годы запишет, что неделю, проведенную с отцом, он запомнил лучше, чем все четыре года своего пребывания в Швейцарии.

Заканчивается первая мировая война, рушатся две великие державы: Австро-Венгрия и Германия. В государстве Вильгельма II разгорается ноябрьская революция, а в Швейцарии в связи с этим начинается паника. Власти считают коммунистов главной угрозой и немедленно выдворяют из страны сотрудников Советской миссии. Полиция приходит и в дом к Дзержинской и Братманам, производит обыск, реквизирует письма Феликса, не зная, однако, кто является их отправителем, и через несколько месяцев возвращает их Софье. У дома начинают крутиться шпики. Хозяйка дома не выдерживает напряжения и отказывается продлить полякам наем жилья. Им приходится переехать в Народный дом[17]. Большая группа социалистов интернирована, но никто не знает, что Софья – жена председателя ВЧК. Она подает в

представительство Польши прошение о разрешении ей вернуться на родину, но разрешение получает только сын Ян. Находясь под постоянным наблюдением местных агентов, она решается ехать в Советскую Россию. Там продолжается гражданская война, царит голод, бушуют эпидемии, но в охваченной революциями Европе, правители которой усиливают рестрикции в отношении коммунистов, также небезопасно.

В середине января 1919 года из Базеля через Германию движется опломбированный состав. В нем возвращаются домой русские военнопленные. Среди них коммунисты, а также Софья с сыном. Они получают место в поезде благодаря помощи Сергея Багоцкого, представителя Советского Красного Креста (свидетеля на свадьбе Дзержинских в Кракове). Социал-демократическое правительство Германии боится радикальных социал-демократов – 15 января были убиты Роза Люксембург и Карл Либкнехт – поэтому поезд останавливается только вдали от станций, а пассажирам запрещено покидать вагон. Сопротивляется и молодое польское государство: поезд направили сложным путем через Пруссию на Кенигсберг, оттуда в Белосток и в направлении Минска. Там все пересаживаются в советский состав. Женщин с детьми разместили в "теплушке", то есть отапливаемом вагоне, так как на улице мороз минус двадцать градусов. Наконец, в субботу 1 февраля, пробыв в пути две недели, Софья с Ясиком прибывают в Москву.

На Александровском вокзале их ждал Феликс, только что вернувшийся с восточного фронта. Поздоровались – и он оставил их на какое-то время одних, потому что должен был заняться прибывшими тем же поездом пленными.

> Мы поехали вместе с ним [Феликсом] в его квартиру в Кремле, которую он получил незадолго перед нашим приездом, – вспоминала Софья. – Это была просторная комната с двумя большими окнами на первом этаже в так называемом холостяцком крыле. Наша комната находилась рядом с обширным помещением с тремя окнами, в котором тогда размещалась столовая Совета народных комиссаров. (…) На следующий день, несмотря на то, что это было воскресенье – Феликс, как всегда, пошел на работу на Лубянку[399].

Вскоре они сменили квартиру на более просторную, в доме, где располагался музей. «Это была солнечная трехкомнатная квартира с видом на Большой кремлевский дворец» – описала ее Софья. Дзержинский будет жить там до смерти.

Они вели в меру обычную семейную жизнь, хотя у Феликса не

было на нее много времени. Янек стал ходить в детский сад (его самым близким другом был там сын Свердлова Андрей, которого все звали Адя), потом в начальную школу, открытую в Кремле, летом ездил в лагерь для детей сотрудников ВЧК в Пушкино или – вместе с родителями и домработницей Еленой Ефимцевой – в Тарасовку, на дачу под Москвой. Отца он запомнил как человека сурового и требовательного, но сердечного, доброго и заботливого.

> Он мне прививал прежде всего любовь к социалистической Родине, смелость, любовь к труду, вежливость, скромность. Отец не любил читать мораль, а воспитывал личным примером. Больше всего он ненавидел ложь, лицемерие и мещанскую сентиментальность, не имеющую ничего общего с настоящим, глубоким чувством[400].

Он постоянно контролировал успехи сына в учебе, а в свободные минуты помогал ему в математике.

Находясь в командировках, он писал нежные письма. В феврале 1922 года написал одиннадцати летнему сыну:

> Дорогой мой Ясик! Поезд везет меня из Омска в Новониколаевск, трясет, поэтому буквы моего письма становятся похожими на твои. Они качаются в различные стороны и шлют тебе поцелуи и привет. Я чувствую себя хорошо – работы у меня много. (…) А ты что делаешь? Хорошо ли учишься и играешь ли? Поцелуй от меня маму 14 с половиной раз, а сам будь здоров. Целую тебя крепко. До свиданья. Твой папа.

Двумя годами позже, желая выработать у сына уважение к физическому труду, он писал жене, что надо подумать о том, чтобы отправлять Ясика на час или два в день в какую-нибудь мастерскую[401].

Ян Дзержинский в 1946 году написал короткие воспоминания из своего детства. «Настал счастливый, но короткий период, когда мы жили все вместе – всего семь с половиной лет до дня преждевременной смерти отца. Но и в эти семь с половиной лет я не очень часто видел отца. Все свое время, дни и ночи, почти без сна и отдыха, он отдавал работе» – вспоминал Ян. Годы 1920–1922 – это частые отъезды Дзержинского в командировки. Когда он был в Москве, то вставал около девяти, когда Ясик уже уходил в школу, а возвращался поздно ночью. Он почти не отдыхал, только в воскресенье и зимой немного раньше приходил с работы.

Даже когда болел и должен был оставаться дома, он просматривал служебные документы. В летние месяцы они по воскресеньям выезжали за город. Там вечерами им удавалось, наконец, вместе погулять. Несколько раз они гуляли по Москве. Сын запомнил отца как «несгибаемого апостола революции» – а одновременно утверждал, что он ни в коей мере не был аскетом, каким считали его люди, что он любил жизнь во всех ее проявлениях, любил шутить и смеяться. Три раза Феликс был с Ясиком в Крыму. «Отец тогда действительно отдыхал: наслаждался морем, купался, плавал на лодке и совершал долгие прогулки. Особенно он любил грозу, когда море бушевало, а он часами сидел на берегу, бросая в воду камушки и восхищаясь этой разбушевавшейся грозной стихией».

С женой у них были отношения такие же, то есть нерегулярные. Софья с умилением вспоминала их совместный отпуск в Крыму в 1924 году. Из Муха латки они ходили на далекие прогулки вдоль берега моря, а один раз забрались на вершину какой-то горы и по хребту шли до Байдарских ворот, восхищаясь осенними красками леса.

Ян добавляет: «На прогулках он вел нас дикими, непролазными тропами, часто напрямик, через лесную чащу и овраги, где еще не ступала нога человека»[402].

Бывает так, что женщина, связывающая свою жизнь с идеалистом, в глубине души верит, что рано или поздно приручит и одомашнит мужа. Напрасная надежда, заканчивающаяся, как правило, горьким разочарованием, а часто и разводом. Глотала ли жена Дзержинского слезы горечи? Даже если и так, то никогда и никому в этом не признавалась. Ее считали решительной коммунисткой, способной посвятить себя идее наравне с мужем. И возможно именно поэтому Феликс, когда ему пришлось выбирать между Софьей и Сабиной, сделал ставку на ту, которая гарантировала ему партнерство в революционной работе, без губительных для обоих эмоций. Позиция, которую заняла Софья, наверное, защищала сына от чувства сиротства. Первые годы разлуки она убеждала Ясика в отцовской любви, подтверждая это письмами Феликса, а после переезда в Москву принимала отсутствие мужа дома за продолжение миссии, и сын представлял себе отца таким, каким его видела мать. После восьми лет разлуки Дзержинский должен был наверстать все то, чего не смог дать сыну раньше, и, возможно, Янек этого ожидал. Если так, то у него, как и у его матери, иллюзии быстро исчезли. Но им обоим было, по-видимому, крепко привито осознание так называемой высшей необходимости.

Сын Дзержинского стал типичным советским аппаратчиком. С малых лет ему внушали принципы коммунизма, а от отца он слышал: «… мы не новая аристократия, мы слуги народа»[403]. Когда Феликс умер, Яну было пятнадцать лет. До конца своих дней он, как и мать, без особых милостей служил на красном подворье Сталина. Пережил Великую чистку, защищенный фамилией первого чекиста. Боялся ли он? Наверняка. Можно спросить: почему не прозрел, почему не убежал на Запад? Инженер по образованию, он мог бы неплохо там устроиться. Сколько же детей важных лиц режима убежали из страны своих родителей?

Сыновья Ганса Франка, генерал-губернатора оккупированной Польши, или дочь Амона Гёта, коменданта концентрационного лагеря в Плашуве, несут на себе тяжелый крест быть сыном или дочерью палача. Всей своей жизнью они пытаются смыть с себя этот позор. Нацисты войну проиграли. А если бы выиграли – стояла бы перед их детьми подобная дилемма? Внук Сталина[404] до сих пор не может понять, что его дед виновен в смерти миллионов. Внуки Феликса Дзержинского испытывают чувство обиды, что памятник их деду сброшен с пьедестала на Лубянке.

Биограф Иосифа Сталина Саймон Себаг Монтефиоре усматривает сходство между генералиссимусом и Дзержинским. В том числе и в отношениях в семье. «Оба были страшными отцами»[405], – заявляет он. Да, деятельность Феликса как революционера и конспиратора могла иметь для сына серьезные последствия: Янек был ребенком, состоящим под постоянным наблюдением, запуганным, лишенным родителей, которые годами сидели в тюрьмах. Дзержинский велел беременной жене ехать в Варшаву, где она была арестована и вынуждена рожать в ужасных тюремных условиях, что, несомненно, сказалось на здоровье сына. Но что общего это имеет со Сталиным, который, как отец, проявил всю амплитуду эмоций, начиная с полного равнодушия к внебрачным детям, с тирании в отношении сына Якова, с моментов то абсолютной снисходительности, то часто необоснованной строгости в отношении второго сына Василия, и заканчивая безудержной любовью к дочери Светлане? Добавим, что у его младших детей была болезненно ревнивая мать с расстроенной психикой, которая, в конце концов, совершила самоубийство. Все это отразилось и на психике всей семьи, в том числе и самого Иосифа Виссарионовича, уверенного, что тем самым жена совершила в отношении него самое большое предательство. Годы спустя Светлана имела смелость написать: «Двадцать семь лет я была свидетелем духовной деградации своего отца, и изо дня в день я наблюдала, как он теряет всякие

человеческие черты, постепенно превращаясь в свой собственный мрачный памятник»[406].

Ян Дзержинский никогда бы не опубликовал такого признания. Не потому, что боялся цензуры или семейной анафемы. Его отец создал одно из самых кровавых в мире министерств безопасности, но человеческих черт при этом не утратил. Он был отцом требовательным, был отцом, ожидающим от сына такой же веры и признания тех же принципов, которые исповедовал сам. Он навязал сыну свой аскетизм. Но определения «страшного отца» он явно не заслужил.

XXI. Сон о красной Варшаве. Предатель родины

Красивая идея рая на земле не позволяет Ленину остановиться на России. В соответствии с его концепцией коммунистический рай должен иметь мировые масштабы. Именно в этом состоит суть интернационализма. После завоевания власти в России ставится цель освободить и другие народы от ига буржуазии. Создание Соединенных Штатов Мира! Для этого необходимо вызвать пролетарские революции: сначала в важнейших странах Европы, а потом и на других континентах. И поддержать их войной, которая не будет агрессией, а лишь ответом на существовавший до сих пор мировой порядок, реакцией на осадное положение, в котором повсеместно находятся трудящиеся народы. Войной, прежде всего, оборонительной.

Владимир Ильич Ленин был уверен, что у него есть союзники во всей Европе. Он считал, что немецкие, французские, английские или польские рабочие готовы к немедленному вооруженному восстанию, и по сигналу одновременно атакуют капиталистический порядок – войска «родины пролетариата» снаружи, а пролетариат Европы – изнутри, путем партизанских действий и террористических актов, координируемых Коминтерном[407]. Он был в этом так уверен, что когда ему пытались доказать, что английские рабочие отнюдь этого не гарантируют, он реагировал с гневом и обидой. Он все время смотрел на Запад, на свою любимую Германию – в его понимании главную силу коммунистической идеологии в конфронтации с государствами Антанты.

Вот только на пути к мировой революции между Россией и Германией встало новое государство, возникшее только в ноябре 1918 года. Как представляли себе соседи – «сезонное государство»[408].

Ленин решает действовать молниеносно. Уже 15 ноября начинается формирование советской Западной армии, взятие ею территорий от Литвы до Украины, покидаемых отходящими немецкими войсками, а также разработка плана многоступенчатой «Операции Висла» с целью создания «польского помоста» между Востоком и Западом. «По трупу белой Польши путь ведет к мировому пожару,» – записал в июле 1920 года Михаил Тухачевский, командующий Западным фронтом. Вслед за советской армией на занятые территории стали перебрасываться

«красные национальные правительства», иначе говоря, группы коммунистических деятелей данной национальности: на Украину – украинцев, в Литву – литовцев и т. д., чтобы с их помощью взять власть и гарантировать себе федеративную систему отношений этих земель с Россией.

Пилсудский понял обстановку так же быстро, как и Ленин. Он знал, что имеет дело с тремя Россиями. От правильного решения вопроса, с которой из них надо сотрудничать, а какой следует остерегаться, зависело будущее независимой Польши. Белую Россию Пилсудский не поддержал, опасаясь, что она захочет вернуться к царскому государству 1914 года и в этом немедленно получит поддержку Запада. С демократической оппозицией он разговаривал, но с дистанции прагматика, считая, что у нее мало шансов взять власть. Оставались большевики, которые как раз правили Россией. Симпатии к ним он тоже не чувствовал, но он хорошо их знал и поэтому их агрессивные планы расшифровал молниеносно. Теперь речь шла только о том, кто кого и когда[409].

Юзеф Пилсудский искал союзников, исходя из того, что страны, расположенные между этнически польскими и русскими землями, являются естественным буфером. С литовцами и белорусами союза заключить не удалось, но в апреле 1920 года это получилось с украинцами, а точнее – с Семеном Петлюрой, главой правительства Украинской Народной Республики. Через четыре дня он организует киевский поход и 7 мая занимает Киев, став для поляков кумиром толпы. Но и на русских это произвело сильное впечатление. И большевики прекрасно использовали этот факт в пропагандистских целях: вот, белая Польша поднимает руку на только что образованные рабоче-крестьянские республики, в том числе и на важный в истории России символ – город Киев, место крещения Руси и ее первую столицу! Проводится всеобщая мобилизация. В Красную Армию вступают царские офицеры. Внезапно большевиков начинают поддерживать социалисты всех мастей, либералы и даже консерваторы – ведь кто-то нарушил их национальную общность. С юга выдвигается Конная армия Семена Буденного, а с севера – молодой и быстрый Михаил Тухачевский. Достоинство этих войск заключалось в их необычайной мобильности, а символом той же мобильности были быстро перемещающиеся тачанки. Их атаки можно ожидать с любой стороны.

С этой армией шли польские коммунисты, которые должны были подготовить почву для взятия власти в Польше. Это они внушили Ленину, что надо действовать польскими руками, так как идея свободы слишком сильно закодирована в менталитете

их католического народа. Упор делали на пропаганду, направляли в Польшу специально подготовленных агитаторов, способствовали слиянию польских отделов СДКПиЛ с левой ППС в Коммунистическую Партию Рабочей Польши (КПРП), печатали прокламации и листовки в соответствующем тоне, ориентированные главным образом на солдат. Однако некоторые из них скептически относились к планам вождя революции, особенно Юлиан Мархлевский и Карл Радек. Выезжая в Польшу и встречаясь с соотечественниками, они видели их радость по поводу вновь обретенной независимости, а если кто-то высказывался за социализм – то только в варианте ППС. Так или иначе, но все ведущие польские коммунисты в России во главе с Дзержинским подписали 2 февраля 1920 года *Заявление,* адресованное полякам, в котором утверждали, что не хотят установления в Польше коммунизма при помощи чужой армии. «Мы входим на территорию собственно Польши только на самое короткое время, чтобы вооружить рабочих, и уйдем оттуда немедленно»[410] – горячо заверял Ленин, но цель у него была все та же: «двинуть железные батальоны против эксплуататоров, против тиранов, против черной сотни всего мира»[411].

То есть одно ставило под знак вопроса другое. С польской стороны вождя Страны Советов сильнее всех поддерживал Юзеф Уншлихт. Уже 8 января 1919 года он объявил о создании Военно-революционного совета Польши. Проект Совета, состоящего из польских коммунистов, находящихся в России, которые в нужное время должны захватить власть в Польше, не был одобрен верхушкой. Даже польские коммунисты считали, что для таких действий еще слишком рано.

В апреле 1920 года Феликса Дзержинского направляют в Харьков. Он едет туда во главе отряда из тысячи четырехсот чекистов, чтобы установить контроль над Украиной, оказывающей сильное сопротивление. Он воюет главным образом с борющимися за независимость войсками Семена Петлюры, находящегося в союзе с Пилсудским, а также с анархистскими отрядами Нестора Махно[412], в то время уже легендарного крестьянского предводителя. Во время гражданской войны Махно заключил союз с большевиками, но видя, что они не торопятся предоставить Украине независимость, разорвал договор и стал их заклятым врагом. Но на Украине у председателя ВЧК есть и другое задание: он должен восстановить добычу угля в Донецком угольном бассейне и наладить работу железнодорожного транспорта. Через месяц он становится начальником тыла Юго-западного фронта.

В Харькове на него было совершено покушение, и он чудом

избежал смерти: молодая эсерка подбежала к автомобилю, из которого он выходил, и выстрелила из пистолета. Дзержинский инстинктивно пригнул голову, и это его спасло. Он не приговорил женщину к смерти.

Норман Дэвис написал в своей книге *Белый орел, красная звезда*, что у председателя ЧК «были серьезные возражения против войны, у него не было желания усмирять [польское] гражданское население в случае его сопротивления»[413]. Как и его ближайшие соратники и соотечественники, он считал, что вступление большевиков в Польшу вызовет – пользуясь жаргоном социал-демократов – «националистическую бузу», то есть патриотический подъем против чужих. Он предпочитал вызвать революцию изнутри, то есть через восстание красной Варшавы.

Однако на такого типа фантазии было уже слишком поздно. Ленин решился на наступление. 13 июля Феликса внезапно отзывают обратно в Москву – Красная Армия вскоре должна войти на этнически польские земли, в связи с этим Дзержинскому предстоит возглавить Польское бюро ЦК Российской коммунистической партии (большевиков). Почему именно он? Видимо, посчитали, что у него самый богатый военный опыт. На него также возложена обязанность регулярно информировать Ленина об обстановке на советско-польском фронте. Кроме него, в состав Бюро вошли также: Юлиан

Мархлевский, Феликс Кон, Эдвард Прухняк и Юзеф Уншлихт. После занятия польских территорий Бюро автоматически должно преобразоваться во Временный революционный комитет Польши, сокращенно Польревком, а его председателем должен стать д-р Мархлевский. Посчитали, что Дзержинский, как шеф пресловутой ВЧК, вызовет у поляков не слишком хорошие ассоциации[414].

23 июля члены Польского бюро – за исключением Прухняка, оставшегося ненадолго в Москве – выехали в Смоленск, а оттуда в Минск и Вильно. День триумфа над белой Польшей казался близким! 27 июля Феликс телеграфирует в Москву с просьбой выделить миллиард рублей на создание местных революционных комитетов; деньги он получает почти немедленно. В августе он попросит еще миллиард – для польского населения, проживающего на территориях, занятых Красной Армией, материальное положение которого трагическое. 30 июля он пишет жене из Вильно: «Через полчаса мы едем дальше – в Гродно, а оттуда в Белосток. Пишу лишь несколько строк, ибо нет времени для сантиментов. До сих пор все идет хорошо»[415].

В этот же день Польревком принимает обращение под названием *Манифест – К борьбе за Рабочую Польшу*. В нем говорится: «Не затем вступают в Польшу наши русские братья,

чтобы ее завоевать» – во что полякам верится с трудом. И далее: «… управлять фольварками будут батрацкие комитеты» – что не нравится вдвойне, так как это значит, что отобранная у помещиков земля будет национализирована (в то время как крестьяне, особенно малоземельные, хотели бы получить ее в собственность), а кроме того слово «батрацкие» имеет унизительный подтекст, и вообще оно оскорбительно[416].

Манифест был объявлен 30 июля, но не в Белостоке, как было сообщено официально и как Дзержинский телеграфировал Ленину, а еще в Вильно. Польская пятерка Польревкома приняла такое решение, видимо, в связи с известием о том, что Красная Армия вошла в Белосток. Они не хотели, чтобы в обществе сложилось впечатление, что большевики освобождают польских рабочих и крестьян. Это они должны быть там первыми и это должен был понять и Ленин! В действительности Мархлевский приехал в Белосток 2 августа, а Дзержинский и Кон – на следующий день. Члены Комитета воспринимали свою роль как временную. «Было решено, – напишет позже Мархлевский, – что после вступления в Варшаву Комитет передаст свои полномочия Коммунистической Партии Польши, которая призовет польских рабочих назначить Революционное правительство, после чего съезд рабочих и крестьянских депутатов создаст постоянное советское правительство». Таково должно быть будущее, а тем временем Дзержинский и Мархлевский ощущали острую нехватку кадров и просили центр «как можно быстрее прислать коммунистов поляков из Москвы и России и вообще, где бы они ни находились»[417]. Да, стали присылать… главным образом чекистов.

Тогда казалось, что социализм, привносимый в Европу на штыках, невозможно остановить. Возбужденный Ленин постоянно требует от Дзержинского известий о развитии обстановки на фронте, а в письме Сталину – в то время политкомиссара Юго-западного фронта – предлагает спровоцировать революцию в Италии ударом через Румынию, Чехословакию и Венгрию. Завоевание мира – вот оно, на расстоянии вытянутой руки!

В Белостоке Революционный комитет занимает дворец Браницких. Этот выбор, конечно, не был случайным. В дворцовом парке члены Временного революционного комитета Польши – в который преобразовалось Польское бюро, но без Уншлихта, который со сломанной ногой застрял в Гродно – делают себе фотографии на память. В здании размещается также госпиталь для раненых.

Тухачевский идет дальше, прямо на Варшаву, а за фронтом вглубь Польши перемещается и Польревком, точнее, три его

представителя: Дзержинский, Мархлевский и Кон. Они добираются до Вышкова, что в шестидесяти километрах от столицы, где останавливаются на ночлег в доме приходского священника ксендза Виктора Мечковского. Умный и тактичный ксендз в эту ночь ведет с гостями беседу, главным образом с Дзержинским. За чаем с печеньем, под бой часов, и в момент, когда из Варшавы эвакуировались представительства иностранных государств и часть гражданского населения, а в предместьях столицы шли упорные, отчаянные бои за каждую пядь земли – в Вышкове, в доме приходского священника противостоят друг другу два противоположных мировоззрения: польского ксендза и польского коммуниста.

В ходе беседы Феликс заявляет ксендзу Мечковскому: «Христос был первым революционером и за революцию отдал жизнь (…), а католическая церковь исказила его идеи, развивая учение о свободной воле, которой нет и быть не должно. Коммуна воспитывает человека так, что он будет делать только добро». Ксендз пока еще не знает, с кем он имеет дело, но замечает, что среди своих сотоварищей он «самый молодой, брюнет, немного за сорок, худой и высокий, наиболее категоричный и решительный, готовый смести все преграды, пусть даже жестоким способом. «Я, в принципе, противник смертной казни, говорит он, – но во время революции ее надо применять и часто ликвидировать даже хорошие личности, которые преграждают путь революции»». Потому что ведь «до сих пор был террор буржуазии, так не повредит, если теперь начнется террор пролетариата» – объясняет он, шагая по комнате и затягиваясь папиросой. На это ксендз отвечает: «Я боюсь террора в любой его форме. Я не желаю его моему народу».

Во время беседы Мархлевский критикует институт Церкви, представляющей интересы буржуазии, а Феликс Кон спрашивает ксендза о знакомых в Варшаве. Довольно цинично он повторяет известную фразу из *Свадьбы* Выспянского: «Был у тебя, хам, золотой рог», – относя ее к буржуазной Польше, которая не захотела предлагаемого ей Россией мира, а теперь останется ей только веревка (для повешения).

Потом гости идут спать. Утром беседа продолжается. Ксендз Мечковский говорит: «Я согласен (…) что любая революция – это шаг вперед. Быть может русская сделает более крупные шаги, но я не вижу в ней панацеи от всех людских болячек. Чем, например, вы замените религию в сердце человека, которая его облагораживает и превозносит? Замените религию чем-то лучшим для человека, тогда и я стану вашим приверженцем». «Наши идеалы воплотятся в жизнь не сегодня, – отвечает ему

Феликс горьким тоном. – Пройдут еще века», но «христианство не выполнит своей миссии, ее выручит [в этом] коммуна».

Во второй половине дня гости идут в свой штаб на обед. Возвратившись, они прощаются с ксендзом – и только теперь представляются ему по фамилиям. Феликс подходит к нему и спрашивает теплым, дружеским тоном: «А что обо мне пишут варшавские газеты?». Ксендз вспоминает: «Я ответил откровенно, что называют его палачом России». «Я что, похож на Торквемаду из средневековья?» – смеется Дзержинский и под конец беседы признается, уже с ноткой горечи: «Мама хотела, чтобы я стал ксендзом, а сегодня меня называют антихристом».

Члены Польревкома – люди интеллигентные, спор с ксендзом они ведут с уважением к оппоненту, но на следующий день, 16 августа, из-за внезапного изменения обстановки на фронте они покидают Вышков, забирая с собой идеалы и личную культуру. Приходской священник комментирует:

> Я видел, что лица их были серьезные, и со мной они дискутировали абсолютно свободно, не признаваясь, что едут в Варшаву. Мне было жаль, что такие интеллигентные люди увеличивают число предателей Родины, может как фанатики большевистского безумия. Я вздохнул с облегчением, когда их авто покатило в сторону Белостока[418].

Они уехали, но на их месте осталась жестокая действительность – недавно созданная местная чрезвычайка и ее приказ ксендзу: «о небе говори, а о политике не смей, иначе пуля в лоб!». Были и конкретные действия: в деревушке Рыбенек Лесьны ЧК убивает семерых мужчин «чрезвычайно варварским способом». Ксендза Мечковского чекисты тоже заносят в список лиц, подлежащих ликвидации. Он уцелел, укрывшись до отхода большевиков. В доме после ночной беседы остались только куски сахара.

В то время, когда Дзержинский, как член Польревкома, находится в Вышкове, большая часть его родственников живет в Варшаве: брат Игнатий с женой и двумя детьми, Казимир с женой, а также дети и внуки Юстина, уехавшие из Бердичева перед самым киевским походом Пилсудского. Ждали ли они того, чтобы Феликс советскими штыками освободил их от оков независимой Польши? Сомневаюсь. Особенно если вспомнить, как в то время к брату относилась Альдона.

17 августа 1920 года Феликс пишет Софье, что вернулся в Белосток, хотя рассчитывал уже на следующий день быть в Варшаве. Не получилось, так как 15 августа две резервные

дивизии поляков перешли в наступление и отбили Радзимин. Это был перелом в варшавском сражении – с этого момента чаша весов склонилась на сторону войск Пилсудского. Но тогда Феликс еще не знает эпилога войны. Он считает это временным отступлением и признается жене во внутренних дилеммах. «Странные чувства рождаются во мне при приближении к Варшаве – как будто мне не хочется туда ехать, но скорее это опасение, что Варшава сейчас уже не та, какой она была раньше, и что, быть может, встретит нас не так, как мы бы желали». Правда, свои опасения он объясняет сомнениями идеологического плана: «Наша Варшава, терроризованная и сдавленная, молчит» – семью и близких знакомых он, наверное, тоже имеет в виду. В письмо он вкладывает веточку вереска из подваршавского леса, которую Софья будет хранить долгие годы.

Через шесть дней Феликс уже в Минске.

Опасение, что нас может постигнуть катастрофа, давно уже гнездилось в моей голове, но военные вопросы не были моим делом, и было ясно, что политическое положение требовало риска, – пишет он в следующем письме Софье. – Мы делали свое дело и… узнали о всем объеме поражения лишь тогда, когда белые были в 30 верстах от нас, не с запада, а уже с юга. Надо было сохранить полное хладнокровие, чтобы без паники одних эвакуировать, других организовать для отпора и обеспечения отступления. Кажется, ни одного из белостокских работников мы не потеряли.

О поведении красноармейцев Феликс сообщает жене: «В общем не было грабежей, солдаты понимали, что они воюют только с панами и шляхтой и что они пришли сюда не для завоевания Польши, а для ее освобождения»[419]. Это доказывает – в лучшем случае – что Дзержинский был плохо ориентирован или не хотел беспокоить жену, которая ведь тоже тосковала по родине. Грабежи и насилие были страшные. Несмотря на предостережения и угрозы командиров, большевистские солдаты всех поляков считали панами и шляхтой.

С 21 сентября начинаются польско-большевистские мирные переговоры в Риге. Ленин сильно раздосадован и разочарован результатом войны. Несмотря на то, что «национальный вопрос» он прорабатывал много лет, ему не пришло в голову, что на вступление Красной Армии на польскую землю другая сторона будет реагировать точно так же, как русские отреагировали на вступление Пилсудского в Киев – взрывом национальной солидарности. Он отчаялся бы еще больше, если бы кто-нибудь дал ему понять, что поражение в войне с Польшей означает поражение в войне за Соединенные Штаты Мира.

Дзержинский, наверное, тоже был разочарован – не сбылись его ожидания интернационалиста и… патриота. Да, патриота, потому что он был польским патриотом, но очень специфичным, и его родственники не могли его ни понять, ни принять. И хотя как коммунист он, наверное, был разочарован, кто знает, не вздохнул ли в нем одновременно с облегчением поляк. Несмотря на горячие уверения, он не мог не чувствовать и не переживать неприязнь соотечественников и семьи. Ведь он писал Софье, что вероятность катастрофы давно уже гнездилось в его голове. А чувство разочарования… Феликс Кон вспоминал, что на проигранную войну Дзержинский отвечал поговоркой: «Отложить – не значит отменить»[420]. К сожалению, он был прав.

20 августа 1920 года в Вышков вошли войска генерала Юзефа Галлера. Через три дня состоялось заседание Военно-полевого суда Армии, который объявил членов Польревкома предателями Родины и заочно приговорил их к смерти[421].

А что бы было, если бы войну 1920 года выиграли большевики? Польский шеф советской службы безопасности наверняка был бы назначен на высший на своей родине пост – председателя Совета народных комиссаров Польской Советской Социалистической Республики. Возможно, эта должность была бы временной – пока не стабилизируется обстановка. А она не стабилизировалась бы быстро. Поляки наверняка оказали бы новому строю ожесточенное сопротивление, и Дзержинскому пришлось бы ввести на родине красный террор. Это не подлежит сомнению. Сбылся бы его сон о красной Варшаве – красной от крови.

Но Феликс не стал палачом Польши. В сентябре 1920 года он вернулся в Москву и вновь с головой окунулся в водоворот дел. Переутомленный, к концу месяца он начинает харкать кровью. Узнав об этом, Ленин звонит секретарю ЦК Елене Стасовой и поручает ей, «чтобы ЦК принял постановление, обязывающее Дзержинского поехать в отпуск на две недели в лучший из подмосковных совхозов, расположенный в наро-фоминском районе»[422]. Феликс подчиняется решению ЦК.

Он едет с семьей в совхоз Любаново. Отрезанный в провинции от текущих политических событий, он, наконец, отдыхает и проводит немного времени с сыном. Они ходят на охоту. Ясик вспоминал, что отец подстрелил в лесу ястреба. Птица повисла высоко на ветках дерева, Феликс влез на него, снял ястреба, а потом – к великой радости мальчика – собственноручно набил чучело.

XXII. Почему я? Инструмент в руках вождя

«Политика должна быть первичной по отношению к экономике, – писал Ленин. – Утверждать иначе – значит забыть азбуку марксизма», – добавлял он, чтобы не было сомнений. Только его учитель Маркс считал как раз наоборот: он делал ставку на экономику и вытекающие из нее классовые отношения, все же остальное, включая политику и культуру, было для него только надстройкой.

В России периода военного хозяйства все стало политикой, особенно экономика. Действительность строилась по мысли вождя. «Все общество будет одной конторой и одной фабрикой с равными нормами труда и заработной платы»[423], – провозглашал он. Как же это прекрасно, как же справедливо! Истинное perpetuum mobile, почти как швейцарская почта – неважно, что для ее работы государство должно применять систему всеобъемлющего контроля, надзора и учета. Неважно также, что на практике это будет означать уничтожение товарного производства в пользу реквизиции и регламентации при всеобщей обязанности трудиться. А кто не будет работать, тот не будет есть[424].

Через два года жесткого правления новым властителям России при помощи национализации удалось справиться с классом эксплуататоров. Классовым врагом, более коварным по причине трудной идентификации, стал теперь мелкий производитель, благодаря которому все еще жила самая опасная гидра капитализма – свободный рынок. А Ленин просто органически ненавидел свободный рынок. «Магазины, предприятия и фабрики закрывали; вследствие захвата частной торговли уничтожена вся торговля. Были закрыты все магазины, поэтому страшно расцвела нелегальная торговля, основанная на спекуляции и воровстве, – описывала Зинаида Гиппиус[18], очевидец экономической стратегии коммунистов в Петрограде. – Базары стали абсолютно для всех единственным источником получения продовольствия, хотя тоже были нелегальными. Волей-неволей большевикам приходилось смотреть на это сквозь пальцы"[425].

В борьбе с мелким производителем речь шла, прежде всего, о тех, кого Ленин не понимал и кого презирал, но которые кормили город и воюющую армию, и от них зависела жизнь всей страны – о русских крестьянах. Дело отнюдь нелегкое, так как они составляли 75 процентов населения и, по концепции вождя, должны были образовывать с пролетариатом неразрывный союз.

Поэтому необходимо было научиться отличать трудового крестьянина от крестьянина-собственника, торгаша и спекулянта, то есть кулака, и – так как в большинстве своем был он неграмотный, то есть глупый и упрямый – внедрить его в новую систему силой реквизиции. Специально созданные продовольственные отряды (осуществление образа вооруженного рабочего) отправлялись из города в деревню, чтобы именем союза рабочих и крестьян забирать зерно, не разбираясь, излишки это или посевное зерно. Секретарь Ленина Владимир Бонч-Бруевич впоследствии совершенно искренне признал, что годами проверенный расчет мужика «иметь зерна на прокорм и на посев, по крайней мере, на два, а то и на три года» был попран их «безжалостным временем»[426]. Но забирали не только зерно – вместе с ним конфисковали, иначе говоря – крали, с крестьянских дворов и изб все, что имело хоть какую-то ценность.

Когда стали приходить сообщения о необычайном расцвете черного рынка и коррупции в административном аппарате, Ленин был вне себя от возмущения. Он не связал это явление с системой реквизиции и регламентации. Зато связал с мужиком-спекулянтом и бездушным бюрократом-взяточником. Он приказал усилить террор. Результат? Сокращение производства зерна на 40 процентов, превращение поначалу пассивного сопротивления деревни в волну восстаний, сеющих зеленый террор, голод, охвативший около тридцати миллионов человек, эпидемии холеры и тифа, каннибализм.

Отобранные у буржуев фабрики и заводы подверглись синдикализации и оказались под контролем вооруженных людей. Они должны были теперь работать в соответствии с централизованными планами производства, соизмеряя действия с большевистскими намерениями. И здесь надо было искать виновных – а в роли ищейки вождь чувствовал себя прекрасно. Специалисты – заявляет он – это трутни, гнилые интеллигенты и саботажники, зовущиеся интеллигентами. Они виноваты! Результат? Спад промышленного производства на 82 процента, производительности труди на 74 процента, тысячи инженеров, техников и высококвалифицированных рабочих в тюрьмах, а на их место «берут человека, как говорится, прямо от сохи» – напишет Троцкому полный горечи Адольф Иоффе (были же и среди большевиков реалисты), который, однако, будет «держать язык за зубами и «пролетаризировать»»[427].

Города пустели, потому что голод заставлял искать продовольствие в деревне. Население Петрограда сократилось на 70 процентов, Москвы – наполовину. Реальная заработная плата рабочих снизилась до одной трети от уровня 1913 года,

автоматически оживляя меновую торговлю: промышленные товары, обычно украденные с места работы, менялись на продовольствие[428]. К тому же в марте 1921 года в Кронштадте начинается восстание матросов, о которых до той поры говорили, что это гордость и слава русской революции. А они бунтуют под лозунгом: «С Советами, но без большевиков». В конце концов, после трех лет правления «коммунистам удалось успешно развалить экономику одной из пяти крупнейших мировых держав и истощить богатства, накопленные столетиями «феодализма» и «капитализма»»[429] – напишет Ричард Пайпс. Несмотря на заверения, большевистская революция не стала всемирной. Ее экономическое поражение – это свершившийся факт.

Даже вождь, в конце концов, должен был спуститься на землю и произнести страшные для самого себя слова: «На экономическом фронте, с попыткой перехода к коммунизму, мы к весне 1921 г. потерпели поражение более серьезное, чем какое бы то ни было поражение, нанесенное нам Колчаком, Деникиным или Пилсудским»[430]. Он впервые употребляет выражение «военный коммунизм», чтобы оправдать прежнюю политику как временную и вынужденную. И уже не «государственно-монополистический капитализм», а «военный коммунизм» – зло необходимое, но преходящее! Теперь пришло время сменить тактику. «Больше мягкости, осторожности, уступчивости в отношении мелкой буржуазии, интеллигенции, и особенно крестьян» – призывает он на X съезде партии, который состоялся 8-16 марта 1921 года. «Всеми способами (…) [следует] использовать с экономической точки зрения капиталистический Запад в области концессий и товарообмена»[431], одновременно предоставляя концессии отечественным предприятиям, разрешив развитие кооперации и всякой самостоятельности местной власти. А на селе конфискацию надо заменить натуральным налогом. Словом – вводим Новую Экономическую Политику!

Провидение вождю изменило, но его интуиция в отношении доброго якобинца была безошибочна. С первых дней большевистского переворота – пишет Софья – «когда не удавалось справиться с решением трудных вопросов, [Ленин] обычно говорил: «Ну, надо поручить это дело Дзержинскому, уж он-то это сделает»»[432].

Эта непоколебимая вера в возможности, пусть они даже доходили до абсурда, была характерна для Владимира Ильича. Он как бы остановился на этапе услышанных в детстве сказок, где созидательная сила скрывалась в волшебной палочке. Видимо, это был результат длительного пребывания в окружении женщин, которые всё подставляли ему готовенькое под нос. В детстве так

делала мать и старшие сестры, затем жена, теща, любовница – и опять сестры, вплоть до самой смерти. Адольф Иоффе описывал Троцкому, как однажды Ленину надо было куда-то ехать на поезде, но он не знал время отправления. Он велел позвонить новому комиссару по делам транспорта инженеру Красину. «По его мнению, – пишет Иоффе – народный комиссар транспорта должен все знать, в том числе и расписание всех поездов, даже если он назначен на эту должность только вчера и никогда раньше не имел дела с железными дорогами. (…) И так во всем»[433].

Действительно, так было во всем. На практике это означало, что только один человек мог отвечать ожиданиям вождя. То, что он не спал, не ел, забывал о семье, кашлял и харкал кровью, от слабости впадал в состояния истерии и депрессии – все это было преходящей проблемой на фронте здоровья. Самое главное, он совершенно серьезно воспринимал ожидания вождя в отношении себя. А вождь отдавал себе в этом отчет? Конечно. Именно поэтому он давал ему очередные назначения на очередные должности без колебаний. Хоть Дзержинский, когда заполнял анкету делегата X съезда, в рубрике «специальность» написал о себе: «революционер, только и всего».

Он был инструментом в руках вождя, исполнителем специальных и неспециальных заданий, при помощи методов и средств по-настоящему героических и революционных. Дошло до того, что он побил рекорд в количестве исполняемых обязанностей, иногда курьезных, таких, например, как член президиума Общества по изучению проблем межпланетных путешествий. От ОГПУ он поддерживал также братство оккультиста Александра Варченко, занимавшегося поисками в Тибете мифической страны счастья – Шамбалы (Царства Мудрых Людей). Реабилитированный после убийства Мирбаха подопечный Феликса Яков Блюмкин в 1925 году отправился на поиски этой страны, потому что по легенде ее жители обладали телепатическими способностями, которые на Лубянке могли бы иметь фантастическое применение (через десять лет эти поиски продолжат германские нацисты)[434].

Причину, по которой председатель ВЧК занимался любой областью общественной жизни, хорошо охарактеризовал Бонч-Бруевич:

> Нужен был человек с железной волей, достаточно опытный как администратор, пользующийся авторитетом среди рабочих масс, безоговорочно выполняющий все принятые постановления и решения, обладающий

необходимым опытом в борьбе с саботажем, вредительством и хулиганством[435].

И который – что самое важное – мог единолично объединять полицейский надзор с управлением экономическим, культурным, и любым другим развитием. Но этого большевики уже прямо не говорили.

Первым заданием, порученным Дзержинскому в период НЭПа, был транспорт – система кровообращения всей государственной системы. Зимой 1921 года железная дорога совсем умирала – по причине нехватки топлива и уничтожения подвижного состава, рельсов, разрушения мостов и виадуков. На треть сократился транспортный оборот, так как огромная часть паровозов не годилась для использования, а остальные не могли эксплуатироваться из-за отсутствия топлива. Бывало, что поезд часами стоял где-то в пути, потому что машинист с пассажирами шли в лес, чтобы нарубить дров для паровоза.

26 января, еще до объявления НЭПа, Феликс едет в командировку на Украину в Донецкий угольный бассейн (Донбас), где он уже был в прошлом году, чтобы разобраться в обстановке и начать действовать. «Благодаря большим организационным усилиям и самоотверженному труду шахтеров по восстановлению разрушенных войной шахт, – пишет Ежи Охманский, – Дзержинскому удалось добиться значительного роста добычи угля»[436]. Конечно, не обошлось без конкретной демонстрации силы ЧК. Но как перевезти уголь вглубь страны? Кон, сопровождавший Феликса в этой командировке, вспоминает одну ситуацию, каких случалось много: на одной из станций нашли пять составов с углем, частично уже разворованным. На вопрос Кона, почему, видя, что здесь творится, начальник станции не направил составы дальше, тот отвечает: «У меня не было такого распоряжения». У Дзержинского, когда он об этом услышал, на лице выступили красные пятна.

Он вызвал начальника в свой вагон. В то время железнодорожники знали Дзержинского только понаслышке как грозного председателя ВЧК. Начальник вошел в вагон бледный, перепуганный.

> Я не присутствовал при этом разговоре, – рассказывает Кон, – я увидел обоих позже. Оба были абсолютно спокойны, оба улыбались. Железнодорожник с восхищением смотрел на Дзержинского.
>
> – Запуганные люди! – с грустной усмешкой сказал Дзержинский, когда начальник станции ушел. – В них убили мысль, задушили всякую инициативу, всякое

проявление самостоятельности. И сделали из них машины[437].

Что он имел в виду? Сотни лет самодержавия или короткий период большевистского правления с оружием красного террора в руках? Он должен был принимать во внимание и то и другое. А может как раз и принимал, потому что с этого времени начинает меняться его подход к «плодам» революции.

Была и такая характерная сцена, описанная Бонч-Бруевичем. Она важна своей симптоматичностью! Ленин вызвал к себе Дзержинского и заявил: «Вам нужно будет заняться Народным комиссариатом путей сообщения». «Почему я?» – спрашивает Феликс. Потому что имеются донесения о «случаях саботажа на железных дорогах, о группах бывших железнодорожных мошенников, пытающихся действовать во вред и мешать организации работы на транспорте» – отвечает Ленин. 14 апреля 1921 года опубликован декрет о назначении Дзержинского Народным комиссаром путей сообщения. Когда Железный Феликс пришел к специалистам по железным дорогам, они были «полны беспокойства, ожидая угроз и давления» – рассказывает один из них, инженер Драйзер. «Но эти хмурые предчувствия быстро рассеялись, – продолжает он. – Воцарилось абсолютное спокойствие. Мы поняли, что забота о вверенном государственном имуществе и добросовестный труд всегда найдут поддержку и правильную оценку со стороны Дзержинского»[438].

Через четыре дня новый министр транспорта вновь приходит к Ленину и излагает потребности министерства, которое он только что возглавил.

«Самое главное – это найти специалистов соответствующего уровня (…) независимо от их политических взглядов, лишь бы честно работали.

– Вы правы – признал Владимир Ильич. – Без знающих дело специалистов – на транспорте, как и везде, мы не справимся». Феликс называет фамилию инженера И.Н.Борисова, бывшего царского замминистра, как кандидата на должность своего заместителя. Он хорошо знает, как помогли новой службе безопасности бывшие сотрудники Охранки, нет сомнения, что и в других областях жизни будет так же. Ленин ни секунды не колеблется. Приказывает привезти инженера в Кремль.

Дзержинский немедленно связался по телефону с ВЧК и кому-то приказал:

– Поезжайте к Борисову и как можно деликатнее попросите его приехать с вами в Кремль, к Владимиру Ильичу; у него

больная жена – не испугайте ее.

– Больная жена? – спросил Владимир Ильич. – А удобно его беспокоить?

– Думаю, удобно, он приедет; надо бы немедленно через административно-хозяйственный отдел позаботиться о его семье: послать врача, привести в порядок квартиру, привезти дров – у них нечем топить…

– То есть он находится в бедственном положении! А мы ему до сих пор ничем не помогли – сказал раздраженно Владимир Ильич.

– Да, с этим у нас не лучшим образом – ответил Феликс Эдмундович.

– Не следует ли немедленно – обратился ко мне [Бонч-Бруевичу] Владимир Ильич – организовать помощь инженеру Борисову и его семье?

И была организована помощь инженеру, который в это время уже едет по вызову в Кремль.

– Мы как раз послали к вам врача, сестру милосердия и еще кого-то там… – сразу же извещает его Ленин.

– Благодарю, я не ожидал – отвечает удивленно Борисов и решается на смелое высказывание: – Ведь мы все замерзаем, голодаем… Вся интеллигенция находится в такой ситуации: либо сидит у него в каталажке – и пальцем показывает на Дзержинского – либо голодает и умирает…

На вопрос Ленина, что ему было бы нужно как заместителю народного комиссара путей сообщения, Борисов отвечает, что нужны люди.

– А они у вас есть? [– спрашивает Ленин]

– Конечно, есть.

– Где они?

– Я этого не знаю (…). Видимо, у него в каталажке – и, усмехаясь, многозначительно посмотрел на Дзержинского.

– Прошу назвать фамилии – тихо сказал Дзержинский – мы их сейчас же найдем[439].

Эту сцену описал личный секретарь Ленина Бонч-Бруевич, участник и свидетель разговора. Он передал в ней – может, не полностью сознавая – очень важную информацию относительно Ленина и Дзержинского. Обратим внимание на их характерные реакции. Первый все время удивляется: обстановка на железной дороге, ситуация инженера, других специалистов, которые сидят в тюрьмах. Он не может связать причины и следствия. А может иначе: может, только причины всегда на стороне врага, часто надуманного. Его совесть чиста. Лозунг «единица – ноль» является для него условием успеха в создании нового общества. И

даже попытка поинтересоваться трагической ситуацией в доме инженера – это, скорее, притворная (корыстная!) забота, чем настоящее сочувствие.

А что Феликс Эдмундович? В описанной сцене проявляется человек отлично осведомленный. Он знает, чего не хватает в министерстве, знает, что происходит в доме инженера, прекрасно знает, где искать специалистов. Он все знает, но, тем не менее, полностью подчиняется как указаниям вождя, так и все еще живой, силой навязанной идее коммунизма. Как народный комиссар путей сообщения, Дзержинский договаривается с председателем ВЧК Дзержинским – все время в соответствии с указаниями председателя Совета народных комиссаров Ленина, который с одинаковой уверенностью и хорошим самочувствием велел сначала специалистов сажать, а потом вытаскивать их из тюрем. Так кто из них больше виноват? Неосведомленный теоретик Ленин или осведомленный практик Дзержинский?

Оба они одинаково были уверены, что когда-нибудь будет лучше.

Дзержинский совершает чудо: под его руководством железнодорожный транспорт в России оживает[440]. Мало того, на рубеже 1923–1924 годов он перестает быть убыточным, а зарплата железнодорожников возрастает почти наполовину. Новый комиссар путей сообщения заботится об условиях жизни и труда работников[441]. Он хочет объехать всю Россию. Это важно, потому что практика открывает ему глаза на то, что происходит в действительности. Он передвигается на бронепоезде, который со временем оброс легендой. В качестве приветствия он издает такое распоряжение: «Прошу всех находящихся в нашем поезде избавиться от всех алкогольных напитков, если на них нет рецепта врача. Одновременно прошу известить всех, что за хранение алкоголя в моем поезде буду наказывать самым серьезным образом»[442].

Объезд страны он начинает с юга страны, с Харькова. Как министр путей сообщения, он имеет в своем подчинении также и водный транспорт, и он едет на Черное море, где в Николаеве, Херсоне и Одессе выступает на собраниях портовых рабочих и моряков на тему восстановлении портов. Через год он проинспектирует порты в Батуми и Сухуми, займется также флотом на Белом море и на Каспии.

Но настоящей школой жизни для него окажется Сибирь. На рубеже 1921 и 1922 года начался ужасный голод, особенно в Поволжье, где отмечены факты каннибализма, в бассейне Дона и на юге Украины, то есть на территориях, обычно считавшимися крупнейшими поставщиками зерна. На холодном востоке в то же

время на склады засыпано 17 миллионов пудов, то есть 2784 тысячи тонн зерна. Чтобы успеть к весеннему севу, за три месяца нужно перевезти посевное зерно – крестьянам и продовольствие – населению. В январе Дзержинский отправляется в Сибирь во главе группы из сорока лично им проверенных людей. Они находятся там до марта 1922 года в постоянном «титаническом» труде: ежедневно надо отправлять по 270 вагонов с зерном, в то время как до сих пор отправляли только 33. дело продвигается с большим трудом. Успех зависит от мотивации людей, поэтому Дзержинский отдает распоряжение: паровозным бригадам выдавать в пути горячую пищу, машинистам выплачивать премии за эффективную работу. Приказывает также одеть их в форменную одежду, чтобы придать им солидный вид.

> Я вижу, что для того, чтобы быть комиссаром путей сообщения, недостаточно хороших намерений. – пишет он Софье. – Лишь сейчас, зимой, я ясно понимаю, что летом нужно готовиться к зиме. А летом я был еще желторотым, а мои помощники не умели предвидеть.

И в следующем письме:

> Я пришел к неопровержимому выводу, что главная работа не в Москве, а на местах, что ответственных товарищей и спецов из всех партийных (включая и ЦК), советских и профсозных учреждений необходимо перебросить из Москвы на места. (…) Этот месяц моего пребывания и работы в Сибири научил меня больше, чем весь предыдущий год, и я внес в ЦК ряд предложений. И если удастся в результате адской работы наладить дело, вывезти все продовольствие, то я буду рад, так как и я и Республика воспользуемся уроком, и мы упростим наши аппараты, устраним централизацию, которая убивает живое дело.

Он жалуется, что иногда не мог даже спать из-за бессильного гнева и злости на «этих негодяев и дураков», местных работников путей сообщений, которых он застал в Сибири. Были ли у него подобные чувства в отношении негодяев и дураков, сидящих в Кремле? Да, они начали у него появляться. В письме, написанном в поезде по пути из Омска в Новониколаевск, он отмечает: «сибирский опыт показал мне основные недостатки в нашей системе управления». Он начинает понимать также ошибочность доктринерства. Он пишет Софье о своих отношениях со специалистами. «Мы сжились друг с другом… Я вижу, как здесь

без комиссаров и специалисты становятся иными. Институт комиссаров у нас в НКПС [Народный комиссариат путей сообщения] уже изжил себя, и надо будет ликвидировать его поскорее»[443].

Как всегда добрый якобинец всецело отдавался делу. Если он что-то делал, то делал это с самоотверженностью миссионера. «Он бывал на железнодорожных станциях, в депо и в мастерских, – вспоминает Софья, – разговаривал с рабочими, машинистами, стрелочниками, начальниками станций, расспрашивал их о недостатках и потребностях железных дорог. Он вставал в очередь в кассу, проверяя порядок продажи билетов, вскрывая недостатки и злоупотребления. Он учился у рабочих и высококвалифицированных специалистов», читал специальную литературу[444]. Ну, и как министр принимал конкретные решения: сократить занятость, расширить права окружных железнодорожных дирекций, установить тесную связь транспорта с местными органами власти. В обращении к железнодорожникам он отметил: «Извечный позор царской

России – система подкупа, вымогательства и взяточничества – свил себе теплое гнездышко в наиболее чувствительной области нашего хозяйственного организма: на железнодорожном транспорте». Здесь в министре заговорил начальник Лубянки: он приказал расстреливать на месте преступления бандитов, нападающих на охрану железных дорог. В июле 1922 года он создал центральную комиссию по борьбе с взяточничеством при Комиссариате путей сообщения[445].

Дзержинский сделал с железными дорогами то, что в правительстве Керенского хотел сделать Борис Савинков: ввел в ведомстве военное положение и милитаризировал его, а своим чекистам отдал распоряжение: «все внимание наших секретных оперативных отрядов сосредоточить на таких областях хозяйства, как снабжение, распределение и транспорт»[446]. В телеграмме Ленину он назвал это решение «шагами военного характера». Керенский не согласился с требованием своего министра обороны Савинкова. Вскоре после этого он потерял власть. Большевистский премьер Ленин охотно соглашался на такого рода меры. Именно в случае железных дорог они были неизбежны. Кто мог лучше всего внедрить их в жизнь? Председатель ВЧК. Но после спасения голодающего Поволжья Дзержинский стал ассоциироваться в глазах россиян не только с мечом революции. Он стал также и символом милосердия.

XXIII. Мы должны немного поутихнуть. Период НЭПа

Когда Ленин объявил о введении Новой Экономической Политики, Лев Троцкий заявил: «как правящая партия, мы можем допустить спекулянта в экономику, но мы не пустим его в политику!». Что это означало? Усиление бдительности, чтобы в чрезвычайной ситуации не потерять власть. Это положение претворялось в жизнь так же усердно, как и замысел НЭПа, конечно руками чекистов. В результате у людей стало складываться впечатление, что ведомство на Лубянке – это уже не только карающий меч революции, но также и мать различных инициатив.

«Я иногда пробую разговаривать с членами политбюро о том, что общество поставлено под полную и неконтролируемую власть ГПУ Но эта тема никого не интересует» – вспоминал Борис Бажанов, секретарь Сталина, который перебежал на Запад и «обратился в другую веру». Бажанов говорит о ГПУ, так как вскоре после введения НЭПа ВЧК была переименована в неопределенно звучащее Государственное политическое управление – этого требовали новые условия. Но неопределенно звучащее название не изменило самой природы этого учреждения. Бажанов продолжает:

> Благодаря долгой и постоянной тренировке сознание членов коммунистической партии было повернуто только в одном, строго определенном направлении. (…)
>
> И деятельность ГПУ развивается и усиливается как что-то для партии нормальное – ведь в этом заключается суть коммунизма, чтобы постоянно брать кого-то за горло; как же можно иметь в чем-то претензии к ГПУ, если оно так прекрасно справляется с этой задачей? Теперь я понимаю без всякого сомнения: дело не в том, что чекисты мерзавцы, а в том, что система (человек человеку волк) требует и допускает, чтобы именно мерзавцы выполняли такие функции[447].

Но однако что-то дрогнуло: закончилась гражданская война, и надо было менять саму ВЧК, чтобы она не ассоциировалась исключительно с красным террором. Её «чрезвычайность» переходила теперь в «обычность», то есть этап романтизма был заменен этапом бюрократизма.

> Наши неудачи бывают иногда следствием наших достоинств; так было и в случае ЧК. ЧК была героическая, когда защищала революцию от врагов извне и когда была нашим самым эффективным оружием против огромного количества покушений на революцию. – писал Ленин в декабре 1921 года. – Но теперь, в новых условиях, необходимо, чтобы мы ограничили деятельность этого учреждения до чисто политической сферы. Поэтому мы отчетливо заявляем: ЧК надо реорганизовать[448].

Появились предложения подчинить её Народному комиссариату юстиции, возглавляемому в то время Николаем Крыленко. Сам Крыленко утверждал, что ВЧК ужасает жестокостью и полной непроницаемостью к каким-либо мнениям, поэтому следует остудить ее поползновения и ограничить возможности путем подчинения его министерству[449]. Это означало бы, что чекисты на местах, где они отличались исключительной жестокостью, были бы под контролем губернских юристов. Потому что проблема с их самовольством действительно нарастала. Это хорошо иллюстрирует письмо Отдела по специальным заданиям Туркестанского фронта, направленное в ЦК ВКП(б).

> В результате длительного пребывания в органах репрессий, вследствие односторонней, безразличной, механической работы, которая заключалась только в ловле и ликвидации преступников, постепенно, вопреки своей воле, [чекисты] становятся личностями, живущими изолированной жизнью – докладывал отдел. – В их характере развиваются плохие наклонности, такие как высокомерие, наглость, жестокость, равнодушие и эгоизм, и т. п.; постепенно, незаметно для самих себя, они отходят от нашей партийной семьи, образуя свою отдельную касту, которая неопровержимо напоминает касту бывших жандармов. (…) Будучи железным кулаком партии, этим самым кулаком они бьют партию по голове[450].

Дзержинский категорически противился таким характеристикам, замыслам урезать права Комиссии – тоже. Все еще романтик, он относил созданное собственными руками ведомство к категории исторической миссии. Он обращался в политбюро, объяснял, что передача ВЧК под надзор комиссариата юстиции подорвет престиж Лубянки, уменьшит ее авторитет в

борьбе с преступностью и подтвердит все распространяемые белогвардейцами рассказы о якобы творимом ею бесправии.

> Это не попытка поставить ВЧК и ее органы под контроль, это попытка ее дискредитировать, – раздраженно заявляет он на заседании политбюро. – ЧК контролируется только партией. Привлечение к этому губернских комиссариатов юстиции означает фактически принятие курса против ЧК, так как губернские комиссариаты юстиции – это органы формальной юстиции, тогда как Чрезвычайные комиссии – это отряды дисциплинированной партийной боевой команды[451].

Он был неправ, так как Комиссия была «дисциплинированной партийной командой» только в отношении конкретных задач, которые ставились сверху. Но оставалась еще большая сфера недисциплинированности, в которой главную роль играло ничем не оправданное насилие. Удивительное явление: на экономическом фронте Дзержинскому удалось стать прагматиком, который покорно учился у рабочих и подчинялся специалистам, но как начальник ВЧК он не смог отказаться от роли странствующего рыцаря. Трудно поверить в то, что он не отдавал себе отчет в действиях своих людей. Ведь он сам издал ряд внутренних директив, которые запрещали издевательства над арестованными, грабежи и насилие; в случае их нарушения чекистам грозило наказание вплоть до смертной казни. Скорее всего, при контроле за исполнением собственных распоряжений ему не хватило того усердия, которое он проявил хотя бы в случае восстановления жизнеспособности железных дорог. Или во имя блага революции он предпочитал закрывать глаза на бесчинства чекистов, или он сам – почти не выходя из здания на Лубянке – напитался атмосферой «касты жандармов». Существует и еще одна вероятность: структура специальных служб развернулась в такую сложную сеть, что централизованно, из Москвы, ею нельзя уже было эффективно управлять[452].

Бюрократизация ведомства на Лубянке формально сводилась к трем основным моментам: строгому соблюдению законности, концентрации усилий на экономическом секторе и смене методов работы, то есть замене открытого террора тайными действиями. 8 января 1921 года Дзержинский подписывает декрет О *политике наказаний в новых условиях*, по которому в тюрьмы и лагеря можно сажать только за серьезные преступления. «Схематическое распределение людей по их социальному происхождению – кулак, бывший офицер, помещик и т. д. – можно было применять, когда советская власть была слаба. В настоящее время следует

тщательно изучить поступки «бывшего», чтобы его арест имел смысл», так как в противном случае «тюрьмы будут переполнены людьми, которые занимаются невредным ворчанием на советскую власть»[453] – говорится в декрете.

Прямые репрессии исчезают, они заменяются так называемыми научными методами, то есть слежкой, проводимой более скрытно. Эти методы начинают привлекать людей с высоким интеллектуальным уровнем, в рядах ВЧК появляются представители интеллигенции. Начинают завязываться непосредственные, просто дружеские отношения между чекистами и работниками умственного труда. С авангардистами, объединившимися вокруг футуристического ЛЕФа (левый фронт искусств), ближе всего будут связаны чекисты Яков Агранов и уже упоминавшийся несколько раз Яков Блюмкин, находившиеся в дружеских отношениях с Маяковским и Есениным. Муж любовницы Маяковского Осип Брик будет исполнять обе роли – интеллектуала и чекиста. Одновременно в работе ЧК появятся так называемые защитные средства, то есть превентивные действия. Бюрократизация будет также связана и с привилегиями всего ведомства: повышением зарплаты и улучшением продовольственного обеспечения.

Политбюро в секретной инструкции указывает руководству ГПУ, что в связи с НЭПом ведомство должно вести себя пассивно, но при этом: «Каждый сотрудник ГПУ должен отдавать себе (…) отчет в том, что подобная ситуация не может продолжаться долго». Поэтому ведомство с прежней интенсивностью должно прилагать все усилия «с целью раскрытия и регистрации (…) врагов, чтобы нанести им, когда наступит подходящий момент, смертельный удар»[454]. Короче, многозначительно подмигнули. Чекистская верхушка могла сосредоточиться на канцелярской карьере, а низы могли продолжать давать волю своим дегенеративным вожделениям. Дзержинский же тем временем отдавал всего себя экономике и беспризорным.

Наблюдения и оценки Бориса Бажанова неоценимы, если речь идет о ГПУ Он был близко, слушал и был свидетелем. Он, например, заметил, что партийная верхушка боится ГПУ. Потому что эта организация, держа в кулаке все население, могла захватить слишком много власти. Поэтому «троица», то есть Ленин, Троцкий и Сталин, формальные начальники Лубянки, сдерживали Дзержинского и Менжинского (в сумме семнадцать лет Лубянкой руководили два поляка) – людей цивилизованных, отличающихся высокой личной культурой и лояльных в отношении большевистской идеи. Но практические дела «троица» поручала Генриху Ягоде, второму заместителю Дзержинского.

Ягода считался темной личностью, не имеющей в партии никакого значения, а тем более авторитета, но одновременно осознающей свою полную зависимость от партийного аппарата. Он представлял собой тип подчиненного мерзавца. Осознание им своей зависимости гарантировало и зависимость всего ведомства[455].

Концепция «троицы», отвечающая ее интересам и направленная на удержание власти любой ценой в период экономических преобразований оправдала себя, и она выполнялась без особых проблем. Хуже дело обстояло с тем, что находилось вне этого круга вождей, то есть с беспартийным населением, с народом, отданным на милость или немилость ГПУ «Партийное руководство могло спать спокойно, – пишет Бажанов. – Его не интересовал тот факт, что на населении все сильнее сжимаются стальные клещи гигантского аппарата политической полиции, которому диктаторский коммунистический строй предоставляет неограниченные возможности». Скорее всего, здесь Бажанов не имеет в виду клещи террора, так как он, террор, во времена НЭПа значительно ослаб. Более серьезной проблемой были моральные устои общества, которое под влиянием вездесущности полицейского аппарата стало приобретать полицейский менталитет. Весь народ становился кастой жандармов.

Переименование ВЧК в ГПУ[456] произошло в феврале 1922 года. Компетенции Комиссии были частично переданы судам. Расстреливать ГПУ могло только в случае поимки преступника на месте преступления. ГПУ, а затем Объединенное ГПУ, или ОГПУ[457] (подчиняющееся непосредственно Совету народных комиссаров), получило права отдельного министерства (чего Феликс усиленно добивался, отказываясь одновременно от должности народного комиссара внутренних дел, чтобы тем самым подчеркнуть, что ОГПУ – это не Комиссариат внутренних дел). При смене вывески сменилось и обмундирование – кожаные куртки чекистов заменили на светло-голубую форму.

С одной стороны, согласно закону от 6 февраля 1922 года, чекисты могли проводить обыски, арестовывать и конфисковывать имущество только в течение 48 часов с момента совершения преступления. После этого срока они должны иметь письменный ордер ОГПУ С другой стороны, 16 октября был опубликован очередной декрет, касающийся расширения прав ОГПУ, *О борьбе с бандитизмом*, в котором в пункте втором ведомству предоставлялось право «помещать на 3 года в лагеря принудительных работ лиц, признанных общественно опасными, в том числе членов антисоветских политических партий»[458]. В

эффективности этих прав Лубянки быстро убедятся эсеры, священники и интеллигенция.

Под руководством Дзержинского – как главы ВЧК/ГПУ и Главкомтруда – вскоре после революции начинается создание системы трудовых лагерей. До середины 1919 года в каждом крупном городе России создавался лагерь принудительного труда; в самой Москве их было даже пять. Но расположение в крупной агломерации предоставляло возможность побега, поэтому было принято решение создавать лагеря в местах удаленных в прямом смысле слова. Выбор пал на окрестности слабо заселенного Архангельска и лежащие в Белом море Соловецкие острова[459]. Условия в созданных там знаменитых лагерях – первых лагерях СССР – были исключительно тяжелые, с одной стороны, с точки зрения сурового северного климата, с другой – с точки зрения транспортных проблем. В лагеря не доставлялось продовольствие, одежда и медикаменты. Смертность среди заключенных была там значительно выше, чем в центральной России.

Лагеря принудительного труда считались прекрасным методом перевоспитания и развития культуры труда. Георгий Пятаков, высокопоставленный партийный деятель, занимавшийся вопросами экономики, писал Дзержинскому в ноябре 1925 года: «Я пришел к выводу, что в целях создания элементарных условий для развития культуры труда следует в определенных регионах страны образовать места принудительного труда»[460], после чего называет четыре региона, в которых это надо сделать. Дзержинский принимает это предложение к сведению и передает его своим сотрудникам с пометкой, что нужно разработать конкретный план. С 1926 года Соловки становятся символом того самого перевоспитания, которое большинство населения – что примечательно и важно – принимает с полным одобрением. Ведь это все то же самое население, которое сотни лет воспитывалось царским кнутом – и оно знает, что к порядку надо принуждать репрессией.

Оценивая деятельность чекистских структур в период НЭПа, следует принимать во внимание как критику, так и одобрение, причем оба этих подхода часто перекрывались и перекрещивались друг с другом в самых неожиданных местах. В конце 1924 года Николай Бухарин – сначала горячий сторонник «военного коммунизма», а теперь высказывающийся за либерализацию в политике и экономике – написал Феликсу личное письмо, в котором подверг критике деятельность ОГПУ:

> Считаю, что мы должны как можно скорее

> переходить к более «либеральной» форме осуществления советской власти: меньше репрессий, больше законности, больше дискуссии, самоуправления (…). Поэтому иногда я высказываюсь против предложений расширить права ГПУ и т. п. Прошу меня понять, дорогой Феликс Эдмундович (Вы же знаете, как сильно я Вас люблю), что у Вас нет никаких оснований подозревать меня в каких-либо недружественных чувствах как к Вам лично, так и к ГПУ как учреждения. Это дело принципов и только.

Дзержинский аргументацию Бухарина понял. Он переслал письмо Менжинскому с припиской:

> Такие настроения в руководящих кругах ЦК мы обязательно должны учитывать и задумываться над ними. Мы безусловно должны проверить наши действия и методы и устранить все, что может являться пищей для таких настроений. А это значит, что мы (ГПУ) быть может, должны немного поутихнуть, действовать скромнее, осторожнее использовать обыски и аресты, опираясь на более достоверные данные; некоторые категории задержаний (сторонников НЭПа, лиц, виновных в служебных проступках) ограничить и осуществлять их под нажимом мнения широких кругов членов партии или при условии организации такого давления[461].

Итак, упорство Дзержинского при широких правах ЧК начало ослабевать. Но предложение задерживать людей под давлением многих членов партии говорит о все еще живущем в нем популизме и доктринерстве, берущем верх над стремлением начальника Лубянки к законности. Он отчетливо видел, что у него большая общественная поддержка, которая могла оправдать многие действия. Биограф Маяковского Бенгт Янгфельдт совершенно справедливо обращает внимание на то, что «оценка подхода советских граждан к ОГПУ с сегодняшней точки зрения, через призму знания о чистках в тридцатых годах XX века, глубоко антиисторическая»[462]. Ведомство, созданное Дзержинским, действительно пользовалось полным доверием и уважением российского общества. Оно гарантировало порядок и возможность предвидеть завтрашний день, что в России, уже несколько лет находящейся под угрозой полного хаоса, было необычайно большой ценностью.

В декабре 1922 года прошло пять лет с момента создания

ВЧК. 17 декабря на Красной площади состоялся парад войск ГПУ Его принимал Дзержинский, а с ним Унлихт, Петерс, Кон и Енукидзе. День 20 декабря был назван Днем чекиста. Он отмечается и поныне.

XXIV. Такова была воля народа. Расправа с врагами

«Субъективно вы – революционер, каких мы хотели бы видеть больше, но объективно – вы служите контрреволюции» – сказал, якобы, Дзержинский на допросе одному эсеру. Что он имел в виду? Это объясняет фраза Григория Зиновьева на XII съезде ВКП(б) в 1923 году: “В настоящий момент любая критика линии партии, даже так называемая» левая«, является, объективно говоря, критикой меньшевистской “[463]. Потому что в настоящий момент продолжается НЭП, и компромисс, который Ленин был вынужден заключить с рыночной экономикой, означал только, что, отпуская вожжи экономики, надо было усилить бдительность на других фронтах. Прежде всего: уничтожить конкурентные социалистические партии, чтобы они не смогли воспользоваться нынешним хозяйственным кризисом.

Большевики рассуждали вполне логично, ведь совершая октябрьский переворот, они тоже воспользовались тяжелой ситуацией в стране. Только тогда, в 1918 году, после июльской попытки государственного переворота, когда левая фракция партии социалистов-революционеров попыталась отстранить правительство Ленина от власти, эсеры и меньшевики оказались, откровенно говоря, абсолютно беззубыми. Они посчитали диктатуру пролетариата свершившимся фактом и взяли на себя роль критиков только лишь на вербальном уровне, время от времени издавая брошюры типа Что большевики дали народу? Тем не менее, находящиеся у власти коммунисты должны были с ними разобраться как с потенциальными бунтовщиками. Приходилось дуть на воду.

Прежде всего, люди Дзержинского взяли на прицел эсеров, так как те пользовались большой поддержкой разъяренной и голодной деревни и к тому же все еще имели немало своих людей в Красной Армии и ВЧК. После многочисленных арестов, проведенных летом 1921 года, в тюрьмах оказалось несколько тысяч эсеров, том числе входивших в органы партийной власти. В декабре того же года, после доклада Дзержинского о враждебной деятельности эсеров и меньшевиков, Центральный Комитет ВКП(б) передал дела эсеровской верхушки суду Верховного трибунала. Было решено расправиться с ними в судебном порядке, меньшевиками же, как менее опасными, заняться во вторую очередь.

Для того, чтобы начать расправу над эсерами, сначала надо

было подготовить против них доказательства обвинения. В значительной мере они были сфабрикованы[464]. В письме от 20 февраля 1922 года, направленном в Народный комиссариат юстиции, Ленин требовал «организовать несколько показных процессов» в воспитательных целях и, как обычно, для примера. Они должны были быть театральным спектаклем. Троцкий сказал прямо: это будет первосортное политическое представление, с хорошо подобранными актерами в роли обвиняемых и обвинителей, возбуждающей драматической атмосферой и жаждущей справедливости публикой масс. Эти представления даже получили название – агит-суд, то есть агитационный суд.

Так как Ленин хотел сохранить хорошие отношения с заграничными социалистами, он разрешил, чтобы в одну из адвокатских групп, предоставленных эсерам, входили известные в Европе защитники, специализирующиеся на политических делах. Возглавил эту группу Эмиль Вандервельде, бельгиец, председатель Международного бюро II Интернационала – правда, предварительно решили его скомпрометировать, чтобы во время спектакля зрители уже имели о нем сформированное мнение. Этим занялись люди Дзержинского – по его личному поручению – распуская слух, что Вандервельде делает себе маникюр и носит обувь на шнуровке. Это должно было внушить мысль, что адвокат не имеет ничего общего с идеями, проповедуемыми социалистами.

Обвиняемых эсеров разделили на две группы. В первую зачислили так называемых настоящих преступников, которым грозил смертный приговор, то есть все эсеровское руководство. Во вторую вошли деятели низшего уровня и рядовые члены, которым была отведена роль признания себя виновными и демонстрация раскаяния. Благодаря этому, суд – в соответствии с греческим принципом katharsis[19] – должен был их великодушно помиловать. В конце среди публики образовалась группа, кричащая – как греческий хор[20] – «Смерть убийцам!». По мнению прокурора Николая Крыленко, она выражала волю рабочих масс. Финал не мог быть другим: было вынесено одиннадцать смертных приговоров, которые, однако… не были приведены в исполнение. Приговоренным для примера руководителям эсеров большевики уготовили другую роль – заложников. Их поставят перед расстрельным взводом, если их находящиеся на свободе товарищи вздумают заняться контрреволюционной деятельностью[465].

Другой общественной группой, прекрасно подходящей на роль героев греческой трагедии, были священники. Ведь Церковь и ее представители все еще составляли мощную формацию,

которая управляла душами людей и являлась последним бастионом старого порядка. Преследования священников начались уже с первых дней февральской революции – демократическое правительство первым проявило большую неприязнь к Церкви, тесно связанной с царизмом. Еще перед октябрьской революцией было реквизировано церковное имущество, обшаривались церкви и монастыри, запретили преподавание религии, началась кампания с целью расправиться с культом реликвии (это относилось также к Католической церкви и Синагоге, в значительно меньшей степени к приверженцам ислама) – все это при всеобщем одобрении масс, у которых поп ассоциировался с богатством и продажностью. Враждебность вызывала жестокость снизу и желание осуществить «правосудие» собственными руками.

Борьба с Церковью достигла своей кульминации в марте 1922 года. Еще в 1918–1919 годах Дзержинский выпускал из тюрем католических священников, о чем мы уже знаем. Неоднократно ему случалось освобождать и православных, например, отца Романа Медведя, настоятеля церкви Покрова, потом церкви св. Алексия в Москве. Он допрашивал священника лично и предложил ему уехать в Польшу (так как отец Роман родился в Замостье). Тот уезжать отказался, но несмотря на это, был освобожден и продолжал служить– до 1931 года, когда получил пять лет лагерей. Но уже в начале двадцатых годов Дзержинский становится к Церквям все более беспощадным. Он видел в них опасную оппозицию, а кроме того – этого хотел вождь!

> Мое мнение: Церковь распадается, мы должны этому помочь, но ни в коем случае не возрождать ее в традиционной форме, – писал он своему заместителю Лацису в конце 1920 года. – Поэтому церковную политику по разгрому, реорганизации [Церкви] должна проводить ВЧК, и никто иной. Официальные или полуофициальные отношения партии с попами недопустимы. Мы делаем ставку на коммунизм, а не на религию. Лавировать может только ВЧК с одной целью – разбить попов. Союз, какой бы он ни был, других органов с попами бросит тень на партию – это наиболее опасно[466].

Хорошим предлогом для «реорганизации» Церкви стал царящий в России голод, на который наложилась инициатива патриарха Тихона: Православная Церковь готова пожертвовать неосвященные церковные сосуды в пользу Всероссийского комитета помощи голодающим (Помголу). Ленин решил одним

выстрелом убить двух зайцев. Во-первых: возложить на Церковь ответственность за отсутствие помощи голодающей деревне, так как предложение Тихона доказывало, что священники хотят скрыть от голодающих свое самое ценное добро – то есть то, что освящено. Во-вторых: используя имущество Церкви, решить проблему международной конференции в

Генуе, где должен обсуждаться вопрос о выплате российского внешнего долга.

> Любой ценой необходимо закончить отбор церковных ценностей наиболее решительно и быстро, – писал он в политбюро. – Благодаря этому мы обеспечим себе капитал стоимостью в несколько сот миллионов рублей золотом (помните о несметных богатствах некоторых монастырей). Без этого капитала нельзя будет вести государственную работу вообще, в особенности восстановить экономику, а особенно [нельзя будет] укрепить нашу позицию в Генуе[467].

Для диктатора пролетариата голодомор стал хорошим предлогом для грабежа церковного имущества[468].

Отвечая на предложение Тихона, большевики развязали по всей стране агитацию под лозунгом: «Превратим золото в хлеб». Речь шла, естественно, о церковном золоте. Это была идея прежде всего Ленина и Троцкого. На этот раз Дзержинский попытался им возразить, предупреждая, что конфискация церковных ценностей может вызвать волнения, но в ответ услышал, что умирающим с голода нужно больше, чем предлагает Церковь! 26 февраля 1922 года власть издала декрет, согласно которому местные советы должны реквизировать из храмов все предметы из золота, серебра и драгоценных камней. Было ясно, что это встретит категорический протест духовенства и наиболее ревностных верующих, но это как раз и нужно было большевикам. Начались показательные процессы за «препятствование конфискации». В Москве в амфитеатре Политехнического музея судили 54 обвиняемых, как священников, так и обычных граждан, связанных с Церковью. Вынесено одиннадцать смертных приговоров, пять из них приведены в исполнение. В Петрограде ревтрибунал рассматривал дела 86 обвиняемых. Здесь приговоры оказались на удивление мягкими, но четверых главных обвиняемых во главе с митрополитом Вениамином, все равно казнили, только тайно. Тюрьма и ссылка стали среди духовенства почти нормой[469].

Таким же опасным врагом народа была интеллигенция, так как она распространяла «буржуазное мировоззрение». Действительно, в первые годы после гражданской войны

интеллигенты все громче и сильнее критиковали большевиков. Писательница Зинаида Гиппиус в своем дневнике называла их «бандой безумцев», что среди образованных людей не было единичным мнением.

Критику со стороны интеллигенции Ленин, сторонник железного кулака в политике, считал «плаксивостью». Они себя считают «мозгом народа. Тем временем это не мозг, а говно»[470] – писал он в письме Максиму Горькому. Но опасностью со стороны интеллигенции он не пренебрегал. В мае 1922 года он приказал Дзержинскому, чтобы ГПУ тщательно изучило литературные и научные публикации с целью определить, кто из авторов является «кандидатом на депортацию за границу» как явный контрреволюционер, как прислужник и шпион Антанты, как деморализатор учащейся молодежи. Он сам составлял списки людей, которые осмелились критиковать его лично, и передавал их Дзержинскому, Уншлихту или Ягоде. Будучи сам интеллигентом, вождь питал особую неприязнь к конкурентам на ниве интеллекта (дополнительный оттенок этому делу придает болезнь Ленина; ведь это период когда его мозг начинает известковаться и сокращаться, что в конце концов приведет к его смерти). Он знал также, что совестью и памятью народа является его элита. Поэтому еще в 1905 году он задался целью создать новую интеллигенцию – советскую. В статье *Партийная организация и партийная литература* Ленин писал, что в пролетарском государстве газеты должны быть под контролем партийных организаций, а писатели быть членами партии.

В августе уже был готов список антисоветски настроенных интеллигентов с характеристиками на них. Дзержинский дает указание своему заместителю Юзефу Уншлихту распределить всю интеллигенцию по группам. Например: отдельно беллетристы, отдельно публицисты и политики, экономисты, технические специалисты, профессора и преподаватели; он предлагает создать в этих категориях подгруппы. «Информация должна собираться всеми нашими отделами и стекаться в отдел по делам интеллигенции. На каждого интеллигента должна быть заведена папка; каждая группа должна всесторонне освещаться компетентными товарищами»[471] – подчеркивал он. Потом Уншлихт докладывает Сталину, что созданная ГПУ комиссия постановила «провести аресты всех указанных лиц, предложить им выезд за границу за собственный счет. В случае отказа – за счет ГПУ»[472].

Вождь может быть доволен. Первую группу интеллигенции большевики вывозят из Москвы 22 сентября 1922 года. Следующую группу 28 сентября в петербургском порту грузят на

германское пассажирское судно «Oberbürgermeister Haken“, направляющийся в Щецин. Позже его окрестят „кораблем философов“. Будут и новые депортации – весь цвет академической интеллигенции во главе с ректорами Московского и Петроградского университетов. От наказания другого типа их защитила мировая слава – в отличие от интеллигенции украинской, которую ожидала значительно более горькая участь: по предложению Уншлихта – ссылка в отдаленные районы страны. Среди более 200 лиц, выдворенных из страны[473], был и Николай Бердяев, которого Феликс лично допрашивал в одну из морозных ночей и отправил домой на чекистском мотоцикле.

В обстановке травли, развязанной против врачей, Россию покинет и младший брат Феликса Владислав, выдающийся невролог, никогда не питавший симпатии к коммунизму. В начале лета того года в Москве состоялся Всероссийский съезд врачей, после которого народный комиссар здравоохранения Николай Семашко доложил Ленину, что в ходе съезда велась кампания против советской медицины, обдумывались способы поддержки кадетов[474] и меньшевиков, а также рассматривался вопрос о создании своего печатного органа. Ленин велел информировать об этом в строжайшей тайне Дзержинского и членов политбюро. Не исключено, что Феликс предупредил тогда брата о возможных репрессиях. А Владислав – мог ли он прямо сказать брату о своем возмущении проводимой большевиками политики? Если да, то как оправдывался Феликс? Можно только догадываться: что депортированные – это контрреволюционеры, сторонники старой системы, вольнодумцы, бунтовщики и т. д.

Если попытаться защищать Дзержинского, то только как председателя комиссии, которая рассматривала просьбы об отмене депортации. Помилование получили те, которые были признаны незаменимыми в своей области. «За границей находится большая группа выдающихся российских специалистов, живущих в тяжелых условиях, желающих вернуться в Россию и работать, – докладывал Феликс в августе 1923 года председателю Политбюро Льву Каменеву. – В отдельных случаях следует их прощать и давать российское гражданство»[475]. Однако такие доводы в защиту председателя ВЧК слишком натянуты[476].

Годы спустя кто-то иронически заметит, что приказом о депортации Ленин спас огромную массу российской интеллигенции от сталинских чисток[477].

Оставалась еще белая эмиграция. 1 декабря 1920 года Ленин отдает Дзержинскому распоряжение: ЧК должна подготовить план разработки врагов Страны Советов за границей, а затем окончательно их ликвидировать! Потому что русская эмиграция –

вскоре усиленная за счет депортации интеллектуалов – является многочисленной средой, формирующей общественное мнение, а иностранные разведки действуют здесь очень активно.

Большевистская Россия с каждым годом все больше представляла собой – по мнению верхушки – осажденную крепость, со всех сторон атакуемую врагами[478]. Поэтому надо было взяться за дело и придумать способ, чтобы враги коммунистического государства сами шли в ловушку как мухи на мед.

Мысль, как это сделать, родилась на Лубянке в 1921 году. Она получила кодовое название операция «Трест» и должна была убедить весь мир, что в России продолжает действовать развитая конспиративная сеть, преследующая цель возвращение царизма. Автором идеи был Владимир Джунковский, когда-то начальник Охранки, обучавшийся этому ремеслу еще под началом Зубатова, затем министр внутренних дел и тайный советник царя. Теперь он сам предложил свои услуги чекистам. Его замысел являл собой образец мастерства в деле провокации и шпионажа.

Самым большим успехом этой операции будет привоз в Россию Бориса Савинкова – главного эсера эмиграции. Для советской власти Савинков представлял двойную угрозу. С одной стороны, он стал чуть ли не эсеровской иконой, будучи при этом сторонником парламентаризма. Находясь во главе министерства обороны в правительстве Керенского, он хотел арестовать всех большевиков, совершенно справедливо предполагая, что именно они могут свергнуть Временное правительство и захватить власть. Поэтому он преследовал их с особой настойчивостью, и поэтому Ленин считал его своим врагом номер один. С другой стороны, в эмиграции он все время составлял заговоры, организовывал русскую оппозицию, договаривался с правительствами Англии, Франции и Польши, пытался даже получить расположение Бенито Муссолини. Известный и уважаемый в мире, он мог увлечь за собой разочарованные диктатурой пролетариата российские массы.

Дзержинский занялся этим делом лично. Чтобы распознать тактику Савинкова, он прибег к помощи советского дипломата в Берлине и собрал информацию о его деятельности на территории Польши. Затем, пользуясь рекомендациями Джунковского, он с сотрудниками разработал в рамках «Треста» искусный план операции «Синдикат-2», направленный непосредственно против ведущего эсера. «Мы должны заставить Савинкова поверить, что в России существует новая, ему неизвестная мощная контрреволюционная организация, которая ждет своего пользующегося авторитетом руководителя»[479], – объяснял Феликс

своим чекистам. Теперь за разработку подробностей плана берется трудолюбивый, исключительно интеллигентный Андрей Федоров; через два месяца шеф утверждает его предложения. Претворить их в жизнь должны четкие и рассудительные Артур Артузов и Роман Пиляр.

Летом 1922 года чекистам удается арестовать и склонить к сотрудничеству человека из окружения Савинкова. Он пишет Борису Викторовичу письма, в которых утверждает, что все идет как нельзя лучше: конспиративная сеть действует активно, а сам Борис станет спасителем-избавителем оппозиции. Вся операция «Синдикат-2» продлится целых два года и закончится полным успехом людей Дзержинского: 16 августа 1924 года после пересечения советской границы Борис Савинков вместе с сопровождающими его супругами Деренталь будет арестован в минской гостинице. Он с уважением скажет чекистам: «Хорошая работа, господа».

Привезенный в Москву, в стенах Лубянки его встретят необычным способом: выставкой картин его младшего брата Виктора, художника, находящегося в эмиграции. Неужели Дзержинский хотел показать свое чувство юмора? О, нет. Тем самым он показал, что главный эсер станет «заключенным, к которому будет специальное отношение». Но одновременно Савинков услышит от Феликса знаменательные слова: «сто тысяч рабочих, без какого-либо давления с чьей бы то ни было стороны, придут и потребуют Вашей смерти – смерти «врага народа»![480]. Понимал ли шеф Лубянки, что ударил в его самое чувствительное место?[481] Ведь тот, кто боролся во имя народа, теперь будет объявлен его врагом.

Через несколько дней легендарный эсер, автор известных *Воспоминаний террориста* неожиданно совершает нечто странное. На второй день процесса над ним, 28 августа 1924 года, Борис Викторович вдруг заявляет: «Я признаю советскую власть». Благодаря этому, суд заканчивается на следующий день существенным смягчением наказания: смертный приговор заменяют на десять лет тюрьмы. Обвиняемый получает также неофициальное обещание быстрого освобождения. О, не только обещание, но и заверение в том, что с таким опытом он имеет шанс стать правой рукой Дзержинского. Но не теперь. Пока он должен оставаться за решеткой все еще в роли «заключенного, к которому будет специальное отношение». И действительно, ни у кого, кроме него, нет таких привилегий. На Лубянке ему предоставляют двухкомнатную квартиру с полной меблировкой. В его распоряжении автомобиль с водителем, который возит его на прогулки за Москву. Он может принимать гостей, в том числе и

заграничных, может свободно вести корреспонденцию, писать книги и вести дневник. Многие годы он является признанным писателем, теперь у него есть возможность официально издаваться в СССР. Он получает высокие гонорары, которые пересылает на содержание своих троих детей. Чтобы полностью почувствовать комфорт специального отношения, с ним в квартире живет его любовница и друг Любовь Дереналь. Она, видимо, является чекистским агентом, которая должна следить за каждым его шагом, но он не хочет в это верить.

Взамен за эти удобства и обещания он должен подписать последнее обязательство – опубликовать на страницах «Правды» признание: *Почему я признал советскую власть.* Он идет на все. Даже сам проявляет инициативу: пишет письма друзьям-эмигрантам, убеждая их поверить большевикам и вернуться в Россию, где их ждет прощение. Для бывших соратников Савинкова это шок. Тесно связанный с ним Дмитрий Философов грубо ответит ему: «Вы человек, конченный морально и политически (…). Для меня Вы – мертвый лев. А с тем псом, который теперь живет в России, не хочу и не могу иметь ничего общего». В Варшаве, где Савинков воспитывался и где покоится прах его отца, легендарного эсера станут называть «трупом контрреволюции».

6 мая 1925 года исстрадавшийся Савинков по наущению присматривающего за ним чекиста-эсера Василия Сперанского пишет письмо Дзержинскому:

> Когда меня арестовали, я был уверен, что у меня два выхода: первый казался мне почти неизбежным – меня поставят к стенке. Второй – что мне поверят, а если поверят, то дадут работу. Третий выход – т. е. лишение свободы – я исключал (…). Обращаюсь к Вам, гражданин Дзержинский, если верите мне, то освободите меня и дайте мне какую-нибудь работу. Любую, пусть даже самую несущественную[482].

Он ожидает ответа почти сутки и получает его через одного из чекистов, который сообщает ему, что говорить о свободе еще рано.

Поздним вечером 7 мая Савинков выбрасывается из окна кабинета Романа Пиляра и разбивается о бетон двора[483]. Дзержинский, когда ему доложили о смерти эсера, впал в бешенство. «Савинков остался верен себе. Он вел грязную, путанную, авантюристическую жизнь, так же ее и закончил»[484] – именно так он, говорят, выразился. Говорят, так как этот рассказ передавался из уст в уста. Ежи Лонтка в *Кровавом апостоле*

пишет: «Для фанатика, Железного Феликса, внезапная перемена Савинкова после ареста была, скорее всего, признаком слабости, свидетельством предательства своих идей, за которые здесь, в России, гибли его люди»[485].

Но слова Дзержинского можно интерпретировать и как проявление бессилия и гнева на поступок Савинкова, который был исключительно ценным приобретением Лубянки и еще не раз мог пригодиться.

А может ключ к разгадке внезапной перемены и смерти легендарного эсера кроется в чем-то другом? В словах Феликса, что тысячи рабочих без всякого давления будут требовать смерти эсера? В тот момент непосредственной конфронтации с Дзержинским Савинков, наверное, понял, что он проиграл. Как продолжатель дела Александра Ульянова, он выступал от имени народа – но народ выбрал советскую власть. «Такова была воля народа», – заявил он на страницах «Правды». И он подчинится этой воле до конца.

Операция «Трест» – это не только дело Савинкова. После эффектного успеха, каким был его арест, следующей провокацией стало Монархическое Объединение России (МОР). Неизвестно, была ли эта организация подчинена влиянию агентов ГПУ, или ими же и создана – во всяком случае, она стала частью заграничных операций Лубянки, проводимой под кодовым названием «МОР-Трест». Ее члены внедрялись в структуры иностранных разведок, в том числе польской «Двойки», но разрабатывались также разведки Великобритании, Франции, Финляндии, Эстонии, Латвии. Успехом увенчалась провокация в отношении высококлассного английского шпиона Сиднея Рейли, как и Савинков прельстившегося предложением приехать в Россию для свержения правительства. В сентябре 1925 года он будет арестован и ликвидирован. Крупным успехом ГПУ было также похищение крупнейшего в эмиграции монархического деятеля Виктора В.Шульгина. Ему устроили «конспиративную» встречу с руководством «МОР-Треста» и ознакомление с реалиями жизни в Стране Советов, чтобы убедить его, что переворот с целью возврата к царизму вполне возможен. После возвращения на Запад Шульгин в 1927 году издал в Берлине книгу на эту тему *Три столицы.* Ее редактировал сам глава «МОР-Треста», то есть начальник Отдела контрразведки ОГПУ Артур Артузов!

Вся тонкая структура этой советской шпионской сети функционировала до 1927 года[486]. Поистине это была мастерская операция подчиненных Дзержинскому служб. Ее и поныне преподают при подготовке сотрудников как пример образцовой деятельности специальных служб.

XXV. Фабрика ангелочков. Защитник беспризорных

В переписке с Альдоной есть письмо Феликса, написанное 21 октября 1901 года из тюрьмы в Седльцах. «… Я встречал в жизни детей, маленьких, слабеньких детей с глазами и речью людей старых, – о, это ужасно! Нужда, отсутствие семейной теплоты, отсутствие матери, воспитание только на улице, в пивной превращают этих детей в мучеников, ибо они несут в своем молодом, маленьком тельце яд жизни, испорченность. Это ужасно!..» Дзержинский описывает эти наблюдения, когда ему было двадцать четыре года.

Может, сестра жаловалась ему, может писала о необходимости применения телесных наказаний к своим детям, потому что кроме постоянных вопросов о племянниках, Феликс высказывает свои мысли на тему воспитательных методов.

> Теперь я хочу написать немного о детках ваших. Они так милы, как все дети; они невинны, когда совершают зло или добро; они поступают согласно своим желаниям, поступают так, как любят, как чувствуют, – в них нет еще фальши. Розга, чрезмерная строгость и слепая дисциплина – это проклятые учителя для детей, – пишет он в очередном письме. – Розга и чрезмерная строгость учат их лицемерию и фальши. Розга, чрезмерная строгость и телесные наказания никогда не могут желательным образом затронуть сердце и совесть ребенка, ибо для детских умов они всегда останутся насилием со стороны более сильного. Любое наказание, исходящее снаружи, никогда и никого улучшить не может, а только калечит. (…) Запугиванием можно вырастить в ребенке только низость, испорченность, лицемерие, подлую трусость, карьеризм. Страх не научит детей отличать добро от зла[487].

В те времена эти заметки были полностью новаторскими. Ведь это было начало XX века – предметное отношение к детям было явлением натуральным, чтобы не сказать – желательным. Януш Корчак тогда еще только студент медицинского факультета Варшавского университета. Трудно поверить, что тот же человек, дядя Фель – как его называют племянники – через несколько лет будет считать, что только массовым террором можно спасти человечество. Что только навязанными обществу страхом и

постоянной слежкой удастся установить всеобщую справедливость.

Тем не менее это правда, а не коммунистическая пропаганда: Дзержинский действительно относился к детям с особым расположением. Его жена Софья описывает, как в Кракове он собирал в своей квартире детей бедноты, живущей в ужасных условиях в этом же доме, и устраивал для них что-то в виде детского сада: он позволял им бегать, мастерил для них примитивные игрушки из спичечных коробков, а осенью – из каштанов. Случалось, – вспоминала Дзержинская, – что я заставала его пишущего за столом, а на коленях сидел малец и что-то сосредоточенно рисовал, а другой забрался сзади на стул, обхватил «Юзефа» за шею и внимательно следил за его работой[488].

После долгих лет тяжелой борьбы новая государственная должность, на которую Дзержинский был назначен в 1921 году – министра путей сообщения и ответственного за поставки зерна – дала ему неизмеримо больше удовлетворения, чем применение красного террора и даже чем успехи в разведке. НЭП создал условия, когда он, наконец, мог делать добро. Мало того, настало время, когда у него появился шанс стать спасителем в прямом смысле – спасителем сирот. Потому что он столкнется с ужасающим фактом их бездомности, насчитывающей миллионы.

«Они скитаются толпами, непохожие на людей, издавая звуки, едва напоминающие человеческую речь. У них искаженные, звероподобные лица, свалявшиеся волосы и пустой взгляд, – вспоминал английский журналист Малколм Маггеридж, возвратившись из большевистской России. – Я видел их в Москве и Ленинграде – они сидели под мостами, подкарауливали кого-нибудь на вокзалах. Они появлялись внезапно, как стая диких обезьян, а потом разбегались и исчезали»[489]. Это подлинное описание детей, в подавляющем большинстве крестьянских, часто в возрасте от трех до семи лет, лишенных опеки взрослых – беспризорных, как их называли. Их сиротство было результатом мировой, а потом гражданской войны, голода, эпидемий, а также… действий ВЧК/ГПУ Комиссар просвещения Анатолий Луначарский и считавшаяся Почетным Другом Детей Надежда Крупская подсчитали, что в 1921–1923 годах беспризорных было по крайней мере шесть миллионов. На самом деле их было больше, потому что дети убегали от направляемых на места анкетеров, которые должны были ознакомиться с их ситуацией. Они были как крысы из городской канализации – неисчислимые, живущие большими стаями, разносящие болезни (в том числе венерические), занимающиеся разбоем и проституцией (как грибы

после дождя возникали педофильские публичные дома), страдающие алкогольной и наркотической зависимостью – постаревшие уже в начале жизни. При этом они становились жертвами: битыми, насилованными, убиваемыми, ибо ликвидировали их без особых угрызений совести – как насекомых-вредителей. И им приходилось учиться самообороне. Горький в ужасе рассказывал Ленину, что «встречаются двенадцатилетние дети, у которых на совести уже по три убийства»[490]. Это если говорить о мальчиках. С девочками была другая проблема: восемьдесят процентов двенадцатилетних беременели. Если и донашивали, то бросали новорожденных, так как не были в состоянии их выкормить.

В конце 1920 года, проконсультировавшись с Луначарским, Дзержинский направляет свою сотрудницу Калинину в юго-восточные районы России с задачей составить рапорт о беспризорных.

> Количество бездомных детей достигло в последнее время катастрофических размеров; дети неорганизованной, беспорядочной массой идут куда-нибудь на юг, где, по их мнению, тепло и нет голода, – сообщала он ему в рапорте. – По пути они объединяются, занимая целые составы. На крупных узловых станциях они располагаются лагерями в ожидании следующего поезда. Этот поток детей растет изо дня в день и приобретает очень угрожающий характер. В поиска выхода из ситуации начальник эвакуационного пункта кавказского фронта издал недопустимый приказ выставить кордон, чтобы не пропустить ни одного из этих детей на Кавказ. Такие же кордоны выставлены на Дону и в других местах. Ребенок попадает тут как в ловушку, и в какую бы сторону он ни повернулся, везде натыкается на оружие[491].

Калинина осмотрела также приюты, где на одной кровати спало по шесть-восемь детей. У них не было ни одежды, ни лекарств, даже тряпок, чтобы обернуть зимой ноги. Они ходили босиком и обмораживали ноги. Ели из консервных банок, пухли с голоду.

Спасение беспризорных стало для Дзержинского самым важным сражением его жизни[492]. Проанализировав рапорт Калининой, он немедленно доложил о проблеме Ленину, и в январе 1921 года был назначен председателем Комиссии по вопросам улучшения быта детей, а через два года – председателем Комиссии по организации недели бездомного и

больного ребенка. К работе обеих комиссий он привлекает представителей комиссариатов просвещения, продовольственного снабжения, здравоохранения, а также рабоче-крестьянской инспекции. Но прежде всего – свои службы, так как считал, что «наш аппарат относится к наиболее четко действующим. У него везде ответвления. С ним считаются. Его боятся»[493].

И чекисты получают новое задание: вылавливать (дословно так, потому что дети прячутся в самых невообразимых местах) беспризорных и помещать их в детские колонии, которые создавал известный педагог Антон Макаренко[494]. Феликс лично участвует в акции: ходит по дворам, заглядывает в помойки, в котлы для растапливания асфальта, канализационные люки и уборные. Он собирает этих маленьких человеческих обтрепышей как завшивевших котят из дикого помета. И рассылает категорические приказы. Например, тамбовской ЧК: «Занятый Специальным отделом ЧК отремонтированный дом отдать под больницу для детей, так же как и огороды». Он требует отдавать детские учреждения под опеку промышленных предприятий, общественных или военных организаций, которые должны эти учреждения дофинансировать и контролировать. Он велит создавать в детских колониях мастерские, которые приучат детей к труду, научат профессии и вместе с тем принесут средства, необходимые колонии для выживания; если в колонии есть земельные участки, он распорядился устраивать на них сельские хозяйства. Он помечает, что необходимо: «не хватает 25 тыс. кружек, надо сшить 32 тыс. телогреек, необходимо материала на 40 тыс. комплектов детской одежды, кожи на подошвы для 10 тыс. пар обуви». В другой раз записывает: «Ясли в районе Басманной, приют на улице Покровка. Нет кроватей, холодно. На 25 младенцев одна няня. Кухарка и сестра-хозяйка питаются за счет детей».

Первая детская коммуна по проекту Макаренко была создана в Болшево под Москвой; Дзержинский часто туда ездил, а после его смерти коммуна была названа его именем. Возвращаясь оттуда, он с восхищением рассказывал: «Вы не поверите, но эти грязнули – это мои лучшие друзья. Я у них отдыхаю».

Когда в борьбе с бездомностью детей появились первые успехи, со всей России посыпались благодарственные письма, а пионерские дружины называли Железного Феликса своим патроном. Он получал от них такие письма:

> Дорогой товарищ Дзержинский! Мы, молодые пионеры вновь организованного 30 отряда в городе Воронеж шлем Вам горячий пионерский привет, а также

> сообщаем Вам, что наш отряд мы назвали Вашим именем и присвоили Вам звание почетного пионера. (…) Знакомясь с Вашей биографией, Вашей деятельностью, являющейся частичкой деятельности и жизни нашей коммунистической партии, мы будем учиться на Вашем примере, чтобы стать такими же несгибаемыми большевиками[495].

При всем при этом – несмотря на самые искренние намерения председателя ВЧК – акция помощи беспризорным была для ведомства на Лубянке только своего рода фиговым листком. Она придавала спецслужбам человеческие черты (в период сталинского террора и первых показных процессов тридцатых годов Генрих Ягода будет хвастаться, что находясь на должности начальника НКВД, он продолжает начатую Дзержинским борьбу с бездомностью несовершеннолетних). Дзержинский говорил, что в Советской России для детей нет ни судов, ни тюрем. К сожалению, были и тюрьмы, и лагеря, а ЧК в значительной мере была ответственна за ужасающую ситуацию с российскими детьми. Когда они нарушали закон, их судили как взрослых, по крайней мере, в период красного террора (проверка московских тюрем, проведенная в марте 1920 года, показала, что пять процентов осужденных моложе семнадцати лет). Надежда Крупская с полной уверенностью заявляла заграничным средствам массовой информации: «У нас нет фабрик ангелочков». Это понятие, возникшее еще в царские времена, означало приюты для младенцев-сирот, в которых отмечалась высокая смертность. В большевистской России «фабриками ангелочков» становились советские сиротские приюты.

Любые репрессии властей, которые касались родителей, касались и их детей. Аресты взрослых, отправка их в тюрьмы, их казни, выселение, помещение в лагеря принудительных работ – результатом всего этого было то, что их дети либо попадали в приюты для сирот, либо становились беспризорниками. Либо заложниками. «В лагеря попадают дети, в том числе самые маленькие, даже младенцы, – докладывал Москве в 1921 году начальник Тамбовского губернского управления принудительных работ. – Прошу иметь в виду, что лагеря – это место для временного содержания (палатки на голой земле), что может привести к массовым заболеваниям среди детей»[496]. Проблема приобрела повсеместный характер и нарастала, поэтому ВЦИК издал циркуляр, в соответствии с которым детей надлежало перевести из лагерей в дома ребенка. Но в распоряжении было и дополнительное указание: указанный перевод не

распространяется на семьи расстрелянных бандитов.

Итак, детей переводили, только… «То, что мы имеем – это не дома ребенка, а детские кладбища и клоаки в прямом смысле» – сообщали работники этих учреждений в руководимую Дзержинским Комиссию по улучшению быта детей. Кладбища – потому что дети массово умирали от множества болезней. Клоаки – потому что примитивные туалеты были настолько грязны, что доски прогнили от экскрементов и дети часто проваливались прямо в клоачные ямы. Случалось, что директорами этих домов ребенка назначались люди по партийному набору, не имеющие понятия о педагогике, но зато проявляющие садистские наклонности. Как жаловался в 1923 году на своего директора бывший учитель в доме ребенка в Актюбинске: «в середине ночи он устраивал построения, будил выстрелами спящих крепким сном детей, вытаскивал их из постели за волосы, угрожал револьвером. Доходило и до избиений». Осужденные родители были прекрасно осведомлены о таких условиях, поэтому часто предпочитали, чтобы дети оставались вместе с ними за решеткой – в тюрьме или лагере.

Дзержинский мог гордиться, получая красивые благодарственные письма от спасенных беспризорников, но, как начальник ВЧК, он получал и другие письма. Так, в мае 1921 года ему написала открытое письмо эсерка Евгения Ратнер, два года узница Бутырки. Она сидела там с сыном Александром и теперь писала свежеиспеченному председателю Комиссии по улучшению быта детей, что у нее хотели забрать сыночка и поместить его в «фабрику ангелочков». Когда она на это не согласилась, тюремная администрация стала ограничивать его право на прогулки, на получение молока с воли и на посещение родственников. «Ваш первый воспитательный эксперимент завершился успешно, – пишет она с иронией. – Маленький Саша сидит под замком, он стал очень кротким и покорным. Надеюсь, что эта педагогическая система, примененная ко всем детям РСФСР, принесет не менее великолепные результаты».

Ратнер будут судить в процессе эсеров в 1922 году, ее сошлют в Самарканд, где она умрет через девять лет. Что стало с ее сыном – неизвестно. Парадокс состоит в том, что произошедшее с ней должно было быть близким Дзержинскому. Ведь его жена родила сына Ясика в тюрьме и там, в кошмарных условиях пыталась поддержать здоровье сына. Позже, сосланная, она вынуждена была отдать сына в приют для сирот. Но этот опыт не мешал Дзержинскому репрессировать родителей детей, которыми он потом занимался с таким усердием.

После смерти Феликса ему начали ставить памятники как

другу малолетних детей. Но уже вскоре, во времена сталинского правления государственная опека над детьми без родителей сначала остановится, а потом повернется вспять – чтобы окончательно приобрести вид кошмара. По мере нарастания чисток в ужасающем темпе начнет возрастать количество детей посаженных или ликвидированных врагов народа. Рожденные и выросшие в лагерях, они будут знать только грязь, колючую проволоку, холод и голод, а их словарный запас будет ограничен понятиями: *зона, доходяга, зек и урка.*

Новые поколения детей ГУЛАГа будут конвоировать из одного лагеря в другой – в том числе и на пароме им. Феликса Дзержинского! В мае 1954 года прокурор Магаданской области, ведущий следствие по делу детей из зоны, сообщит: «Вследствие безответственности при перемещении детей из Дальстроя в центральные области СССР [на пароме им. Дзержинского], сорок восемь детей умерло в первые дни после их прибытия в залив Ванино»[497].

Чего стоит мир, оплаченный хоть одной слезой ребенка? – задавался вопросом Иван Карамазов. Коммунизм впитал в себя гектолитры детских слез.

XXVI. Гарант единства партии. Борьба за власть

Объявленная Лениным Новая Экономическая Политика – это встряска для партии большевиков. Даже, наверное, большая, чем забастовки рабочих, бунты крестьян и восстание матросов Кронштадта вместе взятые. В подготовленном для ЦК отчете о X съезде РКП(б) есть даже упоминание о товарищах, которые заявление Ленина посчитали капитуляцией и «расплакались недопустимым, детским образом»[498].

Но вождя слезами не проймешь. Тем более, что в это время основную часть сил он сосредоточивает на расправе с политической оппозицией. Но оказывается, что проблемы появляются и в его собственных рядах. Лев Троцкий противится смягчению экономической политики и высказывается за централизацию профсоюзов. Полемизирующие с ним товарищи обвиняют его в применении «полицейских методов принуждения рабочих»[499], а наиболее радикально на постулаты Троцкого реагирует старый большевик Александр Шляпников, который создает Рабочую оппозицию. Он сразу находит много союзников, прежде всего среди рабочей братии, но также и в кругах большевиков-интеллигентов. Последние образуют вторую фракционную группу: Демократический централизм. Ленин вынужден реагировать. На переломном X съезде он вносит также резолюцию О *единстве партии*, запрещающую создание в ее рядах каких-либо фракций. Стеной за ним стоит Дзержинский, всегда собранный, готовый и лояльный – и вождь назначает его хранителем этого единства (тот факт, что Дзержинский одновременно является и председателем ВЧК, играет здесь немаловажную роль)[500]. Вскоре в борьбе с фракциями важнейшим становится голос Центрального комитета, который получает диктаторские права в партии.

Тем временем у Ленина начинают проявляться серьезные проблемы со здоровьем. Склероз кровеносных сосудов мозга оказывается наследственным. В мае 1922 года у него первое кровоизлияние, в декабре – несколько кровоизлияний подряд. Начинают страдать его умственные способности. Появляются симптомы, характерные для этой болезни: афазия, паралич, приступы бешенства и навязчивые идеи. В Кремле все чаще упоминается слово «наследник». Явным кандидатом представляется Лев Троцкий – значительно более сдержанный в стремлении к централизации, чем Ленин, который, однако,

симпатизирует его взглядам. Вождь находил в нем «прекрасного организатора, который оправдывал доверие в любой сфере практической деятельности и который компенсировал его собственные слабости: неумение командовать на первой линии и нежелание покидать «главный штаб»»[501]. Но в конце 1920 года активность Троцкого сильно падает: все больше времени он посвящает писательству, ездит на охоту и отдыхает в правительственных санаториях. Он по очереди отказывается от должностей народного комиссара по вопросам снабжения, а затем и по вопросам финансов. Он не хочет также вмешиваться в грузинский конфликт между Лениным и Сталиным. Он явным образом старается выбиться на позиции независимого интеллектуала.

А соперник Троцкого – которого до сих пор никто не принимал во внимание, даже он сам, которого высмеивали и называли «выдающейся посредственностью» – он последовательно начинает брать в свои руки контроль над партийным аппаратом. По мнению Дмитрия Волкогонова: «Ленин был вдохновителем, Троцкий – агитатором, а Сталин – исполнителем»[502]. Следует добавить: исполнителем с огромными диктаторскими амбициями. 3 апреля 1922 года он становится генеральным секретарем ЦК (генсеком – на партийном жаргоне); его главная задача состоит в том, чтобы не допускать фракционности в партийных рядах. А так как Центральный комитет уже обладает всей полнотой власти над РКП(б), то автоматически эта власть концентрируется в его руках. Он также договаривается с Дзержинским, что седьмого числа каждого месяца ГПУ будет представлять в его секретариат отчеты о своей деятельности. Должность генсека дает Сталину еще одну возможность: она позволяет ему полностью контролировать больного, изолированного вождя.

Ленин находится в подмосковных Горках в занятой большевиками усадьбе миллионерши Зинаиды Морозовой[503]. Дзержинский, со времени покушений на вождя, исполняет роль начальника его личной охраны. Он окружает Ленина специальной опекой, определяет места пребывания, обеспечивает безопасный транспорт, заботится о его автомобиле и гараже, чтобы кто-нибудь туда не пробрался и не совершил акт саботажа. Усадьбу Морозовой он считает подходящим местом для пребывания больного вождя и приставляет к нему своих чекистов в роли адъютантов, водителей и даже медицинских работников. Конечно, о Ленине заботится и жена Надежда, и сестра Мария, и врачи, как правило, немецкого происхождения. Генсек Сталин посещает его регулярно, значительно чаще, чем другие члены политбюро[504]. Потом на заседаниях политбюро он передает им

«привет от Ильича», давая тем самым понять, что именно он является его ближайшим доверенным лицом. В конце концов он получает согласие пленума ЦК на то, чтобы лично следить за изоляцией Ленина (по рекомендации врачей), за его контактами и перепиской. А благодаря тому, что одна секретарша Ленина является женой Иосифа Виссарионовича, а вторая доносит обо всем секретарю Совнаркома Лидии Фотиевой, а та – генсеку, у него полный контроль над каждым словом вождя.

Когда Сталин укреплял свое влияние в партии, многие большевистские руководители сходились на том, что нелюбимый Троцкий не должен стоять у власти. Они не задумывались о возможном контркандидате. Главное, чтобы на кремлевский трон не сел Троцкий. А для Дзержинского приоритетом была вверенная ему вождем забота о единстве партии. Он не сомневался, что Троцкий первым разрушит это единство, поэтому он встал на сторону генсека[505]. Неписанный договор между Дзержинским и Сталиным скрепит и грузинский вопрос.

В 1918 году Грузия получила независимость, а к власти пришли меньшевики. Благодаря этому в глазах западных социалистов Грузия стала единственным в мире по-настоящему социалистическим государством. Через три года Сталин и Серго Орджоникидзе, в то время председатель Бюро ЦК ВКП(б) по вопросам восстановления советской власти на Северном Кавказе, организуют вторжение и с триумфом въезжают в Тифлис – ныне Тбилиси. Грузии уготована такая же судьба, как и всем народам, входившим в состав бывшего царского государства: присоединение к Российской Федерации на правах автономии, иначе говоря – советизация. Грузинские большевики под руководством Буду Мдивани и Филиппа Махарадзе категорически с этим не соглашаются, требуя статуса отдельной грузинской республики с сохранением национальной идентичности. Дело доходит до конфликта. Ленин принимает их сторону, так как хочет присоединить Грузию на принципах федеративного союза и конституционного равенства всех республик. При этом он, однако, отдает себе отчет, насколько сильное влияние на грузин – в основном крестьянского происхождения – продолжают оказывать меньшевики. Он предпочитает применить метод мягких уговоров. Он хочет прояснить обстановку и в ноябре 1922 года направляет на Кавказ специально созданную следственную комиссию. Но председателя комиссии назначает Сталин, и им становится Дзержинский. Сталин знает, что тот решит дело так, как хочет он, Сталин!

Феликс возвращается в Москву и в декабре отчитывается перед Лениным. Он старательно пытается очистить Сталина и

Орджоникидзе от обвинений, предъявляемых им взбунтовавшимися грузинами. Оказывается, что дело дошло до афронта. Орджоникидзе дал пощечину товарищу Кабахидзе за то, что тот назвал его «ослом Сталина»[506]. Ленин взбешен, он кричит на начальника ГПУ и велит ему вернуться в Грузию за дополнительной информацией. После этого, 30–31 декабря, он диктует секретарше письмо, в котором называет Сталина и

Дзержинского «обрусевшими иноплеменниками». О генсеке он выразился так: «жестокий великорусский держиморда». А шефа Лубянки охарактеризовал следующим образом:

> Боюсь, что тов. Дзержинский, который поехал на Кавказ, чтобы изучить дело о «преступлении» этих «социал-предателей», проявил здесь также только свой подлинно русский дух (известно, что обрусевшие иноплеменники всегда любят пересолить, если речь идет о подлинно русском духе), и что беспристрастие всей его комиссии достаточно характеризует «рукоприкладство» Орджоникидзе. Думаю, что никакая провокация и даже никакое оскорбление не могут оправдать этого русского рукоприкладства, а также что тов. Дзержинский несет не подлежащую исправлению вину за то, что легкомысленно отнесся к этому рукоприкладству[507].

Еще раньше, между 23 и 29 декабря Ленин продиктовал известное *Письмо к съезду* (должно быть зачитано на XII съезде, запланированном на апрель 1923 года), названное потом *Завещанием*, а 4 января – *Добавление.* Скорее всего под влиянием грузинского конфликта, он критикует в нем Сталина – с предложением освободить того от должности генсека. «Сталин слишком груб, – заявляет Ленин, – и этот недостаток, вполне терпимый в среде и в общениях между нами (…), становится нетерпимым в должности генсека». Хотя, что симптоматично, никаких претензий политического характера он ему не предъявляет. Как и Троцкому. Он только упрекает того только в том, что он «слишком склонен к самоуверенности, но это самый способный человек в настоящем ЦК»[508]. Другим членам политбюро он указывает на их ошибочную политическую линию, давая ясно понять, что, по его мнению, они не являются кандидатами на власть.

В конце января 1923 года Дзержинский возвращается из второй поездки в Грузию. Ленин просит привезти ему собранные документы. Но тот дает уклончивый ответ, что он уже передал их Сталину. Вождь не уступает, требует, угрожает и, наконец, 3 марта получает доклад, составленный по материалам

Дзержинского. Прочитав его, Ленин окончательно встает на сторону грузинской оппозиции. Он ищет чьей-то мощной поддержки и через два дня пытается уговорить Троцкого выступить на пленуме ЦК в защиту грузин. Тот отказывается. В тот же день вождь – наверное, когда он жаловался жене на Сталина – слышит от нее об инциденте, который произошел в декабре. Тогда генсек впервые показал когти, притом в отношении Крупской, которая у всех пользовалась уважением, подобающим матроне революции. Он по-хамски обругал ее за то, что она позволяет мужу диктовать письма (в данном случае – теплое письмо Троцкому). Крупская рассказывает об этом мужу со слезами, а удивленный Ленин смотрит на нее широко раскрытыми глазами. Это была последняя капля, переполнившая чашу горечи. Он немедленно диктует еще одно письмо, на сей раз Сталину, требуя, чтобы тот извинился перед Крупской. Он успеет еще написать Дзержинскому, чтобы тот подумал, чью сторону он держит. «Сталин назвал Наденьку дегенераткой и проституткой. Как это вам понравится?»[509] – спрашивает он шефа Лубянки. Скорее всего, он уже знает, что генсек не должен становиться его преемником!

Но 10 марта у него случается обширное кровоизлияние, после которого он теряет речь. Последние десять месяцев жизни Ленин может выговорить только *«вот-вот»* и «*съезд-съезд*». Слишком поздно что-либо предпринимать. Сталин приходит к власти.

Чем руководствовался Феликс Дзержинский в деле Грузии? Почему он оказался столь нелояльным в отношении Ленина? По всей видимости, здесь сыграли роль две причины. Во-первых – «национальный вопрос». Он всегда был камнем преткновения между ними. Во-вторых, учитывая болезнь вождя, верх взял политический инстинкт, повелевающий искать новую силу. Бажанов в своих воспоминаниях утверждает: «Ему быстро бросилось в глаза, что Дзержинский всегда шел за находящимся у власти»[510]. Но, скорее, речь здесь шла не о власти. В случае Люксембург и Ленина – об авторитете, в случае Сталина – о гарантии единства партии.

Несмотря на запрет фракций, раскол в рядах большевиков становился все более очевидным. Например, декабрь 1923 года: на партийных съездах уже гудело и шумело от разгоревшихся дискуссий (последних перед сталинским периодом). Не обошли они стороной и ОГПУ За Троцкого стеной стояла армия, за Сталина – страшно разросшаяся бюрократия. В ОГПУ было представлено и одно, и другое, поэтому внутри чекистских структур шли ожесточенные споры, кого поддержать. В

московском клубе ГПУ 19 декабря дело дошло до серьезного скандала, а началось все с полемики между членами коллегии ОГПУ Меером Трилиссером и редактором «Правды» Евгением Преображенским, ведущим троцкистом. К ней присоединился первый чекист – с эмоциональностью, которая будет ему присуща уже до конца дней – заявив, что до сих пор он уважал Преображенского, но теперь его ненавидит. «Он враг партии, он наш враг, он мой враг», – кричал он, чтобы в конце рявкнуть на весь зал: «Для противников линии Центрального Комитета нашей партии нет места в ОГПУ Убирайтесь!»[511].

Неужели Дзержинский не рассмотрел самые темные стороны натуры Сталина, которые предвещали, что диктатуру пролетариата он преобразует в диктатуру личности – чтобы окончательно превратиться в человекоубийцу? По-видимому, нет. И не только он. Сталин взял власть совсем гладко, а виноват в этом в значительной мере был сам Троцкий. Самонадеянный, не терпящий возражений интеллигент, на каждом шагу показывающий свое превосходство над другими, он ни у кого не вызывал симпатии. В минуты, когда решалась судьба власти, он не предпринял ничего в свою пользу, будучи абсолютно уверенным в своей победе. А ведь он раскусил образ мышления своего соперника достаточно быстро. О времени, когда обсуждался вопрос ратификации мирного договора с Германией, он писал:

> Какова была позиция Сталина? Как всегда, так и на сей раз он не занял никакую позицию. Выжидал и комбинировал. – Старик все еще рассчитывает на мир, – говорил он мне о Ленине, – но из мира ничего не получится. – Потом он уходил к Ленину и, надо думать, то же самое говорил в мой адрес. Сталин никогда не выступал. Никто особенно и не интересовался его мнением[512].

А членам политбюро казалось, что сын сапожника будет к ним более покладист. Тем более, что Троцкий открыто критиковал Бюро – за отрыв от партии и народа, за то, что его члены сосредоточились только на собственной карьере[513].

О самом начальнике Лубянки Лев Троцкий написал, что какие-то два-три года Дзержинский чувствовал к нему особую симпатию. Тот факт, что затем он стал поддерживать Сталина, несостоявшийся руководитель СССР объяснял недооценкой Дзержинского вождем революции.

Охлаждение отношений между Лениным и

> Дзержинским началось в тот момент, когда Дзержинский понял, что Ленин думает, будто он неспособен занимать руководящие посты в государстве и экономике. Это толкнуло Дзержинского в сторону Сталина. Ленин, в свою очередь, посчитал необходимым ударить по Дзержинскому как приверженцу Сталина[514]

– утверждал Троцкий. Но Лев Давидович ошибается вдвойне. Дзержинский много раз повторял (в том числе и Троцкому), что он не способен стать партийным деятелем. И не случайно он не поднимался выше кандидата в члены политбюро. Ничего большего он в этом смысле не ожидал. Экономическими проблемами он занимался по прямому указанию Ленина – при этом трудно не признать руководящей должность народного комиссара путей сообщения.

Троцкий также утверждает, что вождь не был доволен его работой в комиссариате путей сообщения – но это Дзержинский с самого начала не хотел этой должности, считая, что он для нее не подходит (но когда он ее занял, то оказался чрезвычайно полезным). А в письме Ленину от 19 апреля 1921 года он просто занялся самокритикой, утверждая, что во главе комиссариата «должен стоять не администратор» (как он) «и не инженер – специалист в своей области, а предприимчивый и обладающий авторитетом экономист-политик, который проводил бы широкую активную транспортную политику (…)». «Я на эту роль не гожусь, не будучи ни политиком, ни экономистом.»Я знаю, что ничего не знаю««[515].

Владимир Ильич Ленин умирает 21 января 1924 года. На следующий день Президиум Центрального Исполнительного Комитета СССР создает комиссию по организации похорон, которую возглавляет товарищ Дзержинский – также и в физическом смысле, так как во время похорон он несет гроб спереди. Софья Дзержинская напишет: «Я никогда раньше не видела Феликса таким подавленным»[516]. Может он чувствовал угрызения совести, что грузинский конфликт ускорил смерть вождя? А может почувствовал себя одиноким на политическом фронте? Ведь он всегда повторял, что ценит только двух революционеров: Розу Люксембург и Ленина. Слепая вера в генсека как гаранта единства партии быстро окажется иллюзией.

У вождя перед похоронами был изъят мозг, чтобы доказать гений творца диктатуры пролетариата. Мозг оказался сильно деформированным: одно полушарие сжалось до величины грецкого ореха, о чем, конечно, не было сообщено общественности. Автором идеи мумифицировать тело был

Леонид Красин, в то время посол в Лондоне. Он правильно предположил, что народ, лишенный новой властью православной веры, будет относиться к телу вождя, не поддающемуся порче, как к реликвии. Организацию создания культа умершего вновь взял на себя Дзержинский. Забальзамированное традиционным способом тело уже в марте начало портиться, и Феликс вызвал из Харькова коллегу своего брата, анатома профессора Владимира Воробьева, который отлично с этим справился. Сначала построили временную усыпальницу, но специальная комиссия должна была заняться проектом мавзолея, также по предложению Красина, чтобы придать ему «форму трибуны». Но автор проекта Алексей Щусев за образец взял египетскую ступенчатую пирамиду фараона Джосера. После проведения конкурса такой замысел был одобрен.

До этого времени большевики боролись с реликвиями. Они были для них орудием темноты и суеверия. А теперь у них были свои реликвии – вопреки воле умершего и его ближайших родственников, которые хотели обычных похорон на кладбище в Петрограде. При постройке первой версии мавзолея, из дуба, была повреждена канализационная труба. Никто этого не заметил, так как она была замерзшая. Когда она оттаяла, из нее полились фекалии. Патриарх Тихон, говорят, прокомментировал: «Какие реликвии, такое и помазание…»

XXVII. Я устал от этих противоречий. Экономист

Ровно через неделю после похорон вождя Дзержинский получает новую должность – председателя Высшего Совета Народного Хозяйства (ВСНХ). Сейчас 2 февраля 1924 года, большевистское государство существует уже семь лет, а российская экономика производит едва сорок процентов от того, что производила перед первой мировой войной.

Ленин посылал Дзержинского туда, где другие не могли справиться, и теперь Политбюро и Центральный комитет партии направляют его на фронт экономической борьбы. Почему именно он? Он уже успел доказать свою склонность к хозяйственной деятельности, но теперь главной причиной является политика. На съездах партии начинается острая борьба за власть, и кто-то должен следить за экономической ситуацией и общественным порядком в стране. С этой точки зрения шеф Лубянки дает двойную гарантию. Как лояльный член партии и рыцарь, стоящий во главе служб безопасности, он обеспечивает порядок и спокойствие. Как миссионер и практик одновременно – все знают, что он посвятит себя экономике без политических амбиций. Словом, для верхушки он не представляет опасности в борьбе за власть, а может взять в руки метлу и прибраться.

Феликс – как обычно – делает больше, чем от него ожидали. Он оказывается способным в экономическом отношении самородком, страстным сторонником рынка и противником эмиссии пустых денег.

> Некоторые товарищи считают, что если мы напечатаем достаточное количество денег, то таким образом решим стоящие перед нами проблемы, – говорил он уже в 1922 году. – Но такая уверенность глубоко ошибочна (…). Если в стране нет зерна, если нет готовых товаров, то никакая напечатанная бумажка не создаст ни это зерно, ни эти товары[517].

Он пытается доказать членам политбюро, что установление цен Государственной комиссией по планированию – это цифры, взятые с потолка, которые не имеют ничего общего с действительной стоимостью товара. Он считает необходимым реализовать одну из основных черт капитализма – конкуренцию!

Имея твердую уверенность в необходимости сохранения единства партии, в экономике Дзержинский придерживается

диаметрально противоположного мнения: нужна децентрализация. Он сделал упор прежде всего на тяжелую промышленность (главным образом на топливный и металлургический секторы) и на транспорт. Вступив в должность, он написал: «… работы масса: военная промышленность, электротехническая промышленность и электрификация, горнодобывающая и металлургическая промышленность. Вся политика торговая, финансовая и т. п. Для того, чтобы скорректировать директивную линию, подобрать людей, упорядочить работу, мне потребуется не меньше двух лет»[518]. При этом его концепция состояла в том, что уровень жизни советского общества определяют три фактора: продовольствие, транспорт и топливо. Когда-то Ленин говорил, что социализм – это советская власть плюс электрификация. Теперь Дзержинский считает, что исходной точкой должна быть советская власть плюс рынок. К тому же он стал пропагандистом планирования, горячо поддерживающим экономиста Николая Кондратьева, соавтора первой пятилетки. В июне 1924 года уже были разработаны общие положения концепции развития экономики.

По рассказам Софьи, он целые ночи просиживал над отчетами, цифрами и докладами. Вновь читал специальные книги и советовался с компетентными людьми. Делая упор на тяжелую металлургическую и металлообрабатывающую промышленность, он усердно занялся также автомобильной и судостроительной промышленностью. И действительно, дело пошло: вводились в эксплуатацию заводы по производству автомобилей[519] и самолетов, с 1925 года началось производство тракторов, строились электростанции. Дзержинский исходил из того, что заводы надо строить в местах, где еще нет рабочего класса, ближе к сырьевым базам, чтобы снизить издержки производства. Поэтому в Узбекистане и Туркменистане начали возникать текстильные фабрики, на Украине и на Урале – металлургические заводы, а в Сибири и на юго-востоке страны – заводы по производству сельскохозяйственных машин. Конечно, это было связано с развитием инфраструктуры: дорожной и железнодорожной сети, морских и речных портов. Был в этом и политический замысел Дзержинского: «…чтобы все население [отдельных республик] ясно видело пользу от принадлежности к СССР»[520].

Председатель ВСНХ сделал ставку на экономию за счет, в частности, сокращения штатов в управлениях, трестах и учреждениях, а также отмены торжественных празднеств и юбилеев. Одновременно он объявил открытую войну спекуляции и коррупции, с которыми была связана проблема так называемых

ножниц, то есть разницы между ценами на товары промышленного и сельскохозяйственного производства. Склады были забиты произведенным оборудованием, которое никто не покупал из-за высоких цен. Когда Дзержинский добился введения рыночных цен, склады опустели за несколько недель. Новая Экономическая Политика создавала благоприятные условия для людей, способных маневрировать на рынке и заниматься волчьим бизнесом. Таких людей называли нэпманами (сегодня о них сказали бы: нувориши, богачи-вы-скочки). Дзержинский отдал Ягоде распоряжение об их выселении, особенно из Москвы, и о конфискации их имущества. Но в марте 1924 года за нэпманов перед политбюро вступился комиссар финансов Сокольников. Политика борьбы с ними, утверждал он, создает проблемы при проведении валютных операций… И ОГПУ уступило.

Дзержинский был сторонником производственных совещаний, на которых требовал честной и открытой дискуссии. «Не следует бояться того, что на производственном совещании рабочие дадут нам по носу за то, что нам полагается, а иногда и за то, что нам не полагается, – говорил Феликс. Он сетовал, что все сводится к тому, что исписывают горы бумаг, на чтение которых ни у кого нет времени, и рекомендовал

> как можно больше личных контактов по линии: руководитель управления – трест – завод или фабрика, сведение переписки и отчетности к необходимому минимуму, в руководящих органах замена бюрократов людьми, хорошо знающими дело и умеющими учиться; частые выезды руководителей на места, на предприятия.

Лозунг «больше экономии, меньше администрации» стал его основной директивой. Дзержинский высказывался за развитие профессиональных училищ при заводах и за обучение в рабочих бригадах. Он поддерживал кустарный промысел и надомную работу, что, по его мнению, имело огромное политическое значение, так как давало безземельным крестьянам, лишним на селе, возможность найти заработок. Все это окупалось его здоровьем, нервами и чувством разочарования в людях. «Иногда можно все уладить в течение дня, если боятся Дзержинского, а если это не дело Дзержинского, то будет тянуться целую неделю, целый месяц»[521] – говорил он с грустью.

Но результат был виден невооруженным взглядом – в 1926 году уровень промышленного производства превысил уровень 1913 года, производительность труда выросла на пятьдесят процентов, а вместе с ней наполовину выросла заработная плата[522]. Вырос и экспорт – любимое детище Дзержинского. Он

яростно боролся со сторонниками импорта, делая упор на собственное производство, которое можно предложить миру. Наверное, никто не ожидал, что этот революционер без среднего образования окажется таким способным экономистом и сможет восстановить то, что большевики уничтожили «военным коммунизмом». «Он призывал, побуждал к работе, увлекал за собой, – рассказывал Лев Троцкий, который после снятия с руководящих постов еще оставался начальником отдела науки и техники в ВСНХ, то есть непосредственно подчинялся Дзержинскому. «У него не было какой-то единой, продуманной концепции экономического развития. Он разделял все ошибки Сталина и защищал их с присущим ему жаром»[523] – продолжал Троцкий, отмечая при этом, что несмотря на большие расхождения в политических взглядах, Дзержинский, как начальник, никогда не позволял себе афронта по отношению к нему. Следует помнить, что идеи Троцкого в отношении экономики не были ни в чем лучше «ошибок Сталина». Да и программу Дзержинского в хозяйственных вопросах трудно назвать отвечающей сталинской линии. Ведь пройдет всего несколько лет, и новый вождь полностью откажется от достижений НЭПа.

Если бы экономическая политика Дзержинского была продолжена, у СССР был бы шанс встать на ноги. Конечно, это государство оставалось бы идеологически инфицированным, но его граждане смогли бы хоть в какой-то мере пожить в достатке. Российский журналист Отто Лацис, занимающийся вопросами экономики, несколько лет назад заявил: «Если кто-нибудь предложит поставить памятник Дзержинскому на Варварке, где когда-то находился Высший совет народного хозяйства, я обеими руками подпишусь под таким предложением. Он полностью этого заслужил. Если же кто-нибудь захочет восстановить его памятник на Лубянке, я лично пойду его рушить»[524]. С этим трудно не согласиться.

А в политбюро тем временем все время идет война. Дуэт Каменев – Зиновьев сначала занимает сторону Сталина, а потом переходит на троцкистские позиции.

В 1922–1924 годах страной правит «троица», а в 1925 г. – после ее распада – политбюро, – описывал Борис Бажанов. – Но с января 1926 года, после съезда Сталин начинает собирать плоды своей многолетней работы – у него свой ЦК, свое политбюро и он становится лидером (еще не полностью хозяином; члены политбюро еще что-то в партии значат, члены ЦК тоже)[525].

По кремлевским залам прокатываются бурные баталии, интриги, взаимное подсиживание, громкие споры эхом

отражаются от высоких сводов – это время, наверное, самых крупных склок, каких не было при Ленине, и которые через несколько лет вообще не будут иметь места.

Такая атмосфера отражалась на всем, в том числе и на работе Дзержинского, который, несмотря на явные успехи, почувствовал себя потерянным. Как исполнитель и реализатор, он прекрасно нашел себя в экономике. Он вошел в нее не с позиций председателя ВЧК, но со словами, обращенными к специалистам: «Я пришел к вам учиться». Это положительно влияло на людей, так как они чувствовали его искренность и участие. В период голода, борьбы с беспризорностью и неудачной попытки улучшить жизнь среднего гражданина, людям явился чуть ли не отец-избавитель. Но с момента ухода Ленина из Кремля в Феликсе назревал внутренний кризис. Пока он чувствовал сильную руку Владимира Ильича, он шел в указанном ею направлении, теперь он остался на поле боя совсем один и должен был опираться только на свои принципы, потому что уже никого не считал авторитетом. А партийная верхушка относилась к нему как к удобному инструменту, который должен был реагировать только на указания сверху[526].

Чем лучше шли дела в экономике, тем сильнее нарастало в Дзержинском состояние неудовлетворенности и раздраженности, которое во всей своей полноте нашло выход в 1926 году. 3 июля, за семнадцать дней до смерти, он пишет известное письмо Валериану Куйбышеву, заместителю председателя Совета народных комиссаров:

> При сем мои мысли и предложения по системе управления. Существующая система – пережиток. У нас сейчас уже есть люди, на которых можно возложить ответственность. Они сейчас утопают в согласованиях, отчетах, бумагах, комиссиях. Капиталисты, каждый из них имел свои средства и был ответственен. У нас сейчас за все отвечает СТО и П/бюро. Так конкурировать с частником и капиталистом и с врагами нельзя. У нас не работа, а сплошная мука. Функционально комиссариаты с их компетенцией – это паралич жизни и жизнь чиновника-бюрократа[527]. Именно из этого паралича не вырвемся без хирургии, без смелости, без быстроты. Все ждут этой хирургии (…). И для нашего внутреннего партийного положения это будет возрождение. (…) Хозяйственники тоже играют большую роль. Они сейчас в унынии и растерянности. Я лично и мои друзья по работе тоже «устали» от этого положения. Невыразимо.

Полное бессилие. Сами ничего не можем. (…) Так нельзя. Все пишем, пишем, пишем. Нельзя так. Наши рабочие – при 8-часовом дне будут работать 5–6. Прогуливать будут до 30 %. И наши профсоюзы спят. Не находим общего языка. Согласуем. (…) Наша кооперация – спрягаем и склоняем о ее социализме, а она вся на помочах, душит потребителя, лупит промышленность, не дает серьезно поставить и разрешить вопрос о частнике, который все растет и растет, все накопляет. (…) У нас сейчас нет единого мнения и твердой власти. Каждый комиссариат, каждый зам. и пом. и член в наркоматах – своя линия! Нет быстроты, своевременности, правильности решений.

Я всем нутром протестую против того, что есть. Я со всеми воюю. Бесполезно. Но я сознаю, что только партия, ее единство – могут решить задачу, ибо я сознаю, что мои выступления могут укрепить тех, кто наверняка поведут и партию, и страну к гибели, т. е. Троцкого, Зиновьева, Пятакова, Шляпникова. Как же мне, однако, быть? У меня полная уверенность, что мы со всеми врагами справимся, если найдем и возьмем правильную линию в управлении на практике страной и хозяйством, если возьмем потерянный темп, ныне отстающий от требований жизни. Если не найдем этой линии и темпа, оппозиция наша будет расти и страна тогда найдет своего диктатора – похоронщика революции, какие бы красные перья ни были на его костюме.

От этих противоречий устал и я.

Я только раз подавал в отставку. Вы должны скорее решить. Я не могу быть Председателем ВСНХ при таких моих мыслях и муках. Ведь они излучаются и заражают[528].

Письмо Дзержинского стало поводом для обмена мыслями между Рыковым и Куйбышевым, председателем и заместителем председателя Совнаркома. Куйбышев пишет: «Инициативы у него много, значительно больше, чем у меня… Ситуация выглядит настолько серьезно (ведь в последних строках он однозначно упоминал о самоубийстве), что мои предположения по поводу его амбиций должны отойти на второй план». И предлагает, чтобы Дзержинский заменил его на посту народного комиссара рабоче-крестьянской инспекции. Рыков на это отвечает: «А может назначить его председателем Совета труда и обороны и возобновить традицию двух правительств? Но Куйбышев против:

«Это исключено. Система двух правительств должна быть раз и навсегда похоронена. Не говоря уже о том, что ни нервная система Феликса, ни его впечатлительность не предрасполагают его на должность председателя СТО». Рыков: «Боюсь, что его нервозность и экспансивность могут привести к несчастью, если не предпримем каких-то решительных шагов»[529].

К какому несчастью могла привести нервозность Феликса? К опрометчиво предполагаемому Куйбышевым самоубийству? А может проблема заключалась в слишком смело выдвинутых тезисах, как тот о «диктаторе – похоронщике революции»? Ведь такое определение использовал Троцкий в отношении Сталина. Одно бесспорно: Дзержинский утратил революционный энтузиазм, видя при этом все более диктаторское поведение генсека. Он ясно указывал, что экономика – это рынок, а политические действия ведут опять к умерщвлению рынка. Он стоял на распутье между линиями сталинской и троцкистской. Он пытался белые и черные оттенки идеологии превратить в серые очертания компромисса с действительностью. Но было слишком поздно. К тому же верхушка явно им пренебрегала. Пока был жив Ленин и царил террор периода «военного коммунизма», его боялись как председателя ВЧК, но с того момента, как он занялся экономикой, ОГПУ руководили люди покроя Ягоды, а его личный стиль жизни привел к тому, что к нему вообще перестали прислушиваться члены политбюро.

«Внешне он напоминал Дон Кихота, – описывал Феликса тех лет Бажанов. – Меня изумляла его военная гимнастерка с заплатами на локтях, а его страстность резко контрастировала с холодным цинизмом некоторых членов политбюро». Мало того, они воспринимали эту страстность как нечто неестественное и поэтому неподобающее. «Во время его полных жара выступлений члены политбюро смотрели по сторонам, просматривали бумаги, царила атмосфера смущения. Один раз председательствующий – Каменев – сухо заметил:»Феликс, ты же не на митинге, а на заседании политбюро««. Реакция Дзержинского была симптоматична: «Феликс в секунду вдруг перешел с возбужденного, страстного тона на простой, обычный и спокойный»[530]. Без сомнения: у политиканов он вызывал иронию.

Троцкий считал его человеком взрывного характера.

Его энергия находилась в постоянном напряжении, благодаря непрерывной разрядке электричества. Он легко загорался по любому, даже второстепенному делу, тонкие ноздри дрожали, взгляд искрился, а голос напрягался и часто срывался. Несмотря на такое сильное и длительное нервное напряжение, у Дзержинского не было периодов депрессии и апатии. Он всегда

находился как бы в состоянии полной мобилизации. Ленин сравнил его как-то с горячим конем чистых кровей[531].

Вдова Эдварда Прухняка, когда в пятидесятые годы проходила в Варшаве мимо памятника Дзержинскому, не смогла удержаться от язвительного комментария: «Когда разнервничается, грыз стены, большие дыры в стенах, в несколько сантиметров… а ведь у него совсем не было зубов (…) Обычный истерик этот Фелек»[532]. Он до конца остался романтиком по убеждению и прагматиком по действиям. Среди членов политбюро, сосредоточенных только на власти, это считалось слабостью и пережитком. Дон Кихот умирал среди смеха.

XXVIII
Я сам. Смерть

«Постоянно кашляю, особенно ночью. Мокрота густая, желтая. Прошу дать лекарство для дезинфекции легких и отхаркивания мокроты, – писал в записке кремлевскому врачу. – Обследовать меня не надо. Не могу смотреть на врачей и на обследование не соглашусь. Прошу даже не поднимать этот вопрос»[533].

Его состояние здоровья ухудшалось изо дня в день. Кроме проблем с легкими, начало шалить сердце. В конце 1924 года, как пишет Софья Дзержинская, у него был первый инфаркт, потом еще несколько, в чем он никому не признался. На сохранившихся с тех времен снимках видно, что он пополнел. Лицо расплылось, а под глазами видны мешки, что также может говорить о проблемах в системе кровообращения. Как всегда перегружал себя работой по шестнадцать – восемнадцать часов в сутки. К тому же страдал бессонницей и депрессией. При таких заболеваниях чудо, что он еще жил.

С 19 на 20 июля 1926 года он вернулся домой в три часа утра. Лег, но заснуть, видимо, не смог. Уже днем, около девяти часов, не завтракая, поехал в ОГПУ Даже чаю не выпил. Потом он вернулся в Кремль, потому что начинался пленум ЦК, посвященный экономике. В зале заседаний он сел рядом с Анастасом Микояном, что-то записывал в блокнот и слушал доклад Льва Каменева, в то время комиссара внутренней и внешней торговли. Потом на трибуну вошел Юрий Пятаков, заместитель Дзержинского в Высшем совете народного хозяйства, известный драконовскими методами эксплуатации рабочих. Обращаясь к Микояну, Феликс заметил, что его заместитель даже не потрудился известить его, что будет выступать.

Пятаков, сторонник Троцкого, обвинил деревню в быстром обогащении и потребовал повысить цены на промышленные товары для сельского хозяйства и увеличить крестьянам налоги. Феликс, рассказывал потом Микоян, отреагировал нервно: он вертелся в кресле, лицо его покраснело. Он попросил слова. Сначала он обвинил предыдущих ораторов в «полном невежестве и незнании дела, о котором они здесь говорили». Пятакова он вообще назвал неграмотным, а Каменеву заявил, что тот занимается политиканством, а не работой. На упрек ранее выступавших, что деревня обогащается, он ответил: «Какой же это достаток: 400 миллионов накопили крестьяне, по 4 рубля на

голову, а когда вы сдерете с мужика последнюю рубашку, то и сами останетесь без рубашки». Потом среди реплик из зала, то поддерживающих его, то критикующих, он выплеснул из себя в зал те же опасения, о которых писал в письме Сталину и Куйбышеву. А Каменеву он сказал прямо:

> Вы удивляетесь, что крестьянин не хочет продавать зерно, и считаете, что во всех наших трудностях виноват кулак. А тем временем все несчастье заключается в том, что мужик не может купить товары, потому что они слишком дорогие. Чтобы отобрать у крестьян зерно, надо будет вернуться к старым временам, то есть вернуть помещиков[534].

Атмосфера была накалена. Реплики острые и язвительные, ответы Феликса эмоциональные. Семнадцать раз его выступление прерывалось возгласами из зала. Сидевший напротив трибуны чешский коммунист Богумир Шмерал двумя днями позже напишет в «Правде»: «Он часто судорожно хватался левой рукой за сердце. Потом начал прижимать к груди обе руки»[535]. Участники пленума были уверены, что это ораторские приемы. Никому и в голову не пришло, что так ведет себя человек, переживающий инфаркт миокарда. Окончив выступление, он еще смог вернуться на место рядом с Микояном, но стал терять сознание, и ему помогли перейти в другое помещение. Его положили на диван и вызвали врача. Укол камфары и ландышевые капли помогли настолько, что он хотел даже вернуться в зал. Все время он требовал отчет о ходе заседания. Через три часа он все еще был слаб. Наконец, он собрал свои вещи и, тяжело дыша, отправился домой в сопровождении своих секретарей Станислава Реденса и Абрама Беленького.

Софье сообщили о состоянии мужа, и она быстро, раньше его, вернулась домой.

> [Когда он вошел,] сильно сжал мне руку, – вспоминала Софья. – И без слов направился в спальню. Я поспешила за ним, чтобы опередить его и постелить ему постель, но он остановил меня своим обычным: «Я сам». Чтобы его не беспокоить, я задержалась поздороваться с его товарищами. В этот момент Феликс наклонился над кроватью и вдруг мы услышали глухой стук: он без сознания упал на пол[536].

Беленький и Реденс бросились к нему, подняли и положили на кровать, а Софья по телефону пыталась вызвать врача, но в

стрессе не могла вымолвить ни слова. Это сделал живущий по соседству Адольф Барский. Приехавший врач сделал умирающему еще один укол камфары. Слишком поздно. Время 16.40. Ему было 49 лет.

«Он умер почти стоя, почти сразу, как сошел с трибуны, с которой метал в оппозицию громы своей страсти»[537] – напишет потом Троцкий. В тот же день Центральный Комитет опубликовал обращение ко всем членам ВКП(б)[538]: «Сегодня партию постиг новый тяжкий удар. Скоропостижно скончался от разрыва сердца товарищ Дзержинский, гроза буржуазии, верный рыцарь пролетариата, благороднейший борец коммунистической революции, неутомимый строитель нашей промышленности, вечный труженик и бесстрашный солдат великих боев»[539]. Таких громких слов появилось сразу великое множество, в том числе и напыщенное выступление Сталина о «вечном пламени». Теперь уже без внутрипартийных споров можно было писать очередную, после Ленина, икону – обожаемую рабоче-крестьянскими массами и поминаемую добрым словом теми, кого вскоре Иосиф Виссарионович возьмет за горло.

Гроб с телом был выставлен в Доме Союзов. Похороны состоялись 22 июля 1926 года. На сохранившейся пленке видны одетые во все белое Сталин и Троцкий, несущие гроб, а также товарищи из политбюро, слева и справа. Сталин прощался с

Феликсом как с хранителем единства и мощи партии. Это не было правдой, но гроб тогда фактически сообща – в последний раз – несли высшие руководители партии и государства. Эти похороны были последним актом их единства. Феликса похоронили у кремлевской стены у изголовья Ленина, сразу за его мавзолеем.

Подозрения относительно того, как умер Дзержинский, стали появляться сразу после его смерти. Говорили об отравлении: яд мог быть всыпан в стакан с водой, которую пил Феликс во время выступления. Поэтому было решено опубликовать результаты вскрытия тела, выполненного кремлевскими врачами во главе с профессором Алексеем Абрикосовым. Во время вскрытия установлен артериосклероз кровеносных сосудов и смерь в результате аневризмы сердца. В документе не было ни слова о трагическом состоянии легких покойного, ни о шрамах на его ногах – памятке о каторжных кандалах. Это вновь вызвало спекуляции, что тело Дзержинского подменили. В то время уже два года работал коллектив врачей, занимавшихся мозгом Ленина. Впоследствии этот коллектив образует Институт мозга. У Дзержинского же мозг не изъяли, и это стало поводом для новых сплетен: мозг не взяли, потому что после отравления в нем

остались следы яда. Или: не взяли, потому что чекист номер один совершил самоубийство, выстрелив себе в голову, и от мозга ничего не осталось.

Немалую роль в предположениях и догадках об убийстве Феликса сыграл Максим Горький. Узнав в Италии о его смерти, он немедленно написал письмо Якубу Ханецкому. Тот, в свою очередь, передал письмо в редакцию «Правды», которая быстро его опубликовала.

> Я просто ошеломлен смертью Феликса Эдмундовича, – писал Горький Ханецкому. – В первый раз я его встретил в 9 – 10 годах и уже тогда он произвел на мою душу неизгладимое впечатление чистоты и постоянства.
>
> В 18–21 годах я узнал его очень хорошо, несколько раз разговаривал с ним на очень деликатные темы, часто я отягощал его разными проблемами, а благодаря его духовной чувственности было сделано очень много хорошего. Он заставил меня привязаться к нему и уважать его. И поэтому я хорошо понимаю трагическое письмо Екатерины Павловны[540], которая пишет мне: «Нет уже самого хорошего человека, бесконечно дорогого каждому, кто его знал». – Боюсь за вас, дорогие товарищи. Живя тут, лучше понимаешь, что вы делаете и глубже оцениваешь каждого из вас. На душе беспокойство и тяжесть. Нет, какая же неожиданная, какая же безвременная и какая же бессмысленная смерть Дзержинского. Черт знает что![541]

Последние предложения письма Горького можно воспринимать как многозначительное предположение – а не была ли смерть Дзержинского убийством из-за угла? Московские товарищи Горького, наверное, не усмотрели в письме этого предположения, потому что если бы они разгадали мысль писателя, не позволили бы опубликовать письмо на страницах «Правды». Чтобы представлять себе, что он имел в виду, говоря: «Боюсь за вас, дорогие товарищи», надо знать историю его краткого пребывания в Варшаве. Вскоре, по дороге в Париж на конгресс писателей, Горький проездом оказался в столице Польши и стал искать Игнатия Дзержинского, брата Феликса. Он передал ему важную информацию: от надежных, доверенных людей он знает, что смерть Феликса не была естественной[542].

Среди многих домыслов и сплетен появилась еще и мистическая гипотеза. В начале июля 1926 года в Москву приехал поэт, художник и оккультист-путешественник Николай Рерих с

женой Еленой. Они как раз завершили первый этап экспедиции в Тибет в поисках страны Шамбала и приехали в СССР, уверенные в том, что у коммунизма и буддизма много общего. После встреч с Луначарским, Крупской и Чичериным им вдруг позвонили из секретариата Дзержинского с предложением встретиться с самим начальником ОГПУ Время: 20 июля в пятнадцать часов. Рерих пришел на встречу с сыном Юрием. Они сидели в приемной очень долго, никто не обращал на них внимание. Вдруг началось лихорадочное движение, чекисты бегали по коридору туда и сюда, потом к Рерихам вышел секретарь Дзержинского и сказал, чтобы они возвращались домой, встреча не состоится. Они вернулись домой, ничего не понимая. Только на следующий день они узнали из газет, что как раз в то время, когда они ждали в приемной начальника Лубянки – тот умер. А через день с балкона гостиницы они наблюдали, как по главной улице двигалась похоронная процессия «рыцаря революции». Вскоре Рерихи опять уехали в Тибет, но оставили после себя мистическую историю. По Москве ходили слухи, что приезд оккультиста в момент смерти Дзержинского не был случайным. Рерих, якобы, помог выйти из тела Дзержинского его душе – астральному телу – которое направилось в страну счастья Шамбалу[543]. Эта гипотеза может показаться странной, но мистический и шекспировский оттенок подобных домыслов сопровождал большевистскую партию с самой революции. Время от времени очередная смерть какого-нибудь большевистского сановника будила в народе новые сомнения.

Сталин был убийцей, Сталин был палачом, но усмотреть его участие в смерти Дзержинского довольно сложно. В то время шеф ОГПУ не был его врагом. В 1926 году генсек еще не обладал всей полнотой власти и боролся главным образом против тройки Троцкий – Зиновьев – Каменев. Если бы он задумал кого-то отравить, то прежде всего их.

В России после смерти Дзержинского публиковали только дифирамбы «рыцарю революции». В мире было по-разному. В зависимости от политической ориентации: для одних умер красный палач, для других – гений революции. Польские голоса и настроения самым лучшим образом отражает заметка в краковском «Ilustrowany Kurier Codzienny” от 24 июля 1926 года.

> Дзержинский не пренебрегал никакими средствами.
>
> Он подписывал смертные приговоры, не вникая глубоко в суть данного дела. Из кабинетов этого красного чудовища куда-то вглубь вел темный, извилистый коридор. На его последнем повороте стоял

латыш или китаец и приставлял к виску проходящих там приговоренных ствол револьвера, и выстрел означал конец их жизни.

И чуть дальше:

> В своих поступках он не был связан ничем. Мог делать все, что хотел, но этот человек никогда не использовал свою огромную мощь и власть в личных целях. – Все, что он делал, он делал ради „дела”. Он не заводил любовных романов, был абсолютно недоступен для постороннего влияния, он был самым образцовым чиновником, какого Россия когда-либо имела[544].

И страшный и идейный.

Сам о себе он сказал: «… я кровавый пес революции, прикованный к ней цепью»[545]. Он умер удовлетворенный? Нет. Он закончил жизнь с чувством горечи и бессилия к тем, с которыми плечом к плечу строил пригрезившийся вождю рай на земле. Рай оказался адом, товарищи – циничными политиканами. Ушел герой греческой трагедии – уставший инквизитор, который с тем же успехом мог стать святым. О нем так и говорили: «святой убийца».

XXIX. Мертвый рыцарь. Польская операция

«Вегетарианскими годами» назвала период НЭПа Анна Ахматова, великая мученица русской культуры. Мясные годы должны были начаться в 1928 году, чтобы в течение неполных десяти лет достичь состояния того, что выходит из электрической мясорубки. Сразу после смерти Дзержинского Иосиф Виссарионович Сталин провозглашает «Новый этап в развитии нашей революции». Это значит немного, даже ничего не значит, это мелочь, бестелесный лозунг, брошенный как бы невзначай, вскользь кремлевским горцем. По сравнению с Лениным, для которого язык был родной стихией, генсека трудно назвать виртуозом слова. «Слово из его уст пудовой гирей падает «[546] – напишет Осип Мандельштам. Но в 1926 году еще никто не знает, что тяжесть этой гири окажется сверх всякой меры человеческого терпения.

Вождь начинает свое правление очень просто – с вопроса. Но не с многозначного *Что делать*? на который Чернышевскому пытался ответить Ленин. Даже на вопрос Герцена *Кто виноват?* он подождет отвечать еще пару лет, чтобы потом ответить с избытком. В первый год правления он задаст только один, очень простой вопрос: «Троцкизм или ленинизм?». Сам, прикрываясь силой своего предшественника, начнет последовательно манипулировать его мифом. Понятие «сталинизм» еще не существует, оно будет использовано только когда появятся его жертвы. Вождь заявляет, что большевизм и ленинизм – это одно и то же, пресекая всякие сомнения относительно направления, в каком движется Россия. Он очень конкретен, даже товарища Крупскую предупреждает, что если она будет раскалывать партию, то Ленину назначат другую вдову. В манихейском переделе мира он окажется самым хорошим учеником творца диктатуры пролетариата.

Сначала он должен заняться соперником. Он добьется его исключения из Политбюро, а потом и из партии. В начале 1928 года Троцкий с семьей будет сослан в Алма-Ату, затем депортирован в Турцию. Каждому, кто попытается с ним контактировать, грозит смерть. Чтобы в этом не было сомнений – пример: в 1929 году, после встречи с Троцким на Принцевых островах будет расстрелян Яков Блюмкин.

Начинается также борьба вождя с вредительством – громкая, с показными процессами, чтобы народ знал, с кем имеет дело. «Шахтинское дело», то есть раскрытие контрреволюционной организации буржуазных специалистов в Донбассе, обвиненных в

общественном вредительстве. «Дело промышленной партии», или Союза инженерных организаций – главного центра вредительства в промышленности и на транспорте. Разработка Трудовой крестьянской партии – как крупнейшего вредителя в сельском хозяйстве. Все это организации, с которыми Дзержинский сотрудничал как председатель Хозяйственного совета. Не обойдется и без смертных приговоров, чтобы не возникало сомнения, что с НЭПом покончено окончательно!

А в рамках полной коллективизации власть сосредоточится на кулаке. В изолированной стране, которая единственная в мире строит социализм, кулак является прекрасным источником товара на экспорт, то есть зерна. Не хочет отдать добровольно? В дело опять вступают продовольственные отряды. Они раскулачивают и коллективизируют советскую деревню с энтузиазмом периода военного коммунизма. Результат уже известен: голод, эпидемии тифа, каннибализм – и его не приходится долго ждать[547].

Преемником Дзержинского на посту начальника ОГПУ становится Вячеслав Менжинский – по происхождению тоже поляк и шляхтич, при том эрудит и полиглот, человек высокой личной культуры, но мягкий. Его кандидатуру выдвинул еще Феликс, а Сталин его поддержал. Менжинский часто болел, в кабинете на Лубянке он зачастую принимал посетителей лежа на диване, но и так он находился на этой должности восемь лет. В мае 1934 года он умер от инфаркта – и вовремя, потому что наступали времена, когда нужно было полностью побороть в себе угрызения совести, особенно в отношении товарищей по работе. Его преемник, Генрих Ягода, окажется человеком на своем месте. А само ведомство на Лубянке, как лакмусовая бумажка, вновь будет реагировать на любые перемены – расширением или ограничением своих полномочий и изменением названия. На сей раз ОГПУ заменит Народный комиссариат внутренних дел, сокращенно НКВД. Маховик террора раскрутится с новой силой.

Отличным предлогом будет убийство Сергея Кирова, секретаря ЦК, совершенное 1 декабря 1934 года в ленинградском Смольном дворце неким Леонидом Николаевым. Для Сталина это идеальная ситуация, чтобы расправиться с другими соперниками на ленинское наследие – Каменевым и Зиновьевым. Раньше они образовывали с генсеком триумвират, потом перешли на сторону Троцкого. Начинаются московские процессы[548].

Большевики, прежде всего старые ленинские кадры чувствуют, что почва уходит у них из-под ног. Все еще не понимают, все еще задают вопрос: «Почему я?!». У вождя для них один, очень простой ответ: «Вы потеряли веру». Веру во что? Веру в Иосифа Виссарионовича Сталина.

Феликса Дзержинского не было уже десять лет. А если бы он дожил до 1937 года? Пошел бы к стенке вместе с польскими коллегами из рядов Коммунистической партии Польши и ВЧК. Чекист Блюмкин стал первой жертвой травли сторонников троцкизма. А создатель советской службы безопасности стал бы наверняка первой жертвой «польской операции».

Сталин питал особую неприязнь к полякам[549]. Диктатор ненавидел индивидуальность, различия во мнениях, попытки пробиться к независимости – а именно этими качествами отличались поляки. В национальном вопросе он не терпел никакого стремления к независимости. Он не щадил и собственный народ, но в отношении Польши он проявлял особое усердие. Саймон Себаг Монтефиоре пишет, что «он очень любил смотреть постановку *Ивана Сусанина* Михаила Глинки, но ждал только сцену, когда русские заманивали поляков в лес и те замерзали насмерть. После этой сцены он покидал театр и шел домой»[550]. Но кроме этой навязчивой идеи был и холодный расчет политика: ведь Польша граничит с Западом и смотрит на Запад, значит, с геополитической точки зрения она очень опасна.

11 августа 1937 года новый начальник НКВД Николай Ежов отдает оперативный приказ № 00485, ранее утвержденный Политбюро и самим вождем. На основании национально-политических обвинений – а это означает, что поляки представляют угрозу как национальное меньшинство, занимающееся шпионажем, терроризмом, диверсиями и повстанческой пропагандой – должна начаться операция по аресту всех поляков, проживающих в СССР. Приказ вызвал неоднозначную реакцию даже среди сотрудников НКВД. Арон Постель, член правления НКВД по московской области, признает после ареста:

> когда нам, начальникам отделов, зачитали приказ Ежова об аресте абсолютно всех поляков (…), это вызвало не только удивление, но и разговоры в кулуарах, которые прекратились, как только нам объявили, что этот приказ утвержден Сталиным и Политбюро ЦК ВКП(б) и что поляков надо бить, сколько влезет[551].

По данным НКВД, в течение четырнадцати месяцев в рамках «польской операции» репрессировано около 350 тысяч человек, в том числе 143 810 поляков. Расстреляно 247 тысяч, в том числе 111 091 поляк или лиц, которых посчитали поляками. Статистически поляков расстреливали в сорок раз чаще, чем представителей других национальностей. Те, которых приговорили к лагерям или ссылке, в огромных количествах

умирали от голода, болезней и истощения, увеличивая статистику смертности. Позаботились и о том, чтобы эффективно разрушить семейные связи: жены и дети старше пятнадцати лет подлежали обязательному аресту (в соответствии со следующим приказом Ежова № 00486, касающимся семей «предателей родины»), а детей младше этого возраста отдавали в приюты для сирот, где их подвергали денационализации.

Имущество подлежало конфискации. Таким же репрессиям подвергались и другие национальности, но именно поляки стали первым наказанным народом. Притом наказанным сильнее всех[552].

Кроме навязчивой идеи Сталина, существовали и другая причина такой эскалации насилия в отношении поляков: искусно проведенная акция польской политической полиции. В конце двадцатых годов так называемая Инспекция политической обороны, сокращенно «Дефа» *(от польск. Inspektorat Defensywy Politycznej – „Defa". – Прим, перге.),* устроила провокацию в рядах Коммунистической партии Польши (КПП). Прием был очень похож на тот, который в свое время использовало ГПУ в операции «Трест»: найти уязвимое место противника, оценить его навязчивые идеи и разжечь их. Точно так же, как «Трест» распространил среди русской эмиграции слух, что на территории России действует монархическая организация, стремящаяся к свержению большевистского правительства – так и польская «Дефа» использовала помешательство Советов на провокациях в собственных рядах.

В 1926 году в Варшаве был арестован Йозек Мютценмахер, псевдоним «Метек Редыко», член секретариата Союза коммунистической молодежи. Он соглашается на сотрудничество и со временем становится самым важным агентом политической полиции II Речи Посполитой. Его опекает лично Хенрик Кавецкий, главный специалист по борьбе с коммунизмом в II Речи Посполитой. Задание Мютценмахера состоит в том, чтобы распространять слух, будто в рядах КПП действует шпионская сеть, проникающая на территорию СССР, а он сам воплощается в роль ловца провокаторов. В 1932 году он едет в Москву, устанавливает контакт с ОГПУ и пишет донос на польских коммунистов как на провокаторов. Затем польская "Дефа" организует массовые аресты членов КПП, а подозрение в доносе на них падает на Альфреда Лампе "Марка", на которого раньше Мютценмахер указывает сотрудникам Лубянки как на провокатора. После этой операции Кавецкий имитирует смерть своего агента, который в среде коммунистов уже начинает считаться мучеником; в специальном коммюнике ЦК КПП

сообщает о “жестоком политическом убийстве”, совершенном польской полицией. Но Мютценмахер вдруг появляется в мире живых. Под фамилией Ян Альфред Регула он пишет *Историю Коммунистической партии Польши в свете фактов и документов.* В ней он описывает подробности, которые известны только ограниченному кругу деятелей КПП, что является доказательством активной деятельности разветвленной шпионской сети внутри партии. Распространением книги занимается отдел безопасности польского МВД, и книга попадает в руки ОГПУ – что и требовалось. Вскоре в ходе «польской операции» деятельность Мютценмахера станет для НКВД отличным предлогом для ликвидации польских коммунистов, а заодно и целых польских национальных групп и всех тех, кто имел с ними какие-либо контакты[553].

Феликс Дзержинский покоился у кремлевской стены. В больших и малых городах всего Советского Союза его именем называли школы и заводы, улицы и площади[554]. А с нарастанием культа Феликса как «рыцаря революции»– уничтожение поляков в рамках «польской операции» тоже захватывало все более широкие круги. Не миновало оно и ближайших соратников Дзержинского по ВЧК и ОГПУ.

Главная причина безнаказанности проводимой [польской шпионской] организацией антисоветской деятельности за период без малого 20 лет является то обстоятельство, – объяснял Ежов в обосновании своего приказа о начале преследования поляков, – что почти одновременно с созданием [ЧК] ее важные подразделения, ведущие антипольскую работу, заняли польские шпионы высокого ранга, проникшие в ряды ВЧК: Уншлихт, Мессинг, Пиляр, Медведь, Ольский, Сосновский, Маковский, Логановский, Бараньский и многие другие, которые полностью захватили в свои руки разведывательную и контрразведывательную работу ВЧК – ОГПУ – НКВД, направленную против Польши[555].

О Феликсе ни слова. А ведь его семейные связи были более чем подозрительны: один из племянников был адъютантом Пилсудского и мужем племянницы Маршала Польши, другой работал во II Отделе Генерального штаба Войска Польского, что было бы достаточным свидетельством его “антисоветской деятельности” А он сам, как председатель ВЧК, освободил из тюрьмы многих поляков. Если бы Дзержинский до 1937 года, то при таких неопровержимых доказательствах он стал бы первым обвиняемым в шпионаже. Домыслы об агентурной деятельности Феликса стали появляться вскоре после его смерти, но только в посвященных кругах. Ежов иногда намекал на это на закрытых

совещаниях сотрудников НКВД[556]. Но в плане пропаганды Сталину больше подходил мертвый рыцарь, чем мертвый предатель.

Из известных большевиков польского происхождения «польская операция» пощадила только Феликса Кона, семидесятилетнего работника радио, и Софью Дзержинскую. Он был слишком стар и уже неопасен, а ее защищала фамилия мужа. Тем, что Феликс умер в 1926 году, он, наверное, спас от смерти своих близких: жену, сына, только что родившуюся внучку, сестру Ядвигу, ее дочь и внучек, а также жену брата с дочерью. Дзержинскому Сталин уже ничего не мог сделать, а семью продолжала защищать его – просто магически звучащая – фамилия.

О репрессиях, которые затронули поляков во время Великой чистки, сегодня говорят немного. Также и во II Речи Посполитой не распространялись особо о “польской операции” – по двум причинам. Во-первых, соотечественников, проживавших на территории СССР, считали коммунистами *in toto*, а во-вторых, польское правительство не хотело нарушать заключенный с Москвой в 1932 году договор о неагрессии. Но если бы этому делу в то время дали огласку, то было бы легче позже связать его с делом Катыни. Кроме того, благодаря такой перспективе, решение Сталина о приостановлении помощи Красной Армии варшавским повстанцам стало бы ожидаемым. И, может быть, командиры Армии Крайовой не отдали бы неосмотрительный приказ на начало восстания. Вступление России в коалицию с США и Великобританией давало миру исключительную гарантию, что Сталин будет стремиться победить Гитлера. Находящаяся на пути его следования Польша уже не существовала. Красная Армия проходила по ее территории как поражающий фактор биологической бомбы. В понятии диктатора Варшава была гнездом антикоммунистического мятежа. Если она хотела совершить самоубийство, не стоило ей в этом мешать. Но что же польские коммунисты, которые посредством радиостанции им. Тадеуша Костюшко призывали варшавян к восстанию? Знали ли они план Сталина? Вероятнее всего и сам Сталин не знал его до конца. Он, видимо, был уверен, что восставшие не продержатся и недели. Тем временем они боролись 63 дня – милый сюрприз будущему генералиссимусу: цвет польского народа погибал на его глазах в огне самоуничтожения.

В 1937 году развивается еще один интересный сюжет: Ядвиги Эдмундовны и ее дочери Ядвиги Генриховны Дзержинских. На фоне “польской операции” их история выглядит довольно курьезно.

Сестра Феликса с 1915 года жила в Москве вместе с дочерью, отцом которой был, якобы, князь Генрих Гедройц. Мать, по мужу Кушелевская, дочь, по первому мужу Дашкевич – обе вновь взяли родовую фамилию матери, чтобы в качестве членов семьи легендарного председателя ВЧК находиться под особой защитой. Они жили, по российским меркам, довольно неплохо: в небольших, но хороших квартирах с телефоном, старшая в Лобковском переулке, младшая – в Потаповском, недалеко от Кремля.

Ядвига Генриховна унаследовала от матери темперамент и слабость к мужскому полу. Она пять раз выходила замуж и пять раз разводилась. От первого брака у нее были дочки-близняшки, Софья и Ядвига. В тридцатые годы двери ее дома были всегда открыты, она содержала также артистический салон, куда часто заглядывала московская молодежь. Здесь Ядвига и познакомилась с красивым двадцатитрехлетним молодым человеком Борисом Венгровером, который стал открыто ей интересоваться, хотя она была старше него на пятнадцать лет. Он представился ей как учитель из Иркутска, но со временем оказалось, что это вор-рецидивист, главарь московской шайки из восьми человек. Выезжая в провинцию, он даже пользовался фамилией своей любовницы, что фактически открывало перед “Борисом Дзержинским” все двери. Мало того, он устроил в ее квартире воровскую малину, а она, влюбленная до беспамятства, помогала ему сбывать *трофейный* товар.

3 октября 1937 года некая Елена Павлова, тетка одного из бывших мужей Ядвиги Генриховны, написала на обеих Дзержинских донос. Как раз к этому времени арестованный Генрих Ягода, бывший шеф НКВД, был объявлен агентом Охранки, вором и растратчиком, так вот, Елена Павлова доносит, что сестра Феликса «всегда хорошо отзывалась о Ягоде», который дал им комнату с полной меблировкой, а внучкам – пианино. Поведение Ядвиги антисоветское, потому что, по правде говоря, «она ждет войны и поражения большевиков». Говорят, она «выпустила из тюрьмы [на Лубянке] польского агента», за что товарищ Дзержинский хотел ее расстрелять, но в конце концов «только отправил Ядвигув ссылку в Новосибирск». Потом Софья Дзержинская с товарищем Барским злились, потому что Феликс присылал сестре деньги. В Москву она вернулась только после смерти брата. Обе Ядвиги, – писала далее доносчица, – говорили, что Дзержинского ликвидировал Сталин, что в мавзолее вместо тела Ленина лежит восковая кукла», а Ядвига Генриховна утверждала, что ГПУ – это застенок и что она ненавидит коммунизм. Павлова информировала также НКВД, что Ядвига

Эдмундовна хвалилась, что «ее сын – польский офицер, по ее словам, был правой рукой Пилсудского, а фамилия его Кушелевский»[557]. Действительно, Ежи Кушелевский, сын Ядвиги, которого она оставила мужу в годовалом возрасте, был тогда офицером польской разведки, но не «правой рукой Пилсудского». Сколько правды в остальных откровениях Елены Павловой трудно проверить. Сомнительно, чтобы сестра Дзержинского знала, что ее сын работает в «Двойке», но даже если только часть доноса достоверна, то он говорит о невероятной легкомысленности обеих Ядвиг. Для любого другого гражданина СССР такие обвинения означали бы немедленный смертный приговор. Этот донос мог смести с лица земли всех Дзержинских, проживавших в Стране Советов.

Но происходит нечто странное: энкаведешники не знают, что делать с доносом Павловой. В конце концов, они сдают дело в архив, потому что семью «рыцаря революции» никто не смеет тронуть. Может, тем бы все и закончилось, если бы не Венгровер. Любовник Ядвиги Генриховны сначала исчезает, потом неожиданно появляется на пороге ее квартиры (был арестован, сослан в лагерь, но бежал), ищет убежища, чтобы в декабре 1939 года вновь попасть в лапы энкаведешников. Во время допроса он спокойно рассказывает о Ядвиге, уверенный, что сила ее фамилии его защитит. Действительно, все в замешательстве, «секретная» информация попадает на стол Лаврентия Берии, в то время уже начальника НКВД. Решения Берии подчиненные ожидают целых четыре месяца! Наконец, в апреле 1940 года Ядвигу арестовывают, и она попадает на Лубянку. Но в этом месте нельзя вслух произносить ее фамилию, она просто «заключенная № 30». В октябре она получает приговор: как «социально опасный элемент» она получает восемь лет лагерей в Караганде[558]. Мягко для ее «провинностей».

Пока, Фелек! Post scriptum

Вдова первого чекиста не имеет в себе такого напряжения и огня, как он. Считающаяся очень серьезной и саркастической женщиной, она работает, как муравей – так же, как когда-то Феликс – в Институте Маркса – Энгельса – Ленина, потом в

Исполкоме Коминтерна. Одна из немногих оставшаяся в живых после безумия «польской операции», она живет в Кремле с сыном Яном, невесткой Любовью[559] и внуками. Квартира в таком специфическом месте имеет свои плюсы и минусы. Среди кремлевских семей царит атмосфера пригрезившейся когда-то Николаю Чернышевскому коммуны, и даже – учитывая сильный идеологический подтекст – секты. Совместные обеды, пьяные разговоры, групповые выезды на каникулы, взаимная опека над детьми. И непрерывное наблюдение, сплетни, романы, измены, домашние скандалы – осознавая при этом, что весь обслуживающий персонал от коменданта до уборщицы являются сотрудниками службы безопасности. «Кремль был городком с невиданно тесными связями между людьми»[560] – пишет Монтефиоре. Все в границах личного темперамента. Сталин часто заходил к Кагановичам, очень гостеприимной была семья Микояна, но, например, Молотовы предпочитали более замкнутый образ жизни. Дзержинские тоже были тихими и скромными.

В 1941 году Софья становится руководителем радиостанции им. Тадеуша Костюшко. Когда через два года в Москве образуется Польский национальный комитет, в известной степени «преемник» Польского бюро и белостокского Польревкома 1920 года, его призывы к полякам передаются именно этой радиостанцией. Дзержинская чувствует себя обязанной исполнить мечту своего мужа о красной Варшаве. На сей раз воплотившуюся в жизнь.

В 1946 году Софья выходит на пенсию, но еще несколько раз посещает родину как представитель польских коммунистов в СССР[561]. В 1958 году Дзержинским приходится покинуть Кремль, потому что уже три года он является музеем. Постепенно из него уезжают все коммунистические семьи. Они получают две небольшие квартиры в новостройке (одну Софья, вторую – Ян с женой и детьми). В 1960 году – через два года после переезда и за восемь лет до смерти Софьи – преждевременно умирает Ясик, Ян Дзержинский. Как и отец от инфаркта и тоже в возрасте сорока девяти лет. Оба – сын и мать – будут похоронены на Новодевичьем кладбище в Москве.

Ян закончил Военно-инженерную академию, но большую часть жизни проработал в Исполкоме Коминтерна, потом в отделе кадров ЦК ВКП(б) и КПСС[562]. Польский он знал прекрасно – в доме Дзержинских всегда разговаривали на родном языке – и бывал в Польше в качестве переводчика. Два раза в 1956 году: сначала в конце марта – начале апреля, информируя Кремль о волнениях в польском обществе, потом – во время оттепели в октябре, когда в Варшаву за день до VIII пленума ЦК ПОРП прибыл Никита Хрущев, чтобы остро поговорить с представителями польского правительства. Дзержинский был тогда переводчиком I секретаря ЦК советской партии и написал подробный отчет о его известном разговоре в Бельведере с Владиславом Гомулкой. Разговоре, во время которого Хрущев предостерег, что бунтующей Польше грозит интервенция Красной Армии, а Гомулка проявил твердость, дав понять советскому руководителю, что не позволит вмешиваться во внутренние дела Польши[563].

В одной из квартир, унаследованных от родителей и бабушки сейчас живет внук Феликса Эдмундовича Феликс Янович – старший сын Яна и Любови, родившийся в 1937 году. Он известный в мире орнитолог, профессор Московского университета им. Ломоносова. У них с женой Ириной двое детей: Кирилл, по образованию ихтиолог, и Ольга скрипачка в одном из московских оркестров. У Кирилла, в свою очередь, сын Станислав, у Ольги двое сыновей: Слава и Ванюшка. Младший сын Яна, Федор, 1947 года рождения – математик и программист. Он с женой живет в другой унаследованной квартире, в том же доме, что и его брат Феликс.

Планы Кремля в отношении подчиненных народов просты: они должны быть социалистическими по форме и национальными по содержанию. В Польше на эту роль идеально подходит Дзержинский, поэтому представляемый перед войной как красный палач России, теперь он начинает преподноситься как один из главных национальных героев. Его культ, силой насаждаемый властями, лишь усиливает неприязнь, и даже ненависть среднего гражданина ПНР к самому известному соотечественника-коммуниста.

В июле 1951 года исполняется 25 лет со дня смерти «рыцаря революции». Партия и правительство готовят к этой дате много интересного. Изданы *Письма сестре Альдоне, Собрание сочинений* Дзержинского, а также *Рассказы о Дзержинском*, в частности, с новеллой-апофеозом Тадеуша Боровского, который планировал также написать биографическую повесть о Феликсе, но в начале июля, разочаровавшись в системе, в которую поверил, он открыл

газ. Выходит также томик стихов *Вечное пламя* – антология признанных советских и польских авторов, которые впоследствии будут стыдиться своих произведений[564]. Здесь можно вспомнить хотя бы поэму *Феликс* Александра Безыменского, которую на польский прекрасно перевел Юлиан Тувим. Это ритмическое произведение несет в себе определенную красоту:

Auto
Kołysze sie jak łodka,
Gładko, cichutko
Przestrzen tnie
Kreml – Sownarkom – Narkompros – KC.
Auto
Kołysze sie jak łodka,
Sennie, cichutko
Motor gra…
Stop
WCzK[565].

В X павильоне Цитадели открывается выставка личных вещей Дзержинского, позаимствованных у семьи и уже больше ей не возвращенных. А польские города, в которых работал Дзержинский, наперегонки шлют в Варшаву доклады, что: открывают мемориальную доску, присваивают имя заводу или школе, ставят в памятном месте бюст. Самым сильным акцентом бума Дзержинского станет памятник в центре столицы.

Конкурс выиграл Збигнев Дунаевский, но не хватило времени на его исполнение – памятник планировалось открыть 20 июля 1951 года, но ни один завод не был в состоянии в течение нескольких месяцев отлить в бронзе огромную фигуру. Поэтому ее сделали из бетона, покрыв бронзовой краской. Планировалось торжественное открытие памятника. Из Москвы – опоздав на один день, из-за чего церемонию пришлось перенести – приехали заместитель председателя правительства Вячеслав Молотов и маршал Георгий Жуков, который потом устроил семье прием. Были приглашены жена и сын Дзержинского с его старшим внуком, а также польская часть семьи во главе с Альдоной и Игнатием. 20 июля в Театре Польском состоялся концерт, на следующий день – открытие памятника с речами Болеслава Берута и Игнатия Дзержинского, а 22 июля, в день праздника Польского комитета национального освобождения – военный парад. Трехдневные мероприятия собрали шестидесятитысячную толпу. Во время закрытого приема для избранных, когда атмосфера уже разрядилась, начали обсуждать обстоятельства

смерти Феликса. Один из польских коммунистов, уже сильно навеселе, шепотом уверял семью, что Сталин ликвидировал его лично – в перерыве последнего пленума всадил ему две пули в живот.

Ненавистный памятник на площади, переименованной из Банковой в Дзержинского, быстро стал объектом нападок тех, кто не соглашался с навязанным строем. Уже через несколько месяцев после открытия памятника «неизвестные лица» вымазали ему руки красной краской[566]. Но он стоял вплоть до 1989 года. С тем, что после 4 июня его уже никто не охранял, и на постаменте стали появляться оскорбительные и шутливые надписи. «С одной стороны написано» Не возвращайся«, а на другой стороне зловещее» Сейчас вернусь««[567] – сообщает еженедельник «Солидарность». Было и более свойское: «Пока, Фелек!». В конце концов, 16 ноября власти Варшавы решились на демонтаж. В сознании поляков этот акт имел ранг события, произошедшего неделю назад: падение берлинской стены. На площади собралась большая толпа. Мощный кран сдвинул фигуру, и она вдруг, к общему удивлению, распалась на три части. На металлической петле, закрепленной на стреле крана, как на виселице удержался только бюст. Среди громких аплодисментов и автомобильных гудков толпа кричала: «Повис, наконец его повесили!».

В то время как в Польше с большой помпой отмечали 25-ю годовщину со дня смерти Дзержинского, в России над его гробом стало значительно тише. После великой чистки в собственных рядах и объявления очередных начальников НКВД агентами буржуазии, было решено, что самое лучшее – это оставить службу безопасности в рамках ее непосредственных задач, убрав всю ее романтическую окраску. Уже не было больше «чистых чекистов», остались циничные, услужливые игроки в ведомстве на Лубянке под новым названием: Комитет Государственной Безопасности (КГБ). Только после смерти Сталина, на знаменитом XX съезде в 1956 году, Никита Хрущев объявит о возвращении к «ленинским принципам законности», в которые удобно вписывался Дзержинский. В 1958 году перед зданием на Лубянке устанавливается бронзовый памятник первому чекисту работы скульптора Евгения Вучетича. Сама площадь получила имя Дзержинского сразу после его смерти, а ближайшая станция метро – в 1935 году. Очередной диктатор, Юрий Андропов – желая, по видимому, еще сильнее отмежеваться от сталинизма – охотно пользуется мифом о создателе ВЧК. Он основывает элитный клуб КГБ его имени, где в свободное время собираются офицеры. В 1990 году площадь вновь становится Лубянской, но памятник остается. Однако после неудачного путча Геннадия

Янаева, который пытается свергнуть Михаила Горбачева и вернуться к старым порядкам, 22 августа 1991 года жители Москвы на демонстрациях в рамках политического протеста демонтируют памятник. В атмосфере, напоминающей варшавский энтузиазм, его вывозят в Парк искусств, где стоят или лежат повергнутые Сталины и Ленины.

О нем вновь заговорили в 2002 году, когда в 125-ю годовщину со дня рождения Феликса мэр Москвы Юрий Лужков захотел вернуть памятник на Лубянку. В Москве разгорается оживленная дискуссия. Более половины жителей столицы – за, 35 процентов – против. В полемику вступает и Кремль. «К символам прошлого следует относиться с большой осторожностью, – от имени президента Владимира Путина высказывается заместитель главы его администрации Владислав Сурков. – Сегодня одни добиваются возвращения памятника Дзержинскому, а завтра другие потребуют вынести тело Ленина из мавзолея»[568]. Этот голос свидетельствует о беспомощном отношении России к собственной истории.

Несмотря ни на что симпатия россиян к Железному Феликсу выдержала испытание временем. В 2007 году, в 130-ю годовщину со дня рождения Феликса, на телевидении и в газетах появились документальные фильмы и исторические комментарии, а в книжных магазинах продаются изданные к этой дате альбом и полученные из архива Федеральной Службы Безопасности[569] письма Дзержинского Маргарите Николаевой. В отделах ФСБ все еще висят его портреты. Природа самого ведомства за эти годы почти не изменилась[570].

В начале октября 2010 года Москва встретила меня прекрасной погодой. Солнце на несказанно лазурном небе приобрело оттенок старого золота. Купола церквей реагировали на его блеск как морские маяки, вспыхивая в разных точках города и заставляя прищуривать глаза. Только в одно месте какой-то самолет выполнял полный разворот, оставляя на небе беленький след в виде нимба – как раз над Кремлем. У памятника генералу Жукову, сидящему на кляче с журавлиными ногами, я заметила две фигуры. Прошло несколько мгновений, прежде чем возникла ассоциация. Ленин был еще более или менее похож. Сталин же – с надутым животом, короткими ножками и выкрашенной в черный цвет гривой волос – годился скорее для водевиля. Оба с приклеенными на лице улыбками приглашали сфотографироваться с собой.

Рядом, на площади Революции, группка пенсионеров, встав в кружок, пела революционные песни. Внешне они напоминали слушателей христианского Радио Мария, только над их головами

развевался красный флаг с серпом и молотом. Все столбы вокруг кремлевской стены были облеплены фотографиями Джона Леннона – как раз исполнилось 70 лет со дня его рождения. Для меня это особый знак: периоды детства и зрелости я делила на мрачный Восток и счастливый битловский Запад. Теперь я воочию увидела их конвергенцию.

В расставленных повсюду ларьках шла бойкая торговля. Среди матрешек с грозными лицами коммунистических вождей сверкали белизной зубов голливудские актеры, английские футболисты, российские хоккеисты, президенты западных государств и Николай II. Символика прошлой идеологии перемешана с дешевыми сувенирами: рядом с гипсовым бюстом Ленина сидит пластмассовая кукла Барби или Майкл Джексон. Сталин на фарфоровом бокале хмурит брови, пытаясь кого-нибудь напугать. Выше расположился Пушкин рядом с Телепузиком, а православные святые служат в компании трансформеров.

За триста рублей покупаю майку с Феликсом Дзержинским в форме чекиста и надписью *«Будьте бдительны!»*. Молодой продавец провожает меня словами: «Да благословит Вас Господь».

Слова благодарности

Садясь за написание биографии, особенно если это дебют в столь сложном литературном жанре, нельзя полагаться только на себя. Необходима помощь других людей.

Большое счастье, что я познакомилась с семьей Дзержинских и снискала их доверие. Надеюсь, что я им не злоупотребила. Прежде всего, хочу поблагодарить Яцека Гилевич, внука Юстина Дзержинского, за дружбу и предоставление семейного архива. Пани Ванду (Инку) Дзержинскую-Шёнталер – за информацию, касающуюся истории семьи, и за гостеприимство в ее доме в Радоме (к сожалению, в марте 2011 года пани Ванда умерла). Благодарю также пана Феликса Яновича Дзержинского за теплый прием в Москве, за семейные фотографии и за великолепную икру прямо с Камчатки!

Моими наставниками и духовными вдохновителями были Ежи Помяновский и Михал Комар. Это они дали мне много ценных указаний, навели на след и порекомендовали важную литературу.

Большое спасибо! Без Вас эта книга не была бы написана.

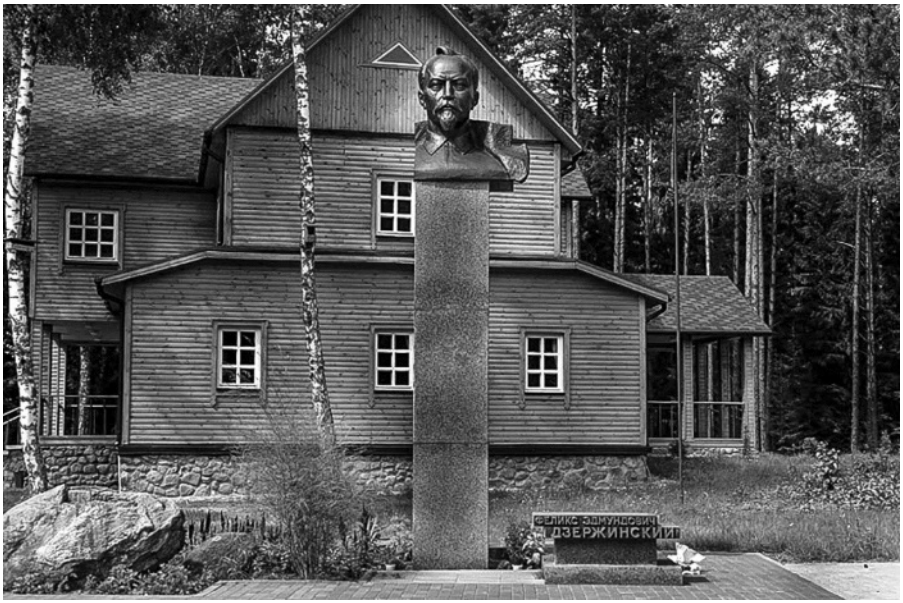
Иллюстрации





Улица без конца… В 1952 году улица Юлиуша Лео в Кракове была переименована в улицу Феликса Дзержинского.

Недалеко от этой улицы автор провела все свое детство.



Отреставрированная семейная усадьба в Дзержиново в Белоруссии.

Сейчас здесь располагается музей, созданный по инициативе президента Александра Лукашенко.



Лубянка. Русские говорят, что это самое высокое здание в мире, так как из него видна Колыма…



Родители Феликса – Хелена и Эдмунд. Она – материально обеспеченная, образованная, знающая иностранные языки. Он – учитель математики и физики, вошел в семью, значительно более богатую, чем его.



Тонкие черты лица холеного барчонка. Дома его с особой любовью лелеяли и баловали и родители, и старшие сестры.

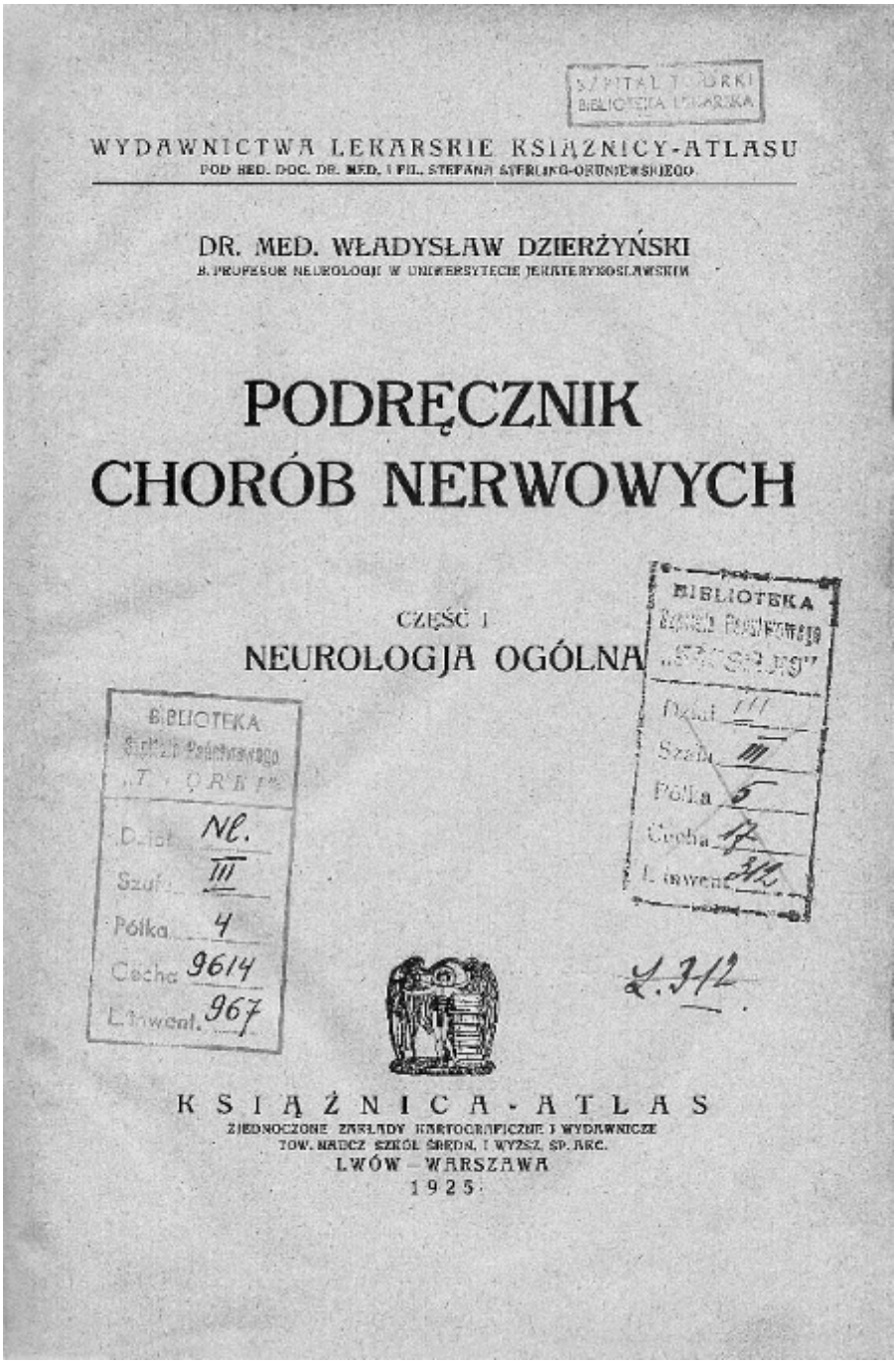


Ядвига Дзержинская, сестра Феликса. Женщина необычайно красивая, но при этом легкомысленная и любящая развлечения.



Альдона Дзержинская в молодости. В играх с сестрой в «палочки-выручалочки», в хождении на ходулях, в перепрыгивании заборов прошла юность Феликса.





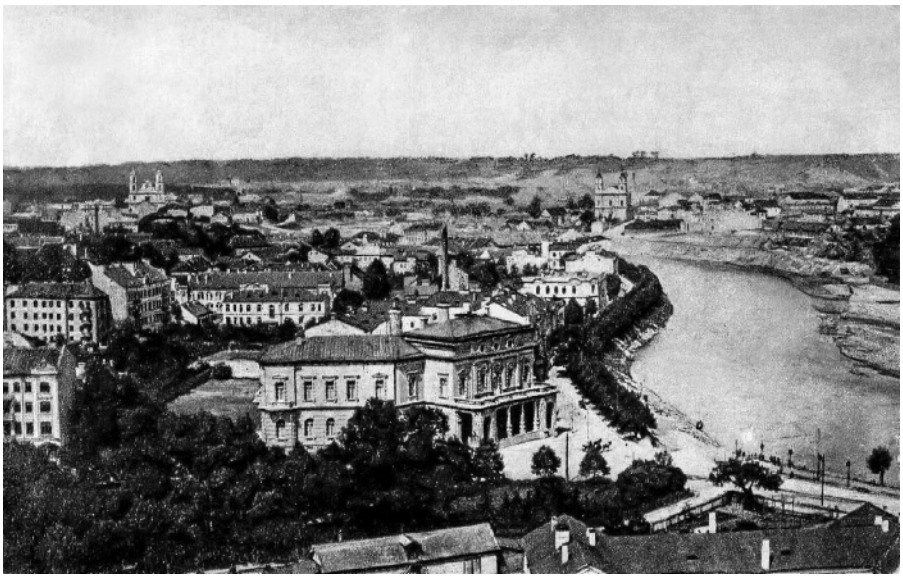
Владислав Дзержинский, брат Феликса. Фото в мундире полковника Войска Польского (ок. 1931–1933). Владислав стал известным неврологом, написал до сих пор популярный академический учебник по нервным болезням. На снимке – титульный лист 1 тома учебника, изданного в 1925 году



«…а Вильно люблю – столько воспоминаний», – напишет Феликс Дзержинский в письме.

Владислав Заборский: Улица Яткова, ок. 1900 г.





Вид на Вильно – малую родину Дзержинского, к которой он часто обращался в своих воспоминаниях



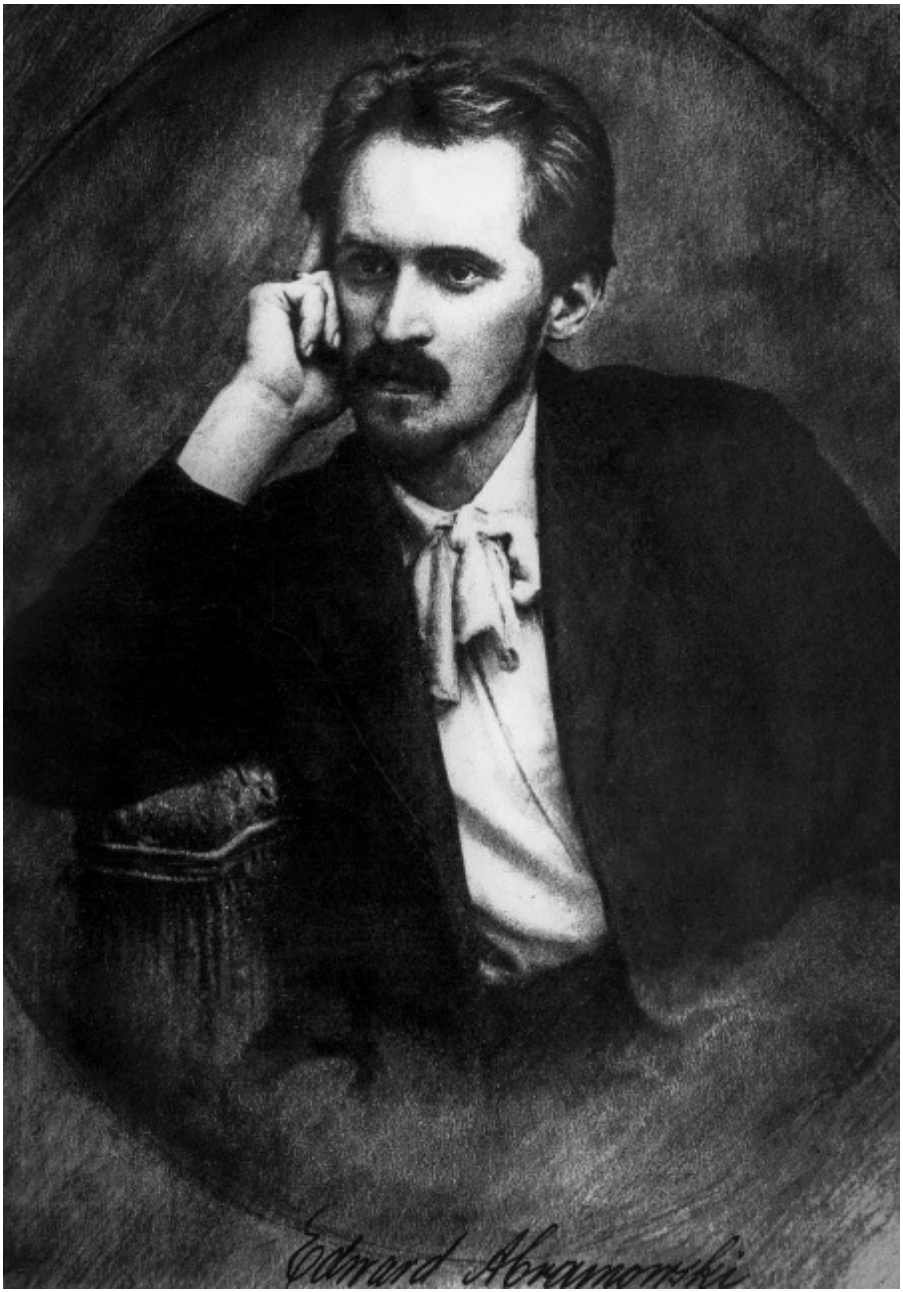
Ссыльные в Верхоленске, 1905 год.



Непокорный ученик Виленской гимназии, 1896 год.



Валерия Маррен-Можковская, писательница-позитивистка и феминистка. Феликс Дзержинский, очень молодой человек со взглядом газели, был частым гостем в ее литературном салоне, который она устраивала в своей варшавской квартире. Рисунок Юзефа Бухбиндера (1884 год)



Эдвард Абрамовский, прототип образа Шимона Гайовца из Кануна весны Стефана Жеромского. Его полемика с Дзержинским отозвалась широким эхом в варшавском обществе.



Молодой Феликс впервые попадает в X павильон варшавской цитадели, но как узник он уже не девственник. На снимке вход в X павильон, остатки ворот. Рядом дом главного надзирателя.



За тюремными стенами он не теряет присутствия духа. В письме сестре Альдоне он напишет: «… не жизнь меня, а я жизнь сломал».

На снимке: X павильон, вид снаружи.



«Якутские морозы не так страшны, как холод эгоистических душ». Феликс по пути в ссылку в Сибирь



Фрагмент публикации о розыске бежавшего из Сибири Феликса Дзержинского. 1902 год.



Краков. Город Дзержинского. Фотография 1900 года, напечатанная в еженедельнике «Tygodnik Ilustrowany»



Роза Люксембург – многие годы самый большой авторитет для Феликса.



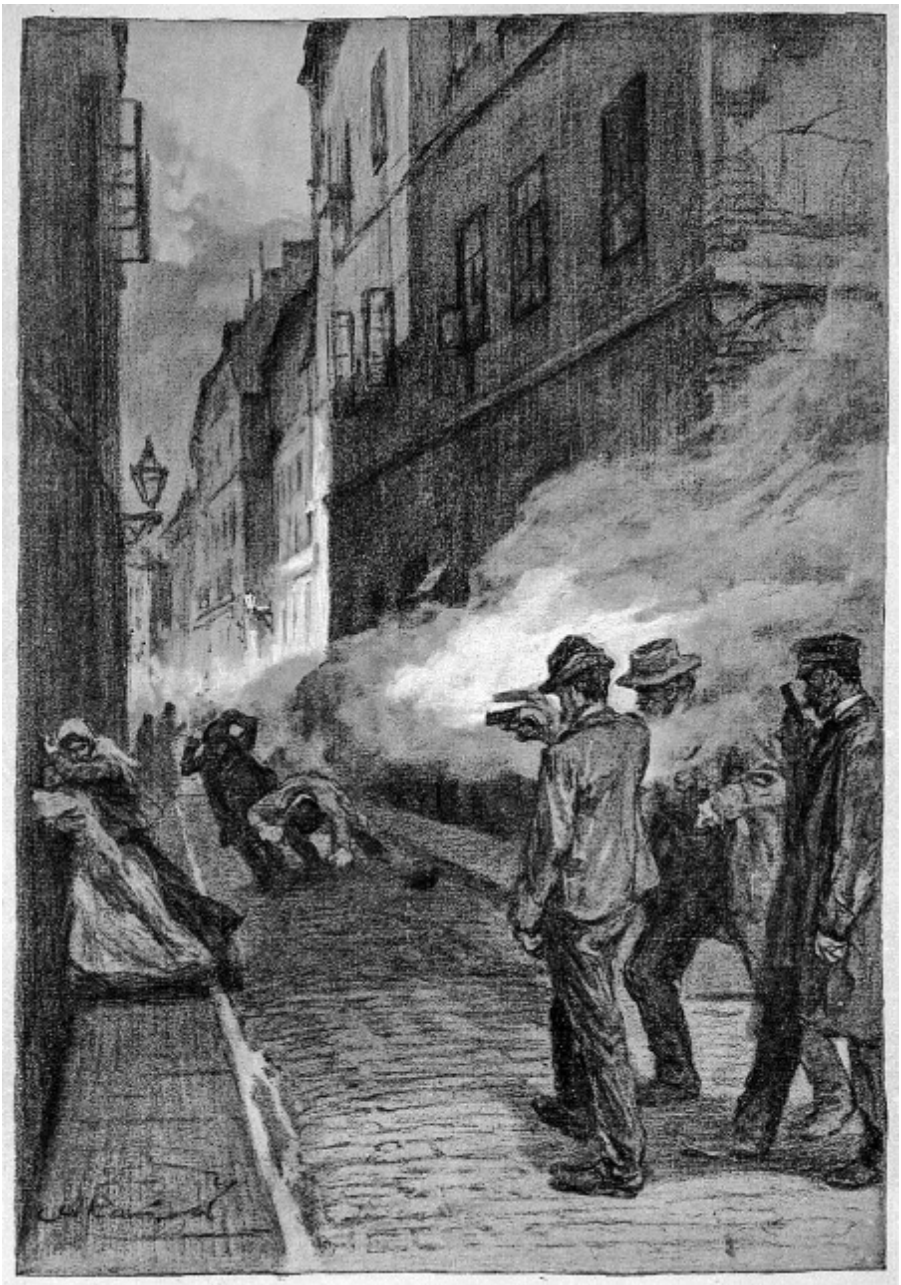
Юлия Гольдман. Очередная любовь Феликса.



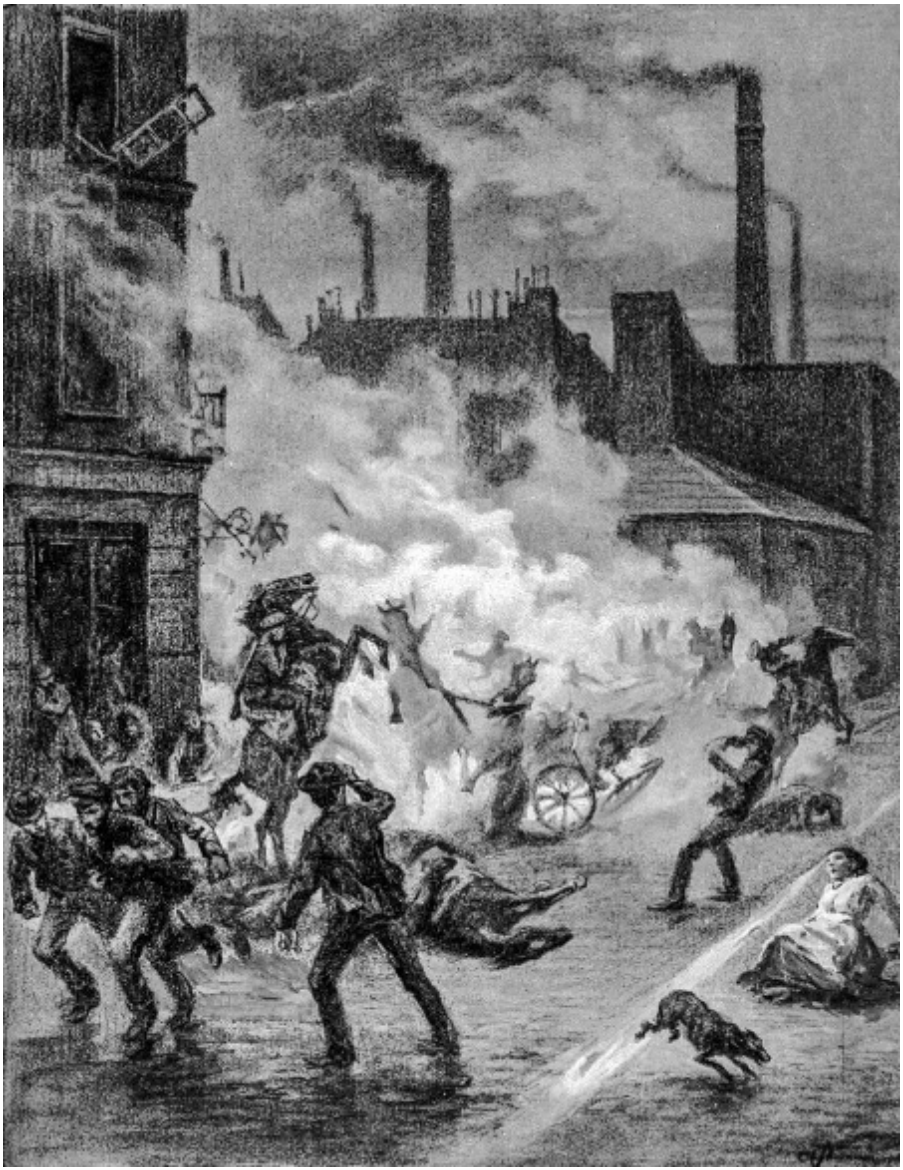
Феликс в Кракове в начале XX века. В кофейнях гуляют цыгане, подогретые абсентом и крестьянофильством. «Люди здесь целыми днями просиживают в пивных и трактирах, и часто хочется убежать из этого Кракова», – сетует Феликс.



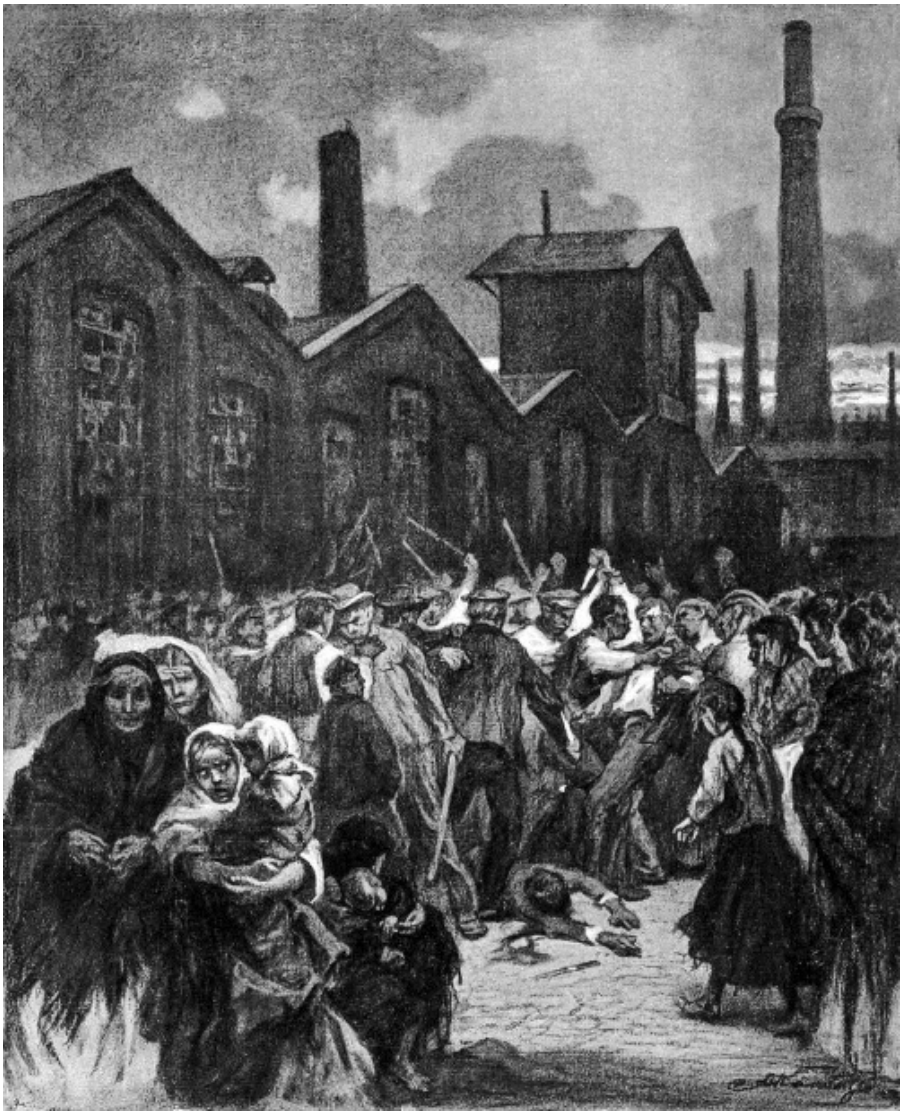
Феликс Дзержинский в одном из краковских кафе.



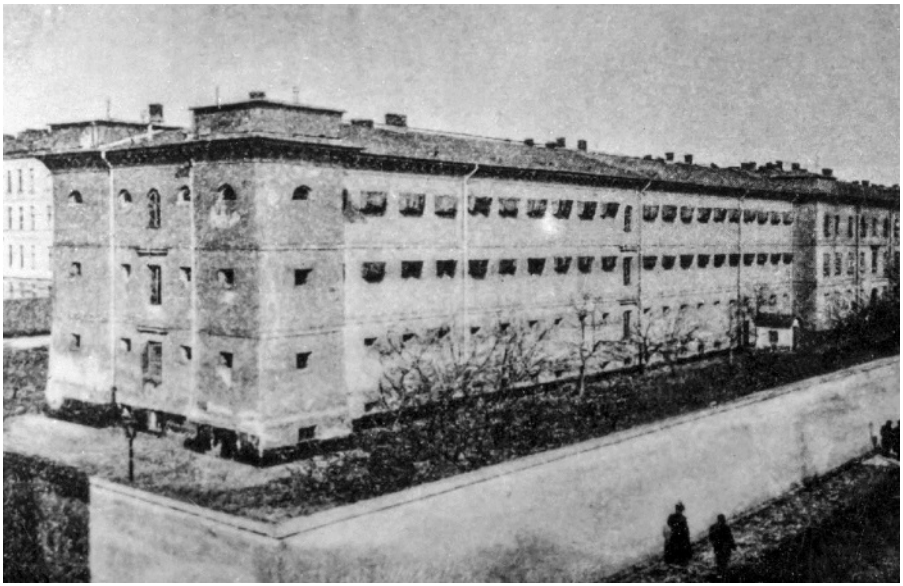
Опасная жизнь революционера.
Набросок Антона Каминьского.



Суматоха на улицах в 1905 году. На иллюстрации – взрыв бомбы. Энтони Каменский, Дух-революционер 1905–1907. Наброски прошлых лет.



Насилие порождает насилие и исполняет роль акушерки истории – настаивал Жорж Сорель. На иллюстрации – братоубийственные бои в 1905 году. Энтони Каменский, Дух-революционер 1905–1907. Наброски прошлых лет.

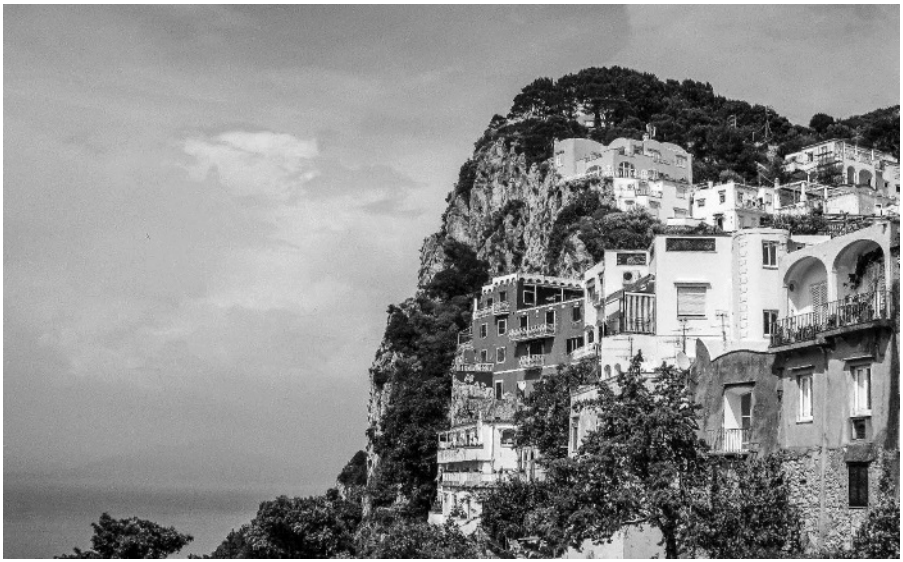


Тюрьма «Павяк» в Варшаве.



«Решетка, на которую я опираюсь – это символ вечного скитальца». Так написал Феликс на обратной стороне фотографии.

Цюрих, 1910.



Капри. Когда Дзержинский посетил здесь Максима Горького и Марию Андрееву, он написал о них: «Они для меня – продолжение моря и острова – сказки, которая мне снится».


Rembrandt
w Warszawie.



Сабина (слева) и Михалина Фейнштейн. Феликс писал о последней: «Я должен слышать, чувствовать, видеть все – и о моей любви, и о смерти М.»





Дом в Кракове, где жил Феликс, и костел св. Николая, в котором он сочетался браком с Софьей Мушкат.



Феликс с женой Софьей и сыном Яном на экскурсии под Москвой, 1925 год.



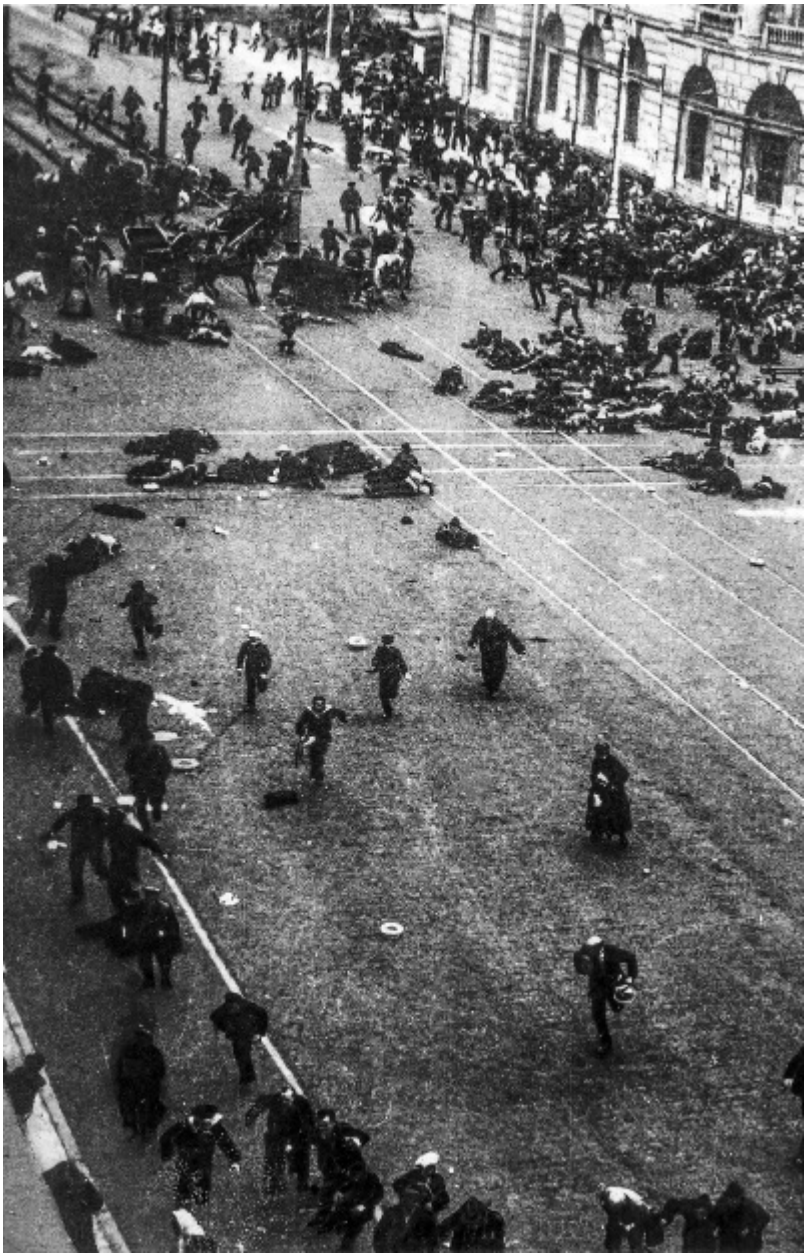
Феликс Дзержинский с женой на даче под Москвой летом 1925 года.



Одиннадцать лет в тюремных камерах оставили глубокий след на внешнем виде и здоровье Дзержинского.



Для революционера порядочным может быть только то, что ведет к революционной цели – утверждает Дзержинский в 1917 году.



4 июля 1917 года, паника на улицах Петрограда. Толпы демонстрантов разбегаются от войск, верных Временному правительству.



Первый солдат революции Феликс Дзержинский – председатель ВЧК.



Дзержинский среди самых главных членов ВЧК.

Кожаные ребята в кожаных куртках – как писал Борис Пильняк.



«Палачи терзают Украину! Смерть палачам!» Большевистский пропагандистский плакат.



Таинственная Фанни Каплан.

Это она 30 августа 1918 года совершила покушение на Ленина.





Два польских шляхтича, связанные происхождением с восточных окраин и браком племянника и племянницы. Чеслав Милош писал: «Кто знает, может оба были больше поэтами, чем политиками, но поэтами, использующими кровь вместо чернил». Один покоится на Вавеле, другой – у Кремля.



Феликс Дзержинский. Палач с сердцем голубя.



Сестра Дзержинского Альдона.

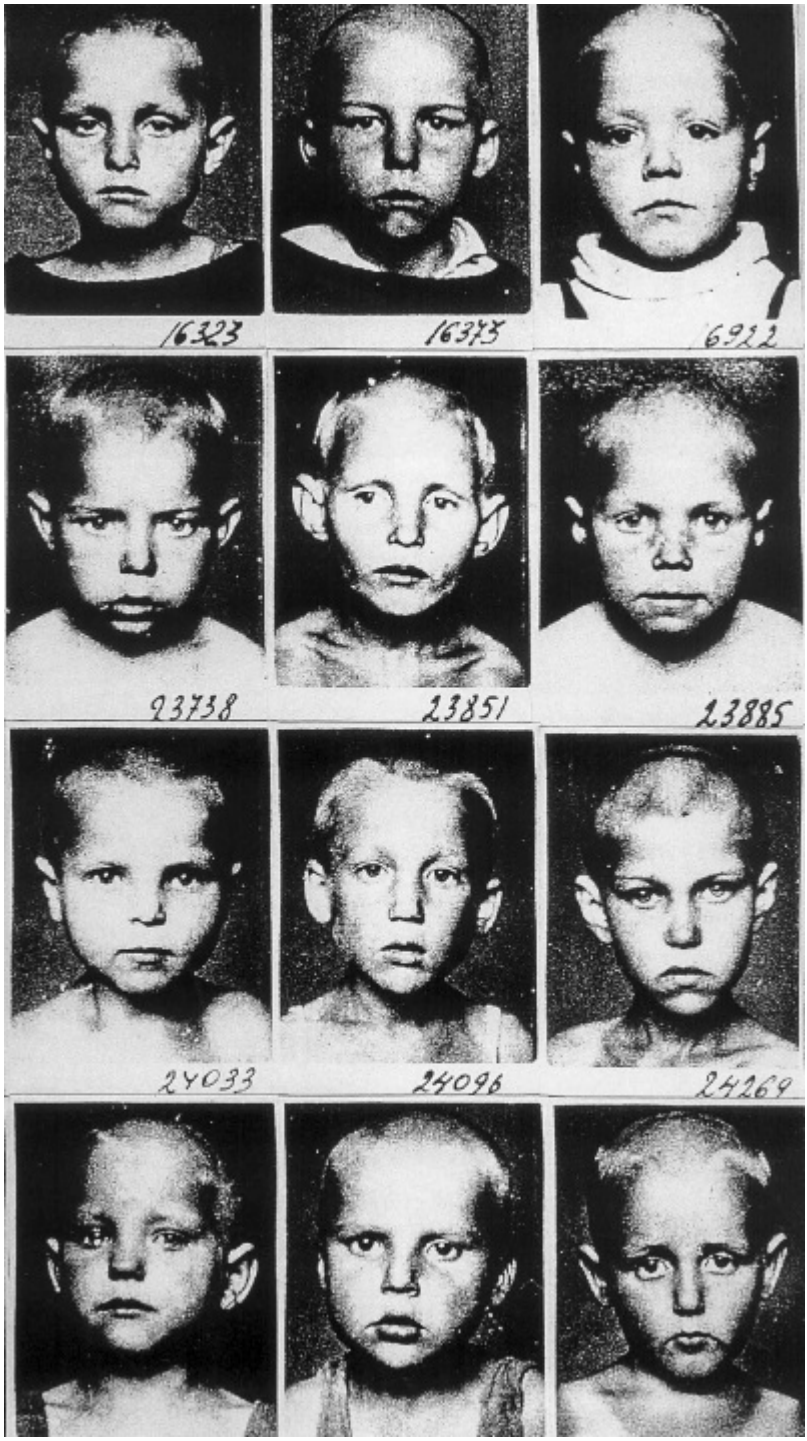
Ревностная католичка, до конца жизни подавала деньги, чтобы отслужили мессу за Феликса.



Сыну Феликс наказывал: «Выполняй, Яська, пионерские правила».



Дзержинский на параде чекистов на Красной площади, Москва, 1921 год.

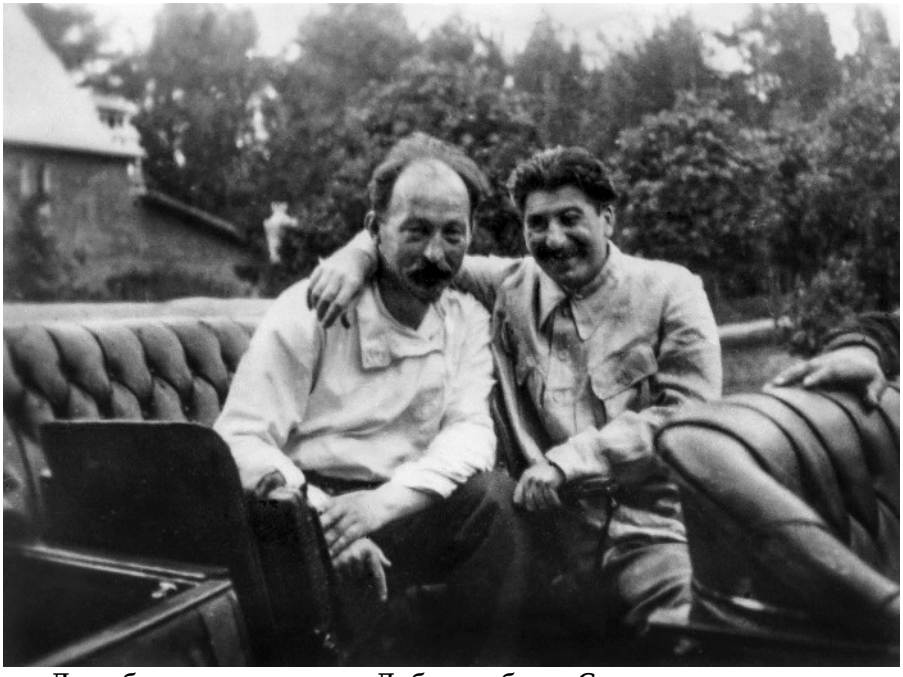


Беспризорные. Дети, постаревшие уже в начале жизни.

Об обитателях «фабрик ангелочков», то есть советских домов сирот, Дзержинский говорил: «Вы не поверите, но эти грязнули – это мои лучшие друзья».



Ленин разыгрывал политику как партию в шахматы.
А толпы шли за ним.



Дружба с начальником Лубянки была Сталину нужна.
До времени…



Похороны Ленина. Феликс Дзержинский у гроба вождя, 1924 год



Внешне напоминал Дон Кихота – описывал Феликса секретарь Сталина Борис Бажанов.



Похоронная процессия рыцаря революции,
Москва, 22 июля 1926 года.



Посмертный снимок Феликса Дзержинского. При жизни он вызывал страх, а умирал осмеянный.

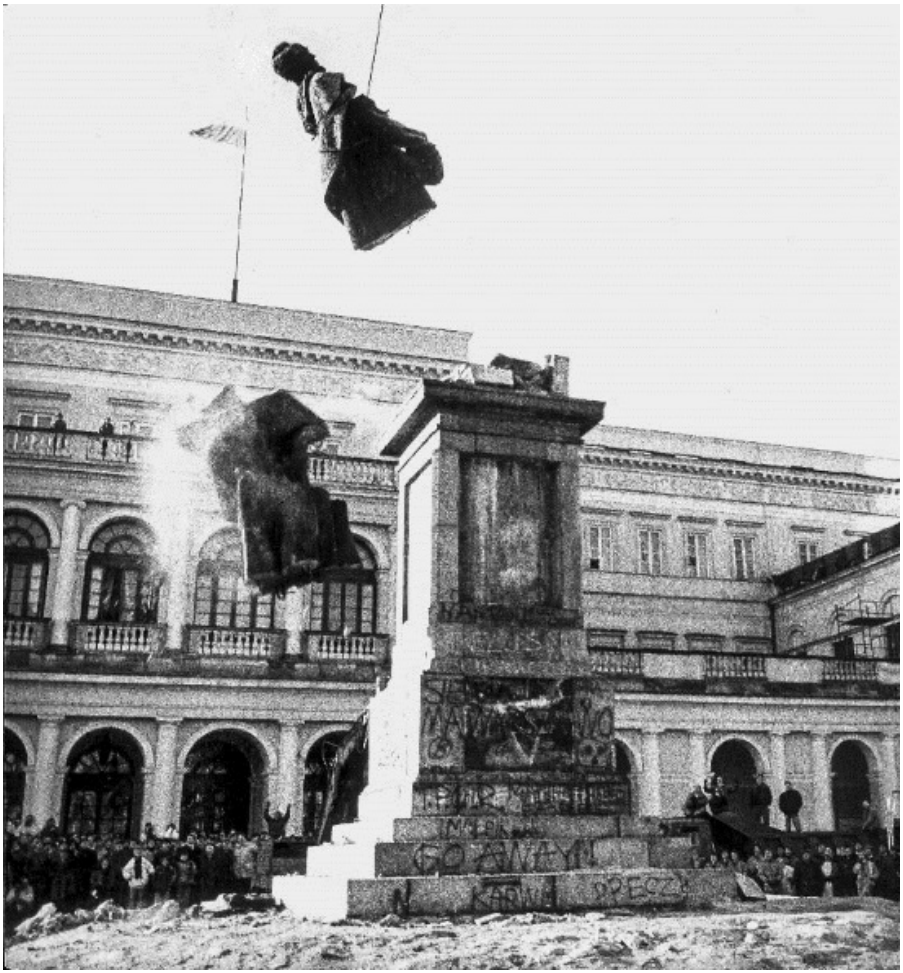


Могила Дзержинского на Красной площади.

«Надо жить для других, пока смерть не придет ночью, как вор…»



Падение гигантов. Памятник Дзержинскому на Лубянке был снесен в 1991 году. Он попал сюда, в Парк искусств, где стоят (или лежат) повергнутые Сталины и Ленины.



Уничтожение памятников не отпугнет демонов истории. Демонтаж памятника в Варшаве на Банковой площади, в прошлом площади Дзержинского, 1989 год.



Феликс Янович Дзержинский с внуком Ваней в саду.



Феликс Янович Дзержинский, внук Железного Феликса, в своей квартире.

Примечания

Насколько мифичен миф. Вступление.

[1] Измененная и приспособленная к описанию воображаемого процесса над Дзержинским цитата по: Bogdan Jaxa-Ronikier, *Dzierżyński. Czerwony Kat,* Oficyna Cracovia, Kraków 1990.

[2] Помещенная в контекст вымышленного процесса цитата по: Aleksander Chackiewicz, *Feliks Dzierżyński. Studium biograficzne*, Książka i Wiedza, Warszawa 1968.

[3] Помещенная в контекст вымышленного процесса цитата по: Jorg Baberowski, *Czerwony terror*, PWN, Warszawa 2009.

[4] Помещенная в контекст вымышленного процесса цитата по: *Towarzysz Józef. Wspomnienia o Feliksie* Dzierżyńskim, Książka i Wiedza, Warszawa 1977.

[5] Помещенная в контекст вымышленного процесса цитата по: Andrzej Witkowicz, *Wokół terroru bialego* i czerwonego 1917–1923, Książka i Prasa, Warszawa 2008.

[6] Ferdynand Antoni Ossendowski, *Lenin*, Alfa, Warszawa 1990.

[7] Тюремное знакомство в Павяке вызывает сомнение, так как граф утверждает, что познакомился с Феликсом в отделении для политических и что они вместе ходили на прогулки. Интересно, каким образом граф мог там оказаться? Как убийцу, его посадили бы вместе с уголовниками. Якса-Роникер также утверждает, что Дзержинский передал ему свои заметки и стихи с просьбой сохранить их в случае шмона у политических. Когда же Феликса неожиданно увезли в Цитадель, граф, отсидев свой срок, якобы, вынес их за тюремные ворота. Трудно поверить в то, что опытный конспиратор-революционер – а таким в то время Дзержинский уже был – воспользовался услугами человека морально неустойчивого, и который, к тому же не имел с ним никаких политических связей. Стихи и заметки были опубликованы графом в 1933 году в беллетризированной биографии *Дзержинский. Красный палач – золотое сердце.* Вчитавшись в стиль стихов и приняв во внимание личность Якса-Роникера, приходится предположить, что он сам их и сфабриковал. Других доказательств поэтических талантов Дзержинского нет. Правда, в одном из писем жене он пишет, что хотел бы стать поэтом, но эту метафору вряд ли можно признать убедительным доказательством. Есть заметка и у Троцкого в *Моей жизни. Попытке автобиографии:* «Темной весенней ночью, у костра, на берегу широко разлившейся Лены, Дзержинский читал свою

поэму, написанную по-польски. Лицо и голос его были великолепны, но поэма слабая. Жизнь этого человека сама стала позже мрачной поэмой». Речь идет о совместном пребывании в ссылке в 1902 году. Но даже если Дзержинский и написал какие-то стихи или поэму – они не сохранились. Что касается заметок, которые Феликс, якобы, дал на хранение графу, то это цитаты из легко доступной и печатавшейся в «Социалистическом обозрении» *Памятки узнику*, которую Феликс писал на рубеже 1908/1909 годов и вынес их X павильона Варшавской цитадели в 1909 году.

[8] Альдона Кояллович, после наделавшей много шума публикации, хотела обвинить Якса-Роникера в диффамации, но ей отсоветовали господа из «Двойки», то есть II отдела Генерального штаба Войска Польского, занимающегося разведкой. Они убеждали отчаявшуюся женщину, что тем самым она только наживет себе проблем, так как в Польше никто ее брата не любит. Для сотрудников разведки речь шла не о добром имени Якса-Роникера, а скорее о Ежи Кушелевском – племяннике Альдоны и Феликса, сыне их сестры Ядвиги – который в то время служил во II отделе в звании капитана (его как раз готовили на должность начальника Отдельного сектора “Литва”)· Судебное разбирательство вызвало бы интерес прессы, начали бы копаться в семейных связях. Племянник начальника советской службы безопасности в рядах польской разведки?! Был еще и другой племянник, Антоний Ежи Булгак, сын Альдоны, муж Ванды Юхневичувны, племянницы Юзефа Пилсудского. Граф должен был об этом знать, но тогда тезис о психопате не выдерживал бы критики, да и польская цензура этого не пропустила бы.

[9] Jerzy Ochmanski, *Feliks Dzierńyński,* Ossolineum, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdansk – Łódz 1987.

[10] С перспективы сегодняшнего дня чтение этих биографий бывает забавным, именно из-за путаных попыток объяснения спорных моментов или их замалчивания. Например, Александр Хацкевич в своем биографическом исследовании *Феликс Дзержинский* предстает исключительно мелочным: он приводит содержание речей, декретов, информации об очередных собраниях и съездах, но о приезде Ленина в знаменитом опломбированном вагоне пишет только: «3 апреля в Петроград прибыл Ленин». Говоря о неудавшемся путче в июле 1917 года, он информирует читателя, что «правительство издало приказ арестовать и отдать под суд Ленина и других большевиков за, якобы,»государственную измену«. Он даже не пытается объяснить, в чем эта измена могла заключаться. Польско-большевистская война представлена в этих биографиях в тональности аргументов,

которыми пользовались большевики при принятии решения о нападении: «В ответ на империалистическую алчность Пилсудского Красная Армия контрударом отражает наступление вельможной Польши». А советское поражение описывается следующим образом: «Не удалось вырвать польский рабочий класс из пут капиталистического рабства». Последовательно замалчивается факт депортации интеллигенции или расправы с Церковью в 1922 году, которая была делом рук «чрезвычайки» и проводилась по приказу Дзержинского. Самого Дзержинского его биограф упрекает в двух ошибках: протест против подписания мирного договора с Германией в Бресте (1919 год) и поддержка Сталина в грузинском конфликте (1922–1923 годы). Свое биографическое исследование Хацкевич писал в начале шестидесятых годов, когда можно было осуждать культ личности и указывать на ошибки, уже вскрытые на XX съезде КПСС – но нельзя было касаться советской власти как таковой, а тем более самого Ленина и КГБ.

[11] Эти воспоминания долгие годы замалчивались и были опубликованы только в 1977 году в польском издании по случаю сотой годовщины со дня рождения революционера – в книге под названием *Товарищ Юзеф. Воспоминания о Феликсе Дзержинском.*

[12] Хроника основных событий в Крыму 1-17 ноября 1920 года, Russkoje Woskresenije, http://www.voskres.ru/army/publicist/kazarin 1.htm

I. Я вспоминаю вас добрым словом. Семья.

[13] Zofia Dzierzyhska, *Lata wielkich bojow*, Książka i Wiedza, Warszawa 1969.

[14] Andrzej Garlicki, *Józef Piłsudski 1867–1935*, Czytelnik, Warszawa 1990.

[15] Michail Murawjew, *Pamietniki hr. Michala Mikolajewicza Murawiewa („Wieszatiela"): (1863–1865): pisane w roku 1866*, Spółka Wydawnicza Polska, Kraków 1896.

[16] В 1893 году царские казаки устроили в Кузе резню жителей, не желавших переименования местного костела в церковь.

[17] Zofia Dzierzyhska, *цит. соч.*

[18] *Urzednicy Wielkiego Ksiestwa Litewskiego. Spisy*, t. 2, *Wojewodztwo trockie XIV–XVIII wiek*, pod red. Andrzej a Rachuby, oprac. Henryk Lulewicz, Andrzej Rachuba, Przemyslaw P. Romaniuk, Andrzej Haratym; przy wspolpracy Andreja Macuka i Jaugiena Aniszczanki, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk – DiG,

Warszawa 2009.

[19] Роман Пиляр – наряду с князем Андрониковым – будет в кадрах ВЧК наиболее титулованным аристократом. Он женится на двоюродной сестре братьев Мацкевич, а Юзеф

Мацкевич, ярый антикоммунист, в книге *Мой зять – шеф ГПУ* опишет семейную историю, связанную с Романом, а в письме Ежи Гедройцу назовет Феликса Дзержинского «родственником». Пиляр будет расстрелян во время «польской операции» в 1937 году.

[20] Jadwiga Sosnkowska, Włodzimierz T. Kowalski, *W kregu mitow i rzeczywistosci*, Interpress, Warszawa 1988.

[21] Feliks Dzierżyński, *Listy do siostry Aldony poprzedzone wspomnieniami Aldony Kojałłowicz oraz Stanislawy i Ignacego Dzierżyńskich*, Książka i Wiedza, Warszawa 1951.

[22] Цитаты по: *там же.* Потом за обучение Дзержинского взялась старшая сестра Альдона. В письме ей Феликс вспоминает: «Помнишь, как ты учила меня французскому и однажды несправедливо хотела поставить меня в угол? Я помню эту сцену, как будто это было сегодня: мне надо было переводить письменно с русского на французский, и тебе показалось, что я перевернул страницу и подсмотрел какое-то слово, и ты послала меня в угол, а я не хотел идти и не пошел, потому что ты несправедливо меня наказала. Пришла мама и своим добрым голосом уговорила меня, чтобы я встал в угол».

[23] Jadwiga Sosnkowska, Włodzimierz T. Kowalski, *цит. соч.*

[24] Гедымин Булгак умер в 1908 году. Альдоне было уже за шестьдесят, когда она вновь вышла замуж за Артура Коялловича. В межвоенный период она жила в Вильно, работала учительницей, потом была в учительской семинарии в Сеннице уезда Минск Мазовецкий. Она попала туда в наказание за то, что после майского переворота 1926 года в классе, где она преподавала, она сняла со стены портрет Начальника государства (Пилсудского. – *Прим. перев.),* заявив, что недопустимо, чтобы «поляк стрелял в поляков». В сталинские времена она сыграла большую роль, будучи сестрой великого революционера. Массовые аресты и смертные приговоры вынуждали отчаявшихся людей обращаться с просьбами вырвать близких из рук режима. Альдона направила письмо Болеславу Беруту, наверное, первое такого рода, по делу Владислава Сила-Новицкого, участника варшавского восстания и активного деятеля организации «Свобода и Независимость» (польская антисоветская подпольная гражданско-военная организация, действовавшая на территории Польши после II мировой войны. – *Прим. перев.*), который был родственником Дзержинских. Альдона писала Беруту: «Я люблю его как собственного сына, и в память о незабвенном брата моем

Феликсе Дзержинском, умоляю Вас, гражданин Президент, даровать жизнь Владиславу Новицкому» (Tadeusz M. Płużański, *Zapora przeciw komunizmowu* Biuletyn Informacyjny AK, nr 3, marzec 2011). Помогло, будущий сотрудник Комитета защиты рабочих (КОР) и уважаемый адвокат был спасен (хоть и страдал от угрызений совести, так как его товарищей постигла высшая мера наказания). К Альдоне стали обращаться и другие обвиняемые или их близкие. Она помогала как могла. Альдона умерла в 1966 году в возрасте 96 лет, пережив всех своих родных. До конца жизни она давала деньги в костел на поминание души брата. Она была польской патриоткой и ревностной католичкой, она никогда не могла примириться с коммунистической идеологией, но одновременно сильно любила Феликса и после смерти брата боролась за его доброе имя.

[25] Feliks Dzierżyński, *Listy do siostry Aldony…*, *цит. соч.*

[26] Антоний Ежи Булгак, благодаря родственным связям с Пилсудским, в межвоенный период получил неплохие должности в Варшаве – директора мясоперерабатывающего предприятия и директора биржи сельскохозяйственных продуктов. Когда в сентябре 1939 года Варшава еще пыталась сопротивляться нашествию Германии, Тонио вновь сыграл значительную роль в окружении Маршала. Вот как это описала в *Воспоминаниях* вдова Начальника государства: «Мы [с дочерями] упаковали вещи, но отъезд [в Каменный Двор] оказался невозможным. Немцы яростно бомбили именно ту железнодорожную линию, по которой нам нужно было ехать, и движение поездов по ней было приостановлено. Нас спас мой кузен, Ежи Булгак, находившийся тогда в Варшаве, предложив нам переехать в его имение на восточных окраинах страны. Многие тамошние по-мещики, и он в том числе, отдали свои усадьбы под военные госпитали, и наша помощь могла там пригодиться. Мы выехали в семь утра, я, дочери, моя сестра и молодая кузина Анна, которая через несколько недель должна была родить» (Aleksandra Pilsudska, *Wspomnienia*, LTW, Warszawa 2004). Пробыв несколько дней в имении Булгаков, вдова Маршала решает вместе с дочерями ехать в Вильно. Вскоре вслед за ней уезжают также Антоний и Ванда Булгак. Благодаря матери Антония, Альдоне, которая передает советским властям несколько оригинальных писем от Феликса, они получают паспорта. При помощи японского вице-консула Тиунэ Сугихара они едут транзитом через СССР в Японию, и там садятся на корабль в Канаду. Булгак умирает в 1961 году в Ванкувере.

Старший брат Тонио, Рудольф Булгак, стал жертвой определенного поведения. Сдав в Курске (в 1915 году) экзамен на

аттестат зрелости, он, видимо, захотел получить еще и сексуальное образование и воспользовался услугами проститутки. Заразился венерической болезнью. Из страха перед религиозной матерью он предпочел совершить самоубийство.

[27] Zofia Dzierżyńska, *цит. соч.*

[28] Знакомая семьи в Дзержинове.

[29] Копия письма из семейного архива, F 230/72-74, отдел истории партии ЦК ПОРП, оригинал в Новом Архиве.

[30] Ежи Кушелевский, воспитанный в помещичьих традициях и получивший хорошее образование в Академии политических наук в Вильно, никогда не знал матери. Он работал в разведке, в том числе в секторе «Россия», а с июля 1934 года в звании капитана был назначен начальником Отдельного сектора «Литва». Когда советские войска в 1939 году вошли в Вильно, он совершил самоубийство или погиб в боях где-то между Вильно и Завясами. Если бы он попал в советский плен, то наверняка погиб бы в Катыни.

[31] Усадьба в Дзержиново несколько лет назад реконструирована по инициативе президента Белоруссии Александра Лукашенко.

[32] Ричард Пайпс в монографии *Россия большевиков* пишет: «В воскресенье 27 января тело вождя [Ленина] было положено во временный деревянный мавзолей. К сожалению, уже в марте, с приходом весны, труп начал розлагаться. (…) Потом Дзержинский, задачей которого было знать все, получил информацию, что некий Владимир Воробьев, анатом из Харькова, изобрел новый метод консервации живых тканей» (Richard Pipes, *Rosja bolszewików*, Magnum, Warszawa 2005). Поправка: „задачей которого было знать все” в данном случае является преувеличением. Воробьев был сотрудником Владислава Дзержинского, и поэтому Феликсу, который бывал в Харькове, пока брат не переехал в Екатеринославль, не пришлось особенно утруждать себя поисками подходящего кандидата на место консерватора тела Ленина.

[33] Владислав Дзержинский вернулся в Польшу со второй женой Катей, русской, вдовой царского прокурора, и ее дочерью от первого брака Верой. Феликс дал им в дорогу свой продовольственный паек, который, правда, быстро кончился, поэтому во время долгого пути Владиславу приходилось добывать еду, они питались, в том числе, жилистым мясом добытого аиста.

[34] Simon Sebag Montefiore, *Stalin. Młode lata despoty*, Swiat Ksia”ki, Warszawa 2008.

[35] Дональд Рейфилд приводит в своей книге мнение бывшего ученика Эдмунда в таганрогской гимназии Павла Филевского,

который пишет, что Дзержинский был болезненно раздражительный и любил мучить учеников. Не исключено. Бывает, что человек на работе не такой, как дома. Может, следует учесть и усиливающуюся болезнь. Но с тем же успехом это может быть мнение необъективного ученика. Все мы помним школу и то, что для одних учеников кто-то является прекрасным педагогом, а для других – «злобной ведьмой», которая их невзлюбила.

II. Свет пришел с Востока. Революционеры.

[36] Astolphe de Custine, *Listy z Rosji*, Aramis, Kraków 1989.

[37] Ludwik Krzywicki, *Wspomnienia*, Książka i Wiedza, Warszawa 1958.

[38] Первой ею заинтересовалась группа интеллектуалов, сплотившихся вокруг Александра Пушкина. Более радикальной была студенческая молодежь из кружка Александра Герцена и Николая Огарева, которая стремилась немедленно внедрять в жизнь идеи равенства.

[39] Borys Jegorow, *Oblicza Rosji. Szkice z historii kultury rosyjskiej XIX wieku*, Slowo / obraz terytoria, Gdansk 2002.

[40] Владимир Ильич Ленин, который отлично знал эту склонность русских, чрезвычайно изощренно использовал *безудерж* для торжества большевистской революции. Одного только не учел – что это меч обоюдоострый.

[41] Цитаты по: Borys Jegorow, *цит. соч.*

[42] Николай Чернышевский, например, усмотрел в отмене крепостного права возможность изменить устройство России. Он посчитал это сигналом к началу общенациональной революции. Он написал известное воззвание *Барским крестьянам от их добродетелей поклон*, в котором убеждал, что революция – это всеобщий порыв, но чтобы он произошел, нужно заранее к нему готовиться. Но как только в 1862 году за Чернышевским закрылись ворота тюрьмы, его логические выводы довольно быстро уступили место утопическим фантазиям. Во время заключения в 1863 году он написал роман *Что делать*? в котором спроектировал идеальное общество по образцу фаланстеров у Фурье, только примененных к российским условиям. Название книги станет со временем основным вопросом русской интеллигенции, а мысли, содержащиеся в романе, кое-кто будет пытаться внедрить в жизнь. Его идеи, чтобы все работали на равных условиях за одинаковую плату, через 54 года разовьет Ленин в статье *Государство и революция.*

[43] Тридцатые и сороковые годы XIX века – это время

возникновения в России многочисленных кружков, от литературных, музыкальных, математических, химических, философских и до славянофильских, западнических и масонских. Многие из них носили политический характер, хотя настоящее обилие последних наблюдалось в шестидесятые годы, уже после претворения в жизнь реформ Александра II. Кружки возникали главным образом в Петербурге, но действовали также во всех университетских городах, потому что в них вступала прежде всего студенческая молодежь.

[44] Borys Jegorow, *цит. соч.*

[45] И так уж декабристы мечтали о присоединении к России не только утраченной Аляски, но даже Калифорнии и северных островов Тихого океана, чтобы эти воды стали внутренним морем российской державы. Поборниками государственности (читай: империализма) были даже Борис Чичерин, сторонник западничества, и Виссарион Белинский, который прославлял Ивана Грозного и Петра I, а также оправдывал репрессии властей на Украине. Известные антипольские настроения Достоевского сформировались в ссылке, где он находился вместе с польскими повстанцами. Он мог с ними согласиться, что надо бороться с самодержавием – но это было не то же самое, что борьба с государством российским. Попытки поляков оторваться от матушки России он считал вредной причудой барчонков. И только во второй половине XIX века стали раздаваться отдельные голоса, поддерживающие независимость других народов – Александра Герцена, Михаила Салтыкова-Щедрина, Льва Толстого, Владимира Короленко. Настойчивый голос Бакунина по этому вопросу был абсолютным исключением.

[46] Siergiej Nieczajew, *Katechizm rewolucjonisty*, IBW – anarchizm, antykapitalizm, rewolucja, socjalizm, http://anarchizm.net. pl/ klasycy/katechizm-rewolucjonisty.

[47] Изощренный в своих замыслах Нечаев слал из Женевы своим товарищам по кружкам письма с призывами без соблюдения мер предосторожности – чтобы нарушить их конспирацию, следствием чего был бы арест. Он был инициатором и одним из исполнителей убийства члена кружка Ивана Иванова, что стало канвой романа Достоевского *Бесы.* Видимо, у сибирских шаманов он приобрел гипнотические способности и, соответственно, возможность манипулировать людьми.

[48] *Filozofia spoleczna narodnictwa rosyjskiego. Wybór pism,* pod red. Andrzej a Walickiego, Książka i Wiedza, Warszawa 1965

[49] *Там же.* В последние годы жизни судьба свяжет Кропоткина с Дзержинским. Князь-анархист вернется в Россию в

1917 году, как известный идеолог групп, с которыми потом у Феликса, как председателя ВЧК, будут серьезные проблемы. При этом самого Кропоткина он будет навещать и спасет от голодной смерти, а когда в 1921 году князь умрет, он выпустит из тюрем часть анархистов, чтобы они могли участвовать в похоронах.

[50] Michał Komar, *Zmeczenie*, Libella, Paryż 1986. Следствием этих тезисов станет в будущем известное выражение Ленина о кухарке в правительстве и лозунг: *Кто не работает, тот не ест.* Ну, и ритуал осмотра ладоней.

[51] Цитаты по: *Filozofia spoleczna narodnictwa rosyjskiego…, цит. соч.*

[52] Michał Komar, *цит. соч.*

[53] Philip Pomper, *Brat Lenina. Opowieść o rodzinie rewolucjonisty*, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2010.

III. Как Густав стал Конрадом. Вильно.

[54] Feliks Dzierżyński, *Listy do siostry Aldony poprzedzone wspomnieniami Aldony Kojałłowicz oraz Stanislawy i Ignacego Dzierżyńskich*, Książka i Wiedza, Warszawa 1951.

[55] Во второй половине XIX века Вильно был городом многонациональным, а после открытия в 1862 году Варшавско-Петербургской железной дороги и в связи с развитием промышленности он стал и многоклассовым. Сюда нахлынуло много народа из деревни, и в результате возникли рабочий класс и класс чиновников фабрично-заводского типа. Здесь сливались различные политические течения, а зарождающийся социализм – в версии независимости и интернационализма – нашел для себя в Вильно прекрасную почву. Отсюда вышли Леон Йогихес-Тышка, один из будущих лидеров польской социал-демократии, и Мечислав Козловский, также социал-демократ, работавший вместе с Феликсом Дзержинским в послереволюционной России. В городе действовала группа Александра Ульянова, связанная с братьями Пилсудскими, и именно сюда приехала знаменитая Вера Засулич, чтобы создавать социал-демократическую структуру. Называемый Северным Иерусалимом, Вильно стал местом сильного расцвета еврейского социализма. В 1897 году в городе возникла еврейская партия Бунд, с которой был связан Лев Мартов, будущий лидер меньшевиков. Отсюда родом и Шимон Дикштейн, или Ян Млот – идеолог первой партии “Пролетариат”. В 1883 году в Вильно прошел съезд “Пролетариата”, на котором рассматривалась возможность создания Польско-Литовской Социально-Революционной Партии, и окончательно заключено

соглашение с “Народной волей”. Нельзя также забывать о литовцах. В восьмидесятые годы XIX века сформировалась новая социальная группа: литовская интеллигенция, вышедшая из крестьянства. В свою политическую программу она записала борьбу за демократию и независимость. А при всем при том Вильно оставался колыбелью романтизма, над которой Пресвятая Дева Мария сияет в Остробрамской часовне (образ Девы Марии Остробрамской упоминается в поэме Адама Мицкевича *Пан Тадеуш. – Прим. перев.)*.

[56] В результате реформ Александра II, начиная с 1864 года, все гимназии в России были разделены на классические и реальные. В классических гимназиях упор делался на гуманитарные предметыЮ в том числе на изучение латинского и греческого языков; а в реальных – наоборот, классические языки не изучались, но была расширенная программа точных и естественных наук. Результаты такого разделения иронически описывает Станислав Бжозовский в повести *Пламя* (в русском переводе – *Зарево. – Прим. перев.)*.

[57] Якса-Роникер приводит в *Красном палаче* слова Эдуарда Герриота, будущего премьера Франции, который в 1922 году посетил Варшаву, а потом, якобы, привел в своих воспоминаниях высказывание Пилсудского по поводу школьного товарища: «Как ученик, он [Дзержинский] отличался деликатностью и скромностью». Юзеф, который был на десять лет старше Феликса, окончил виленскую гимназию в 1885 году, а когда Феликс туда поступил, Юзеф вместе с братом Брониславом уже был осужден за участие в группе Ульянова и получил пять лет ссылки в Восточногй Сибири. В сентябре 1887 года он уже находился в ссылке в Иркутске.

[58] Józef Piłsudski, *Jak stalem sie socjalistą*, „Promien”, nr 8–9/1903.

[59] Ludwik Czarkowski, *Wilno w latach 1867–1875. Ze wspomnień osobistych*, „Pamiętnik Wileńskiego Towarzystwa Lekarskiego”, Wilno 1929.

[60] Wacław Solski, *Moje wspomnienia*, Instytut Literacki, Paryż 1977.

[61] Проблемы с русским языком имел и Юзеф Пилсудский. В случае Пилсудского и Дзержинского это, скорее, сильное нежелание, а не отсутствие способностей. Дзержинский никогда не овладел полностью правилами этого языка, он всегда говорил с восточно-польским акцентом.

[62] Я Вас люблю… Письма Ф. Дзержинского М. Николаевой, Кучково Поле, Москва 2007.

[63] Zofia Dzierżyńska, *Lata wielkich bojow*, Książka i Wiedza,

Warszawa 1969.

[64] Jerzy Ochmanski, *Feliks Dzierżyński*, Ossolineum, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdansk – Łódź 1987.

[65] *Там же.*

[66] Как вспоминает Эдвард Соколовский, кружки Малецкого объединились с кружками Станислава Трусевича «Очкарика», потом к ним присоединились группы социалистов-интеллигентов под руководством доктора Анджея Домашевича и Альфонса Моравского «Зайца». Таким образом формируется руководящая группа рабочей организации, которая вскоре получит название Литовская социал-демократия (ЛСДП). По Соколовскому, идеологические споры длились долго, всю зиму 1894–1895 года. Члены «Сердца Иисусова», прежде всего Малецкий, Дзержинский, Баранович и Блох, горячо дискутировали тогда с Милевским и Макаровым, представителями социалистического кружка. На их встречи приходили Трусевич и Моравский, уже тогда крепкие социал-демократы, что перевесило чашу весов на сторону Милевского и Макарова. В конце концов, патриоты-иисусовцы перешли на их сторону (*Towarzysz Józef. Wspomnienia o Feliksie Dzierżyńskim*, Książka i Wiedza, Warszawa 1977).

[67] Владимир Ленин, как и Дзержинский, тоже начинал с чтения трудов ведущих немецких идеологов, Маркса и Энгельса, перевернув потом их идеи вверх ногами. Карл Каутский стал со временем главным идеологическим противником Ленина, острым критиком диктатуры пролетариата и красного террора – поэтому Ленин назовет его «ренегатом».

[68] Ludwik Krzywicki, *Wspomnienia*, Książka i Wiedza, Warszawa 1958.

[69] В биографии Дзержинского Ежи Лонтка приводит мнение психолога, что «период созревания был для него особенно трудным, потому что тяжело заболела мать; в сознании интеллигентного и чувствительного мальчика перепутались мысли о смысле жизни, смысле существования, плюс неогеновые проблемы (Jerzy Łątka, *Krwawy apostol*, Spoleczny Instytut Historii, Kraków 1997).

[70] Feliks Dzierżyński, *Listy do siostry Aldony*…, *цит. соч.*

[71] Копия письма из семейного архива, F 220/43, Отдел Истории партии ЦК ПОРП, оригинал в Новом Архиве.

[72] *Там же.*

[73] Копия письма из семейного архива, F 221/43, *там же.*

[74] Stefan i Witold Lederowie, *Czerwona nit*, Iskry, Warszawa 2003.

[75] Как утверждает цитированная Ежи Лонткой психолог, «воспитание в духе христианского идеализма привело к тому, что он некритично принимал утопические идеи Ленина». Речь,

конечно, о более позднем времени. В виленский период он Ленина не знал, но был готов принять утопию, как святое причастие.

[76] Aleksander Michajtowicz Romanow, *Bylem Wielkim Księciem (koniec dynastii),* Studio Wydawnicze Unikat, Bialystok 2004.

[77] Feliks Dzierżyński, *Autobiografia*, [w:] *idem, Pisma wybrane*, Książka i Wiedza, Warszawa 1951.

[78] Jerzy Ochmański, *цит. соч.*

[79] По словам Эдварда Соколовского, Дзержинского выгнали из школы с «волчьим билетом», потому что учителю, сделавшему выговор группе учеников, говорящих на польском языке *(собачьим языком),* он дал в морду. Примерно такие же воспоминания и у Альдоны – Феликс ушел из школы после конфликта с ненавистным учителем Мазиковым: «Бросая гимназию, Феликс открыто, в глаза сказал учителям всю правду об их воспитательных методах. Он вошел в учительскую и, обращаясь к преподавателю русского языка по прозвищу Рак [предположение автора], которого ученики особенно ненавидели за шовинизм и дискриминацию учеников-поляков, заявил, что националистская дискриминация ведет к тому, что из учеников вырастут революционеры, что учителя-преследователи сами воспитывают борцов за свободу. Это выступление Феликса поразило педагогов. Они были настолько ошеломлены, что не успели применить никакие средства. Дома Феликс обо всем этом весело рассказывал» (Jerzy Ochmański, *цит. соч.)*.

[80] Jerzy Ochmański, *цит. соч.*

[81] Адам Мицкевич, *Дзяды. Часть III.*

IV. Юноша из огня и серы. Агитатор.

[82] *Towarzysz Józef. Wspomnienia o Feliksie Dzierżyńskim,* Książka i Wiedza, Warszawa 1977.

[83] Feliks Dzierżyńki, *Autobiografia,* [w:] *idem, Pisma wybrane*, Książka i Wiedza, Warszawa 1951.

[84] Социал-демократия Королевства Польского (СДКП) была создана в 1893 году в Варшаве социалистами, которые не хотели принимать программу Польской социалистической партии (ППС). Спор между этими двумя фракциями касался главным образом национального вопроса. Для представителей ППС социализм ассоциировался больше с революционностью и конспирацией, чем с теорией классовой борьбы, а выводы Маркса по поводу капитала они считали просто «ерундой», говоря словами Пилсудского. Они сделали ставку прежде всего на независимость, где социализм,

обещающий равенство, должен был стать отличным инструментом в процессе формирования национального сознания крестьянства и вырастающего из него нового рабочего класса, так как во время январского восстания обе эти социальные группы не оправдали надежд.

Совсем иначе дело обстояло с СДКП. Для создателей этой партии фундаментом стала *Эрфуртская программа.* Национальность не должна здесь играть никакой роли, наоборот, она мешала, так как окончательным результатом слияния Польши и России должно быть объединение польского и российского пролетариата, который приведет к свержению самодержавия, а потом и польско-российского класса капиталистов, как утверждала главный идеолог социал-демократов Роза Люксембург. И все это легальным путем, через парламентаризм, при полном отказе от революционной борьбы, которая не отвечает заботе о судьбе рабочего.

[85] Waldemar Potkański, *Postulat niepodleglosci Polski w programie PPS oraz innych ugrupowari socjalistycznych*, „Zeszyty Historyczne", nr 161, Paryż 2007.

[86] Зимой 1896 года Литовская социал-демократия приняла программу, которая была копией *Эрфуртской программы.* По вопросу о независимости в ней говорится о «самостоятельной, демократической Речи Посполитой, состоящей из

Литвы, Польши и других стран на принципе добровольной федерации».

[87] *Towarzysz Józef…, цит. соч.*

[88] Jerzy Ochmadski, *Feliks Dzierżyński,* Ossolineum, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdansk – Łódź 1987.

[89] Feliks Dzierżyński, *Autobiografia, цит. соч.*

[90] *Towarzysz Józef…, цит. соч.*

[91] *Там же.* А так то же событие в письме Гульбиновичу описывает Дзержинский, будучи уже шефом ведомства на Лубянке: «Москва, 23 I 1923. Дорогой товарищ! вспоминая иногда свои первые шаги в революционной жизни, вспоминаю и Вас, Андрей, нашего поэта и моего проводника вглубь рабочей жизни. Помню, как нам дубильщики кожу надубили, когда мы возвращались из Султонишек. Больше двадцати лет назад". В 1922 году он рассказывал в интервью, что поэта тогда сразу сбили с ног, а он начал драться, в результате получил несколько ударов ножом, и потом его зашивал доктор Домашевич.

[92] Jerzy Ochmanski, *цит. соч.*

[93] *Towarzysz Józef…у цит. соч.*

[94] В идейном споре между социалистами главный идеолог ППС Казимир Келлес-Крауц упрекал социал-демократов в

доктринерстве и в слишком узком подходе к вопросу экономической зависимости Королевства Польского от России. Он пытался доказать, что естественное экономическое соперничество требует естественных условий, которые для данного народа может создать только гарантия государственной независимости. Но это была полемика на высоком интеллектуальном уровне. Рабочий в таких ситуациях чаще всего использовал кулаки, палки, острые предметы – «все, что под руку попадется».

[95] *Towarzysz Józef…у цит. соч.*

[96] Feliks Dzierżyński, *Autobiografiay цит. соч.* Краткую автобиографию Дзержинский написал перед назначением его на должность председателя Высшего совета народного хозяйства в 1924 году. Впервые она была опубликована в периодическом издании „С Поля Боя", № 3, Москва 1927.

Ковно был в то время вторым после Вильно литовским городом с точки зрения его величины, населения и экономики. Здесь было три крупных завода и один поменьше. В записках Дзержинского, которые нашли у него потом при обыске значилось: завод Рекоша – 400 рабочих, Петровского и Шувалы – 70, Шмидта – 700. Для молодого социалистического деятеля перспективы агитации были совсем неплохими. Альфонс Моравский пишет, что „первые значительные проявления христианского рабочего движения в Ковно [Бунд уже какое-то время действовал среди евреев] стали заметны во второй половине 1894 года. Именно тогда ППС приступила к распространению среди рабочих своей литературы. Это настолько ужаснуло фабрикантов, что через своих людей они начали выслеживать распространителей нелегальной литературы. Начались аресты. К ответственности было привлечено более 70 человек. После паники, вызванной этими арестами и ссылкой многих рабочих, среди христианских рабочих долгое время царила пассивность в отношении своей рабочей недоли" (Jerzy Ochmański, *цит. соч.)*.

[97] Jerzy Ochmański, *цит. соч.*

[98] Feliks Dzierżyński, *Autobiografia, цит. соч.*

[99] *Там же.* На первой полосе первого номера «Ковенского Рабочего» было напечатано воззвание *Ко всем ковенским рабочим.* Его отличал характерный стиль – молодого, горячего пера, но знающего, кто должен быть адресатом текста. Далее шли четыре статьи. Не обошлось без стилистических огрехов и языковых несуразностей, вызванных очень юным возрастом автора – но для получения соответствующего эффекта не это было главным.

[100] Jerzy Ochmański, *цит. соч.*

[101] Некий Михаил Римас, рабочий с фабрики Тильманса, доносил полиции, как агитировал Дзержинский. Когда Римас вышел за проходную, тот подошел к нему и, попросив закурить, завязал разговор. Представился ему *мудрой фамилией*, именем Якуб, по профессии переплетчик. Спросил, почему они так поздно уходят с работы. Через несколько дней они встретились вновь и Якуб пригласил его выпить пива, а потом проводил до дома. Он попросил, чтобы Римас подыскал ему работу у Тильманса, и периодически приходил узнать, что слышно по этому поводу, но когда Римас нашел ему работу, Якуб отказался, сказав, что на фабрике «вредный для здоровья воздух». Зато при каждой встрече он говорил, что надо организовать забастовку и заставить хозяина повысить зарплату. Он предлагал организовать забастовочную кассу, из которой рабочие будут получать деньги, и утверждал, что работяги дадут пример крестьянам, которые, узнав, что народ бунтует, сами начнут шевелиться – а потом можно будет создать республику, как в Соединенных Штатах Америки. *Вслед за:* Jerzy Ochmański, *цит. соч.*

[102] Jerzy Ochmański, *цит. соч.*

[103] Самый серьезный конфликт между фракциями происходит в 1898 году. В марте должен состояться I съезд Российской социал-демократической рабочей партии (РСДРП). Левая фракция ЛСДП добивается участия в нем, а правая решительно против. В результате никто в Минск в качестве делегации не поехал. В это время Феликс Дзержинский находится в Ковно, с июля в городской тюрьме. Из-за решетки он пишет письмо Домашевичу: он возмущен, что литовские социал-демократы не поехали на съезд.

[104] На национальном вопросе проблемы партии не заканчиваются. Начинается острый конфликт между рабочими и интеллигенцией. Вот как об этом пишет Феликс: «В то время среди рабочих нашей организации шла борьба между интеллигенцией и самыми выдающимися рабочими, которые требовали от интеллигентов, чтобы те их научили, дали знания и т. д., а не лезли в массы и не совались не в свои дела (…) Рабочие, члены кружков [агитаторы] старались не допустить руководителей к массам, не давали им связь» (Feliks Dzierżyński, *Autobiografia, цит. сон)*. Моравский о той же проблеме: «Масса погнала агитаторов, так как чувствовала себя еще больше пострадавшей от них из-за интеллигенции, так как простые рабочие вообще не получили от интеллигентов никаких уроков» (Jerzy Ochmadski, *цит. соч.)*. Таким образом, лопнул прекрасный девиз интеллигентов: «Ты должник, большой должник трудящегося народа», в котором над этосом был еще и

религиозный фактор. Потому что рабочий Бога имел в костеле. От интеллигента он ожидал дармовых уроков. А тот же интеллигент, спустя годы претворяя в жизнь лозунги социализма, похоронит надежды рабочего на счастливый мир под властью пролетарской диктатуры.

[105] Aleksander Chackiewicz, *Feliks Dzierżyński. Studium biograficzne*, Książka i Wiedza, Warszawa 1968.

V. Первая любовь. Первая ссылка.

[106] Bohdan Cywmski, *Rodowody niepokornych*, Świat Książki, Warszawa 1996.

[107] Наряду с виселицей и расстрельным взводом революционеров поджидал еще один враг: туберкулез, который незаметно подкрадывался в сырых камерах, убивая самым негероическим способом. Иногда он оказывался лучшим союзником властей. Так в Шлиссельбургской крепости после шести лет мучений умер Людвик Варыньский – польский Че Гевара. Так Бенито Муссолини избавился от Антонио Грамши, известного итальянского коммуниста. Так мог умереть и Феликс Дзержинский, который унаследовал от отца склонность к этому смертельному заболеванию. Но такой оборот его не страшил. Анджей Гульбинович вспоминает, что как-то попросил Феликса, чтобы тот поберег себя, на что услышал: «Здоровье у меня неважное, врачи сказали, что у меня хронический бронхит и сердечная недостаточность, жить осталось не более 7 лет, и эти семь лет я хочу с наибольшей пользой использовать для рабочего дела» (*Towarzysz Józef. Wspomnienia o Feliksie Dzierżyńskim*, Książka i Wiedza, Warszawa 1977).

[108] Feliks Dzierżyński, *Listy do siostry Aldony poprzedzone wspomnieniami Aldony Kojałłowicz oraz Stanislawy i Ignacego Dzierżyńskich*, Książka i Wiedza, Warszawa 1951.

[109] Jerzy Ochmadski, *Feliks Dzierżyński,* Ossolineum, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdadsk – Łódź 1987.

[110] Всегда, когда Дзержинский выходит из тюрьмы, у него не остается времени на личную жизнь: он пишет Альдоне урывками, чаще всего на открытках, передавая лишь обычные поздравления.

[111] Ныне город Киров на реке Вятка.

[112] 5 ноября 1898 года Дзержинский пишет очередное письмо, из которого еще отчетливее просматривается семейный конфликт. «Вчера и позавчера получил твои письма. Вижу по ним, что ты мной очень недовольна (…), а проистекает это оттого, что ты совсем не понимаешь и не знаешь меня. (…) Ты говоришь: «Вы

не признаете семьи, чувство ваше сильнее ко всем вообще, нежели к отдельным людям, составляющим семьи». (…) Я говорю лишь, что сегодняшняя форма семьи приносит почти исключительно плохие результаты. (…) Почти для всех классов общества она приносит сегодня лишь страдания, а не облегчение, не радость. Прежде всего возьмем пример из жизни рабочего класса. Я знаю семью, – а таких тысячи, – в которой и отец и мать работают на табачной фабрике (здесь в Нолинске) с 6 часов утра до 8 часов вечера. Что могут получить дети от семьи, поставленной в такие условия? Питаются они плохо, надзора за ними нет; а как только подрастут, они нередко должны взяться за работу раньше, чем за букварь, чтобы прокормить самих себя. Скажи, что может дать им семья? Беру другую общественную группу – крестьян: здесь семья еще отчасти сохранила почву под ногами, но чем дальше, тем последняя все больше ускользает. Большей частью крестьянин вынужден теперь искать побочных заработков, так как земля слишком часто не может его прокормить. (…) Перейду теперь к классу богатых. Здесь прежде всего бросается в глаза то, что семья возникает почти исключительно из коммерческих побуждений; во-вторых, распутная женщина в семье клеймится ужасным позором». Быть может, Феликс имеет в виду сестру Ядвигу. Действительно, было время, когда только он от нее не отвернулся. В повседневной жизни он всегда был толерантный. И пишет дальше: «…в то время как распутник-мужчина – обычное явление. Мужчине у нас разрешается все, а женщине – ничего. Так разве можно считать примерными эти семьи, в которых женщине-рабыне противопоставляется деспот-мужчина. (…) Поэтому семья зажиточных классов с ее проституцией противна. (…) Теперь ты видишь, Альдона, что есть более глубокие причины изменения наших отношений, чем ты думаешь. А поняв таковое, можно защититься от массы неприятностей». Поняла ли Альдона? Наверное нет, но она заботилась о брате, несмотря на его классовое перерождение.

[113] Цитаты по: Feliks Dzierżyński, *Listy do siostry Aldony…*, *цит. соч.*

[114] Jerzy Ochmański, *цит. соч.*

[115] Feliks Dzierżyński, *Listy do siostry Aldony…*, *цит. соч.* В письме, написанном годом позже, уже из X павильона Варшавской цитадели, он так опишет сестре охоту в Кайгородском: „Лесная чаща рвала мое тело; часами я бродил по пояс в грязи (…). Холод охватывал меня всего так, что зуб на зуб не попадал”.

[116] Отношения между женщинами и мужчинами завязывались в ссылке довольно часто и часто заканчивались трагически. Лев

Троцкий пишет в автобиографии: «Личные конфликты, особенно на романтической почве, приобретали иногда драматический характер. На этом фоне случались даже самоубийства. В Верхоленске мы по очереди присматривали за одним киевским студентом. Я заметил металлические стружки на его столе. Только потом выяснилось, что он вырезал из олова пули для охотничьего ружья. Но мы его не уберегли. Он направил ствол себе в сердце и пальцем ноги спустил курок. В молчании хоронили мы его на пригорке. В то время мы еще стыдились речей, считая их фальшью. Во всех крупных колониях для ссыльных были могилы самоубийц» (Lew Trocki, *Mojezycie. Proba autobiografii*, Bibljon, Warszawa 1930).).

[117] Я Вас люблю… Письма Ф. Дзержинского М. Николаевой, Кучково Поле, Москва 2007.

[118] Долгие годы Маргарита Николаева, знаток творчества Лермонтова, хранила эти письма в шкатулке. Она умерла в 1957 году в возрасте 84 лет, и только тогда они увидели белый свет. Письма попали в Государственный архив в Москве, и в 2007 году, в сто тридцатую годовщину со дня рождения Дзержинского, были опубликованы российской Федеральной службой безопасности под красивым названием *Я Вас люблю.* На интернет-странице ФСБ даже размещена фотография Маргариты и молоденького Феликса. Идея обнародовать эту любовную историю была выстрелом в десятку – человеческое лицо первого чекиста, борющегося с чувствами, произвело на российских читателей сильное впечатление.

[119] Я Вас люблю…, *цит. соч.*

[120] Лев Троцкий, *цит. соч.*

[121] Цитаты по: *Я Вас люблю…, цит. соч.*

[122] В середине февраля 1899 года Дзержинский получает вызов на врачебную комиссию. Он пишет: «Нет времени. Мне надо запастись книгами и продуктами. Хорошо, что меня не возьмут в армию, но врачи нашли что-то вроде туберкулеза. (…) Жизнь моя коротка и не надо, нельзя связывать ею других. (…) Мы будем жить, как одна душа, несмотря на то, что нам не дано даже увидеться. (…) На все, что в мире для нас самое дорогое, и на наше чувство, не беспокойтесь, милая». На следующий день он обращается к Маргарите на ты и добавляет: «Прости, милая, сил не хватает писать дальше». Откуда он такой? Перечисляет все обнаруженные врачами болезни, которые не умеют лечить на родине. Но уже 15 марта выясняется, что все это выдумки, как уверяет местный врач, чтобы его не забрали в солдаты как бунтовщика: «Как я рад, я снова бодр (…), физически здоров и ничто мне не грозит в ближайшем будущем» *(Я Вас люблю…,*

цит. соч.).

[123] Цитаты по: *Я Вас люблю…, цит. соч.*

[124] Zofia Dzierżyńska, *Lata wielkich bojow*, Książka i Wiedza, Warszawa 1969.

[125] Цитаты по: *Я Вас люблю…, цит. соч.*

VI. Речь идет обо всем мире. Организатор.

[126] Feliks Dzierżyński, *Listy do siostry Aldony poprzedzone wspomnieniami Aldony Kojałłowicz oraz Stanislawy i Ignacego Dzierżyńskich,* Książka i Wiedza, Warszawa 1951.

[127] *Towarzysz Józef. Wspomnienia o Feliksie Dzierżyńskim,* Książka i Wiedza, Warszawa 1977.

[128] После периода автономии Царства Польского на бывшей административной границе с Литвой осталась таможенная граница.

[129] Ян Росул родом из среды варшавских пекарей. Старейшина многочисленного семейства, для которого нелегальщина была хлебом насущным. Участник январского восстания, член I Пролетариата, потом Союза польских рабочих и СДКП; среди рабочей братии пользовался большим авторитетом. Его сын Антек, арестованный одновременно с Дзержинским, оказался с ним в одной камере в тюрьме в Седльцах. По причине своей болезни и заботы, которй окружил его Феликс, он прочно вошел в его легенду.

[130] Jerzy Ochmaiiski, *Feliks Dzierżyński,* Ossolineum, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdaiisk – Łódź 1987.

[131] Первый съезд вновь созданной СДКПиЛ состоялся в феврале 1900 года. На нем принято решение издавать в Цюрихе «Рабочее обозрение», в Берлине – «Социал-демократическое обозрение», а в Кракове – «Красное Знамя» («Czerwony Sztandar"). Благодаря этим изданиям СДКПиЛ быстро станет серьезным конкурентом ППС на ниве печати (в этом деле большое участие будет принимать Дзержинский, особенно в краковский период). Очередной съезд – заграничных групп в Лейпциге – подтвердил позицию партии в вопросе независимости Польши, а в ноябре 1902 года на страницах „Красного Знамени" партия заявила: „Мы хотим демократической формы правления с целью эффективного уничтожения капиталистического строя; поэтому мы называем себя не просто социалистами, а социал-демократами (*Чего хотят социал-демократы*, «Красное Знамя», № 1/1902).

[132] *Etiudy rewolucyjne*, rozmowa Renaty Gorczyńskiej, Czeslawa Miłosza i Jana Kotta z Waclawem Solskim, [w:] *Czeslaw Milosz. I*

książki mają swoj los, „Zeszyty Literackie", nr 1/2011.

[133] В январе 1901 года на страницах лондонского «Przedświt" (орган ППС) было напечатано письмо авторства Станислава Слонины, которое с перспективы II Речи Посполитой можно считать пророческим: "А если бы наконец, после большого кровопролития, пусть с согласия держав, возникла бы свободная Польша, она была бы, можно сказать со всей уверенностью, клерикально-капиталистической. И какая же от этого польза для социалистического строя? Да если бы ко всему прочему в такой Польше народу, учитывая его активную помощь, было бы обеспечено какое-никакое существование, то, вследствие набожности и консервативности нашего народа, такая Польша стала бы просто неприступной крепостью для социалистической идеи" (Jerzy Targalski, *Jak to wlasciwie bylo*,Z Pola Walki", nr 4/1973). И что? Не сбылось? Интуиция не подвела социал-демократов. Они правильно предвидели, что независимость встанет на пути их планов. Это не означает, что их планы мы должны считать правильными.

[134] Bożena Krzywobłocka, *Opowieść o Feliksie*, MAW, Warszawa 1979.

[135] По всей видимости, речь идет о Маргарите Николаевой

[136] Józef Dąbrowski (J. Grabiec), *„Czerwoni" sprzed cwiercwiecza [1925],* www.lewicowo.pl.

[137] Ludwik Krzywicki, *Wspomnienia,* Książka i Wiedza, Warszawa 1958. Через несколько дней после диспута в своем доме Кшивицкий вновь встретил Абрамовского. Тот спросил:,Дто это за чудак был у Вас?" И, не ожидая ответа, начал рассказывать: „Представьте себе, иду я по улице Варецкой и встречаю молодого ученика каменщика, возвращающегося с работы в компании нескольких других парней. Этот молодой был очень похож на Вашего юношу и он очень весело на меня посмотрел. Кшивицкий в *Wspomnieniach* снабжает это своим комментарием: „Не уполномочен, я ничего не сказал ни о подмастерье каменщика, ни о том, на что жил Дзержинский, зарабатывающий зачастую физическим трудом, чтобы быть ближе к рабочим".

[138] *Towarzysz Józef…, цит. соч.*

[139] Feliks Dzierżyński, *Listy do siostry Aldony…, цит. соч.*

VII. Я – христианин. Неизвестное письмо.

[140] Копия письма Феликса Дзержинского Альдоне и Гедымину Булгак из семейного архива, F 229/45-52, Отдел Истории партии ЦК ПОРП; оригинал в Новом Архиве.

[141] Краткий фрагмент письма с изъятием ссылок на учение Христа был опубликован в биографии Ежи Охмянского и в *Listach do siostry Aldony*…

[142] Копия письма Феликса Дзержинского Альдоне и Гедымину Булгак, *цит. соч.*

[143] Деяния апостолов. Гл. 2, 44–45, Biblia Tysiąclecia, Pallottinum, Poznab 2003.

[144] Игнатий Дашинский в *Разговоре о социализме (Pogadanka o socjalizmie)*, например, пишет: «И только учение Иисуса Христа и его апостолов стало говорить, что все люди равны, что перед Богом бедный Лазарь значит больше, чем богач. И поэтому иногда можно услышать, что первым апостолом социализма был Иисус Христос». Они считали своим также видение святого Иоанна – Апокалипсис, интерпретируя его как предсказание социальной революции. Конечно, такая ересь была для Церкви абсолютно неприемлема. Любые попытки соединить христианство с социализмом в лоне самой Церкви – а такие попытки предпринимались – немедленно пресекались. Это испытал на себе живший на рубеже XVIII и XIX веков аббат Робер де Ламеннэ, это случилось с движение французских священников-рабочих в сороковых и пятидесятых годах XX века, и это остается актуальной проблемой конфликта Ватикана с теологами освобождения. К сожалению, в момент возникновения рабочего класса и когда он пытался взять слово и выступить в общественной дискуссии, Церковь его недооценила.

[145] Копия письма Феликса Дзержинского Альдоне и Гедымину Булгак, *цит. соч.*

[146] Józef Życiński, *Gdzie się podziała nasza solidarność?*„Gazeta Wyborcza” z 28 lipca 2007. В принципе, Альдона и Феликс были очень похожи по своей природе: оба старались нести помощь другим, с тем, что его чувство справедливости извратила идеология, а большевистская Россия назначила его палачом. Сестра же в сталинские времена окажется между молотом пропаганды и наковальней своей, в значительной степени католической совести. Она поможет многим людям – а при этом ее брат Игнатий во время открытия памятника Дзержинскому в Варшаве от имени семьи провозгласит: „Да здравствует гениальный вождь Иосиф Сталин!” Альдона тоже станет повторять как мантру слоганы о „горящем пламени революции”. Ее часто будут приглашать на различные государственные торжества. В распоряжении автора этой книги находится фрагмент речи Альдоны, записанный родственниками на магнитофон в шестидесятых годах XX века. Во время пробы микрофона эта более чем девяностолетняя женщина произнесла

тираду о величии брата-революционера. Но чего можно требовать от семьи? Ведь в Уголовном кодексе записано право ближайших родственников отказываться от дачи показаний.

147 Копия письма Феликса Дзержинского Альдоне и Гедымину Булгак, *цит. соч.*

148 Fiodor Dostojewski, *Bracia Karamazow*, PIW, Warszawa 1978.

VIII. Тот, которого ловят и вяжут. Беглец.

149 Feliks Dzierżyński, *Listy do siostry Aldony poprzedzone wspomnieniami Aldony Kojałłowicz oraz Stanislawy i Ignacego Dzierżyńskich*, Książka i Wiedza, Warszawa 1951.

150 В Москве он сидел в Бутырской тюрьме, где его навестили младшие братья – в то время студенты. «Только раз удалось увидеть Владика и Игнатика, и не имею понятия, что у них слышно, так как неожиданно нам не дали больше свидания» – сообщал он Альдоне.

151 *Там же.*

152 *Towarzysz Józef. Wspomnienia o Feliksie Dzierżyńskim*, Książka i Wiedza, Warszawa 1977.

153 Хенрик Валецкий (настоящее имя Максимилиан Хорвиц) впоследствии стал коммунистом, в 1918 году был членом руководства КПП, затем членом Коминтерна. Арестован в Москве в 1937 году, расстрелян НКВД в рамках «польской операции». Его сын, полковник Станислав Бельский совершил самоубийство, когда в 1952 году, после кошмарных испытаний Великой чистки, было арестовано все руководство II Отдела Генерального Штаба Войска Польского.

154 Картофельно-овсяные оладьи, сибирский деликатес.

155 Feliks Dzierżyński, *Ucieczka*, [w:] *idem, Pisma wybrane*, Książka i Wiedza, Warszawa 1951.

156 *Towarzysz Józef…, цит. соч.*

IX. У него большевистское сердце. Профессиональный революционер.

157 Партия социалистов-революционеров (ПСР) была образована в 1901 году. Она восприняла постулаты народников и сосредоточилась на попытках преобразовать Россию в демократическую республику с доминирующей ролью крестьянства. В результате террора, который эсеры осуществляли при помощи своей боевой организации, в 1902–1904 годах от их

рук погибли министры внутренних дел: Дмитрий Сипягин и

Вячеслав Плеве, в феврале 1905 года – великий князь Сергей, дядя Николая II – и это было лишь прелюдией к целой увертюре покушений. “Царская Россия как государство, – пишет Людвик Базылёв (Ludwik Bazylow) в работе *Ostatnie lata Rosji carskiej* fPWN, Warszawa 2008), – может и не рушилась под влиянием этих покушений, но ее полицейско-чиновничий аппарат не мог сопротивляться этим потрясениям, особенно в 1906 году и особенно на местах (…). Были случаи, что даже губернаторы признавались в своем бессилии и пытались пережить страшный период в закрытых наглухо домах под охраной винтовок и револьверов своей полиции – но и это не помогало” На страницах „Социалиста-революционера (Париж 1910) эсеры заявили: „Как социалисты, как люди, мы содрогаемся от убийств, но столько в России больших и малых тиранов, вершащих ужасные дела, что террористические настроения должны и дальше рождаться с какой-то фатальной силой”

[158] Из всех четверых только Мархлевский умрет естественной смертью. Люксембург и Тышка будут убиты в Берлине в 1919 году, а Барский расстрелян в ходе «польской операции» в 1937.

[159] Ванда-Цезарина Войнаровская – польская социалистка, с 1883 года – в эмиграции, член первой российской марксистской организации «Освобождение труда». С 1900 года в рядах СДКПиЛ.

[160] Bożena Krzywobłocka, *Opowieść o Feliksie*, MAW, Warszawa 1979. Войнаровская на конференцию не попала, но с этого времени между ней и Дзержинским завязывается переписка.

[161] Эдвард Прухняк – польский коммунист, во время польско-большевистской войны вместе с Дзержинским войдет в состав Временного революционного комитета Польши в Белостоке; в 1937 году расстрелян в ходе «польской операции».

[162] *Towarzysz Józef. Wspomnienia o Feliksie Dzierżyńskim,* Książka i Wiedza, Warszawa 1977.

[163] Организаторами в партии называли деятелей-практиков. Теоретики, писавшие тексты, назывались литераторами.

К этой категории относились, прежде всего, Люксембург и Мархлевский в СДКПиЛ, Ленин и Мартов в РСДРП. Троцкий до 1917 года был, так сказать, отдельной категорией. Дзержинский – хоть сердце его и стремилось в сторону большевистского способа ведения политики – до октябрьской революции будет, тем не менее, стеной стоять за Розу и польскую социал-демократию.

[164] *Towarzysz Józef…, цит. соч.*

[165] Feliks Dzierżyński, *Listy do siostry Aldony poprzedzone wspomnieniami Aldony Kojattowicz oraz Stanislawy i Ignacego Dzierżyńskich*, Książka i Wiedza, Warszawa 1951.

[166] Так его описывает деятель ППС Винцент Ястржембский: «Краков произвел на меня угнетающее впечатление. И эта навязанная полякам торговля эмблемами орлов в Сукенницах (торговые ряды на рыночной площади Кракова. – *Прим, перев.),* и этот смрад австрийских казарм на Вавеле, считавшийся национальной проблемой, и эти толпы ксендзов, монахов и монашек, снующих повсюду (…), и эти жидовские пейсы последователей Иеговы, ухоженные с любовью и гордостью, достойной другого применения (…), и эти вояки Франца Иосифа, которые своим видом должны вызывать у врага скорее смех, чем страх» (Wincenty Jastrzębski, *Wspomnienia 1885–1919*, PWN, Warszawa 1966).

[167] Feliks Dzierżyński, *Listy do siostry Aldony…. цит. соч.*

[168] *Towarzysz Józef…*, *цит. соч.* Краков – это также база для деятельности ППС. Горячая полемика между ППС и социал-демократами обычно проходила в Спуйне (Spojnia [поль.] – Связь. – *Прим. перев.)* – организации академической молодежи. Также в кафе вокруг Рынка и на Плянтах (Плянты – городской парк в Кракове. – *Прим. перев.).* И так будет продолжаться до начала первой мировой войны: столица Малопольши станет гнездом социалистической нелегальщины. Здесь будет действовать Юзеф Пилсудский, сюда на долгое время будет приезжать Владимир Ленин, а за ними прибудут и преемники. По рассказам, когда в 1945 году генерал Иван Конев будет освобождать Краков, он получит личный приказ Сталина: «Спасти город любой ценой!». Диктатор был здесь дважды в конце 1912 года и, как говорят, был восхищен городом Крака.

[169] Walentyna Najdus, *SDKPiL a SDPRR 1893–1907*, Zaklad im. Ossolmskich, PAN, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdadsk 1973.

[170] *Там же.*

[171] После съезда российских социал-демократов, на котором произошел раздел партии на большевиков и меньшевиков, Люксембург объясняла на страницах «Социалистического вестника», что позиция СДКПиЛ ни в коей мере не связана с сепаратистскими устремлениями, а уж если принимать во внимание национальный вопрос, то важнее было бы обеспечить свободу культурного развития всем национальностям, входящим в состав государства. Летом 1904 года она уже открыто полемизирует с Лениным на страницах «Neue Zeit", решительно подвергая сомнению его желание регулировать все социальные процессы при помощи декретов, а также его стремление к централизации внутрипартийной жизни. В это время Люксембург открыто встает на сторону меньшевиков. Насущным был также вопрос согласия, а вернее несогласия с Бундом, который так же,

как и СДКПиЛ, не вошел на II съезде в состав РСДРП – из-за отклонения его требования о федеративной структуре партии. Польские социал-демократы тоже были не в ладах с бундовцами. Дзержинский обвинял их в том, что они руководствуются “только еврейской агитацией и организацией еврейских масс. Тем самым Бунд действует на руку антисемитам и всяким врагам революции, которые стараются все социал-демократическое движение представить не как классовое, а как еврейское”.

[172] Feliks Dzierżyński, *Listy do siostry Aldony…. цит. соч.*

[173] Брат Феликса Казимир жил в это время в Германии.

[174] Feliks Dzierżyński, *Listy do siostry Aldony…. цит. соч.*

[175] Михаил Гольдман, или Марк Либер, будет одним из руководителей Бунда в россии, он будет убит во время Великой чистки в 1937 году.

[176] Jerzy Ochmadski, *Feliks Dzierżyttski,* Ossolineum, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdadsk – Łódź 1987.

[177] Feliks Dzierżyński, *Listy do siostry Aldony…. цит. соч.*

[178] Копии писем из семейного архива, F 229/60-107, Отдел Истории партии ЦК ПОРП, оригинал в Новом Архиве.

[179] *Там же.*

X. Генеральная репетиция. Год 1905.

[180] В момент начала русско-японской войны Дзержинский находится еще в Кракове. Он намеревается устроить там выставку плакатов и карикатур, показывающих всю бессмысленность этого конфликта, но власти города, входящего в состав австрийской монархии, не дают на это разрешения. У Его Императорского Величества Франца Иосифа в это время хорошие отношения с Россией.

[181] 6 февраля 1904 года Япония разрывает дипломатические отношения с Россией. Через два дня она атакует главную российскую военно-морскую базу в Порт Артуре. Империю Романовых раздирают внутренние проблемы, но советники видят в возможном конфликте выход из сложившейся ситуации: опасность объединит народ в защиту своей страны. И Николай II объявляет Японии войну, уверенный, что до столкновения дело не дойдет, потому что если двинутся российские войска, от Японии мокрого места не останется. Но война окажется затяжной – на погибель России и ее престижа в мире. Она продлится до сентября 1905 года. А в январе того же года она вызовет взрыв революции.

[182] Состав Главного правления СДКПиЛ часто менялся,

неизменным оставался только костяк – берлинцы Люксембург, Тышка, Мархлевский и Барский.

[183] 25 января 1905 года выйдет специальное приложение к «Красному Знамени» – «С поля боя». Со временем оно станет самостоятельным печатным органом.

[184] Биограф Николая II "Эдвард Радзинский утверждает, что роковую роль здесь сыграла неразбериха: кто-то не успел кого-то предупредить. "Великие и страшные события всегда являются у нас результатом чьей-то глупости или лени" – резюмирует историк. (Эдвард Радзинский, *Николай II: жизнь и смерть*, WARGIUS, Москва 1997).

[185] Michal Heller, *Historia imperium rosyjskiego*, Książka i Wiedza, Warszawa 2002.

[186] Григорий (Георгий. – *Прим. перев.)* Гапон сделал свою карьеру, в значительной мере благодаря достоинствам, подобным тем, которые помогали Распутину – мужской красоте в облике святоши. Он, видимо, и вправду действовал по убеждению, веря в чистоту замыслов начальников, хотя эсер Борис Савинков утверждал нечто совсем противоположное: «… он любил жизнь в ее наиболее примитивных формах и был абсолютно лишен смелости», и эти черты в соединении с «настроями» привели его к предательству (Borys Sawinkow, *Wspomnienia terrorysty*, Warszawska Oficyna Wydawnicza „Gryf ", Warszawa 1991). После «кровавого воскресенья» агент Гапон убежал за границу, там вступил в ряды социал-демократов, после чего вернулся в Петербург. Вскоре он был разоблачен и ликвидирован эсером Рутенбергом из группы Азефа и несколькими рабочими – своими соратниками по январской демонстрации.

[187] Michal Heller, *цит. соч.*

[188] Сеть провокаций накрыла тогда все звенья конспиративных структур, в том числе и в Польше, поэтому социалистическая пресса прибегла к уловке и стала публиковать предупредительные объявления. Например, «Бем Казимир, из Жирардова, шпик и провокатор», «Конрад Бялостоцкий, ученик VII класса гимназии, жил на Хлодной, сейчас на Ал. Уяздовских, после выходи из Цитадели стал доносить. Провокатор" (оба объявления из "Рабочего"). Конечно, была масса и безосновательных обвинений. Их самой знаменитой польской жертвой стал Мартин Каспшак, а самым громким делом без однозначного обвинения – дело Станислава Бжозовского.

[189] Stanislaw Cat-Mackiewicz, *Europa in flagranti*, Universitas, Kraków 2012.

[190] Это доказал Петр Маслов в своей работе *Аграрный вопрос в России* (Петербург 1906). Он представит в ней выводы, сделанные

на основании официальных статистических данных: что в крестьянских руках земли в три раза больше, чем в руках помещиков, а также что относительно больше земли имеет российский крестьянин, по сравнению с крестьянином немецким или французским. Вся проблема в уровне развития сельского хозяйства, которое в России все еще основывалось на примитивном трехполье, давая небольшие урожаи. Это вело к тому, что крестьянин жил в бедности, а бедность рождала чувство, что у помещика есть все.

[191] Еврейские погромы после 1905 года стали нормой; самые трагические события происходили в Одессе и Белостоке. Конечно, опираясь на *Протоколы сионских мудрецов*, этому приписывалась соответствующая идеология. В свою очередь, на Кавказе произошла резня между армянами и азербайджанцами. «Они даже не знают, зачем убивают друг друга» – скажет тогдашний глава города Баку (Simon Sebag Montefiore, *Stalin. Młode lata despoty*, Świat Książki, Warszawa 2008).

[192] Лишь после диагностики этой «бациллы» могут стать более понятными странные на сегодняшний взгляд решения будущих вождей большевистского государства, такие как поощрение доносительства, распространение тезиса о том, что каждый гражданин должен быть чекистом и т. п.

[193] Он, правда, приехал в Петербург в ноябре, но после подавления декабрьских беспорядков вновь уехал за границу.

[194] Simon Sebag Montefiore, *цит. соч.*

[195] Włodzimierz Iljicz Lenin, *Zadania oddzialow rewolucyjnych*, [w:] *idem, Dziela wszystkie*, t. 11, Książka i Wiedza, Warszawa 1985.

[196] Уже в апреле 1904 года ППС создала Боевую организацию, у которой сначала были только палки, ножи и нюхательный табак, который бросали полицейским в лицо. Со временем палку заменил револьвер, а нож – винтовка, отобранная у солдат.

[197] Feliks Dzierżyński, *Listy do Komitetu Zagranicznego SDKPiL*, [w:] *idem, Pisma wybrane*, Książka i Wiedza, Warszawa 1951. Вее время, пока продолжалась революция 1905–1907 годов Дзержинский активно пишет берлинцам. Он пишет ночами, подводя скрупулезные итоги издательской работы или распределения ролей между конспираторами. К письмам он прилагает подробное описание событий, происходящих в городах, где он в данный момент находится.

[198] На протяжении 1905–1907 годов боевики ППС совершили 2 200 актов: нападения на банки, железнодорожные станции, почту, бомбовые покушения и отдельные акты насилия в отношении полицейских и шпиков, а также так называемых русификаторов. Самой известной была акция 15 августа 1906

года, названная «кровавой средой», когда в Варшаве, Лодзи и других населенных пунктах были одновременно совершены нападения на полицейских. Тогда погибло 80 человек. В последующие дни были совершены покушения на трех генерал-губернаторов. В ответ власти устраивают еврейский погром в Седльцах. У черной сотни полно работы. На польских территориях полиции и жандармерии охотно помогают национал-демократы. Созданные ими Национальный союз рабочих и Организация национальной самообороны во время забастовок встают с оружием в руках на защиту фабрикантов, охотятся на социалистов, даже устраивают террористические акты в их домах.

199 Frank Westerman, *Inzynierowie dusz*, Iskry, Warszawa 2007.

200 Feliks Dzierżyński, *Listy do Komitetu…*, *цит. соч.*

201 *Etiudy rewolucyjne*, rozmowa Renaty Gorczyriskiej, Czeslawa Miłosza i Jana Kotta z Waclawem Solskim, [w:] *Czeslaw Milosz. I ksiązki maja swoj los*, „Zeszyty Literackie", nr 1/2011.

202 Здзислав Ледер – это псевдоним Владислава Файнштейна, брата Сабины.

203 Bozena Krzywobtocka, *Opowieść o Feliksie*, MAW, Warszawa 1979.

204 *Towarzysz Józef. Wspomnienia o Feliksie Dzierżyńskim*, Książka i Wiedza, Warszawa 1977.

205 Wladyslaw Pobog-Malinowski, *Najnowsza historia polityczna Polski*, Warszawa 1990.

206 ППС на страницах «Рабочего» назвала первомайскую демонстрацию «возмутительным легкомыслием». Социал-демократы не остались в долгу и назвали действия боевиков ППС бездумной пародией восстания 1863 года.

207 *SDKPiL w rewolucji 1905 roku. Zbior publikacji,* red. T. Daniszewski, B. Krauze, H. Moscicki, Książka i Wiedza, Warszawa 1955.

208 Feliks Dzierżyński, *Listy do Komitetu…*, *цит. соч.*

209 Всего между 18 и 25 июня 1905 года по официальным данным погиб 151 человек. Редактируемое Феликсом «Красное Знамя» сообщило, что погибло 200 человек, раненых было 800 человек.

210 Jerzy Ochmadski, *Feliks Dzierżyński,* Ossolineum, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdansk – Łódź 1987.

211 Walentyna Najdus, *SDKPiL a SDPRR 1893–1907*, Zaklad im. Ossolinskich, PAN, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdansk 1973.

212 Bożena Krzywobłocka, *цит. соч.*

213 *Towarzysz Józef…, цит. соч.*

214 *Там же.*

215 Feliks Dzierżyński, *Listy do siostry Aldony poprzedzone wspo-*

mnieniami Aldony Kojałłowicz oraz Stanislawy i Ignacego Dzierżyńskich, Książka i Wiedza, Warszawa 1951.

216 Ludwik Bazylow, *Polityka wewngtrzna caratu i ruchy spoleczne w Rosji napoczqtku XX wieku*, Książka i Wiedza, Warszawa 1966.

217 Власть явно не понимает собственного манифеста, так как 1 ноября варшавские рабочие проводят на Банковой площади демонстрацию, по которой войска открывают огонь (девять убитых), повторение на Театральной площади (сорок убитых).

218 Feliks Dzierżyński, *Listy do siostry Aldony…*, *цит. соч.*

219 *Towarzysz Józef…*, *цит. соч.*

220 Józef Piłsudski, *Polityka walki czynnej*, „Trybuna", 1 listopada 1906.

221 Среди 146 делегатов съезда преобладали меньшевики. СДКПиЛ направила трех представителей: Дзержинского, Адольфа Барского и Якуба Ханецкого. Должна была прибыть и Роза Люксембург, но 4 марта ее арестовали.

222 Цитаты по: Walentyna Najdus, *цит. соч.*

223 На съезде Дзержинский познакомился со Сталиным, но особого восхищения не ощутил. Сосо выглядел и вел себя как классический кавказский атаман разбойников. Чтобы он не особенно бросался в глаза, ему велели купить костюм, шляпу и трубку.

224 На суде, который длился едва ли час, Зинаида Коноплянникова сказала: «Партия решила ответить на белый, но кровавый террор правительства красным террором». Она первая употребила выражение «красный террор». 29 августа она была повешена в Шлиссельбургской крепости.

225 Feliks Dzierżyński, *Listy do Komitetu…*, *цит. соч.*

226 Революция 1905 года способствовала усилению террора властей, названного «столыпинской реакцией», по фамилии премьера и министра внутренних дел царской империи Петра Столыпина, впрочем человека, обладающего высокими политическими качествами. Террор сильно потрепал партийные ряды, в том числе и верхушку СДКПиЛ. Арестованные выходят под залог, по амнистии или совершают побеги; многие вынуждены эмигрировать, главным образом в Берлин, Париж и Цюрих. Берлин играет роль генерального штаба партии. Вспомогательным и транзитным городом является Краков – тут действует главным образом Дзержинский. В Царстве Польском остаются только Якуб Ханецкий и Юзеф Уншлихт.

227 Zofia Dzierżyńska, *Lata wielkich bojow*, Książka i Wiedza, Warszawa 1969.

228 Такое поведение было для Дзержинского чем-то вполне естественным, так как пребывание за решеткой он считал частью

своей миссии. «Он ходил на кухню за обедом, таскал бадьи с водой» – пишет Красны. По воспоминаниям другого сокамерника, он даже был готов заменять заключенных на чистке клоак. Софья Мушкат добавляет, что «сразу по прибытии в тюрьму он установил контакты с женщинами, которые сидели в еще худших условиях», чтобы помогать им на тяжелых физических работах.

229 *Towarzysz Józef…, цит. соч.*

230 *Там же.*

XI. Я пил за романтизм. Расколы и лояльность.

231 Zofia Dzierżyńska, *Lata wielkich bojow*, Książka i Wiedza, Warszawa 1969.

232 Feliks Dzierżyński, *Pamiˆtnik wi$znia*, Książka i Wiedza, Warszawa 1951.

233 Wincenty Jastrzębski, *Wspomnienia 1885–1919*, PWN, Warszawa 1966.

234 Прочитав *Дневник* Дональд Рейфилд в книге *Сталин и его подручные* делает выводы по поводу будущего председателя ВЧК. Он считает его безумцем, лишенным чуткости, который не ходит ни на выставки, ни на концерты. «Умственная ограниченность в сочетании с самоуверенностью», – пишет он. (На концерты Феликс ходил, сам играл на фортепиано. Самоуверенность – это последнее, в чем его можно упрекнуть). Рейфилд так описывает личность автора *Дневника:* «Довольный собой, что перехитрил жандармов (…) восхвалял свою тонкую интуицию, когда смог разоблачить некую Ганку» (Donald Rayfield, *Stalin i jego oprawcy*, Amber, Warszawa 2007). Удивительные выводы! Дзержинскому можно поставить в упрек патетический тон, склонность к экзальтации и к преувеличению опасности, потому что он описывал свои переживания сразу, по горячим следам – но только не чувство самодовольства.

В свою очередь Ястржембский в своих *Воспоминаниях* проявил большой литературный талант, но он их писал спустя годы, на спокойной пенсии. Интересно, но он ни разу не упомянул в них Дзержинского. Хотя сидели они практически камера в камеру. К тому же Феликс через окно общался с сидящим выше Монтвиллом, ближайшим соратником Ястржембского. В то время он мог не быть известным среди социалистов, особенно лодзинских, но Ястржембский писал воспоминания в шестидесятых годах XX века, поэтому маловероятно, чтобы он не знал, кем был Феликс Дзержинский. Возможно, это вопрос неприязни, вызванной переживаниями в России после 1917 года.

После прихода большевиков к власти Ястржембский получил работу в секции металлургической промышленности Совета народного хозяйства Северного округа. Его способности были быстро оценены, он занялся хозяйственным планированием. Описывая проблемы, с которыми он каждый день сталкивался в своей работе, он употребил одно очень характерное предложение: «Вот, очередная задача для программирования, не для Че Ка – для программирования». Это многое объясняет.

235 Wincenty Jastrzębski, *цит. соч.*

236 Orlando Figes, *Tragedia narodu. Rewolucja rosyjska 1891–1924*, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2009.

237 *Towarzysz Józef. Wspomnienia o Feliksie Dzierżyńskim*, Książka i Wiedza, Warszawa 1977.

238 С Альдоной они увидятся только один раз, в 1914 году, во время короткого свидания в тюрьме.

239 Jan Sobczak, *Feliks Dzierżyński*, Iskry, Warszawa 1976.

240 Feliks Dzierżyński, *Listy do siostry Aldony poprzedzone wspomnieniami Aldony Kojałłowicz oraz Stanislawy i Ignacego Dzierżyńskich*, Książka i Wiedza, Warszawa 1951.

241 Берлинцы также считали, что оттуда они смогут поддерживать контакты с выдающимися деятелями международного рабочего движения и получат возможность получать печатные материалы, а также использовать материалы популярных авторов, прежде всего, в «Социал-демократическом обозрении». Переезд в Краков мог привести этот журнал к сужению кругозора и косности.

242 Jerzy Ochmadski, *Feliks Dzierzyttski,* Ossolineum, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdadsk – Łódź 1987.

243 Подобным образом дело с конфликтами обстояло и в рядах российской социал-демократии. Свои сомнения в отношении официальной позиции СДКПиЛ товарищ Юзеф будет высказывать тихо и в кулуарах: «мы слишком дипломатничаем с большевиками». Этот ярый противник меньшевиков-ликвидаторов (сторонников легализации политической деятельности) хотя и писал: «Думаю, что перед объединением следовало бы разбить меков [меньшевиков], и (…) из объединенной партии предварительно изгнать» – это в момент, когда берлинская верхушка высказывается за сохранение единства социал-демократических партий любой ценой – тем не менее поддерживает ее, не моргнув глазом. На парижских заседаниях РСДРП в июне 1911 года он обменивался по этому поводу мнениями с Лениным, царапая каракулями на листочке. Позже лидер большевиков назвал эту записку *«Договором Ленина с Юзефом».* В ней Феликс горячо соглашается с возможностью

изгнания ликвидаторов из РСДРП, задавая при этом вопрос: *«Но как?»*.

Радикальное отсечение меньшевистской линии в российской социал-демократии произошло лишь в январе 1912 года и вызвало настолько сильное изменение характера РСДРП, что автоматически исключало автономию польских партий. Такая сильная централизация партии оттолкнула польскую социал-демократию. Теперь ее принадлежность к РСДРП стала основываться исключительно на декларации о политическом согласии. Дзержинский, наиболее большевистски настроенный член Главного правления партии, высказался и за это (Walentyna Najdus, *SDKPiL a SDPRR 1908–1918*, Zaklad Narodowy im. Ossolinskich Wydawnictwo PAN, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdansk, Łódź 1980).

[244] Lew Trocki, *Moje zycie. Proba autobiografii*, Bibljon, Warszawa 1930.

XII. Счастье ты мое, жизнь ты моя. Михалина, Сабина, Софья.

[245] а. п., O *Dzierżyńskim (na tle wspomnień osobistych),* „Gazeta Warszawska Poranna", nr 209, 1 августа 1926.

[246] Речь идет о Владиславе Файнштейне – псевдоним Здзислав Ледер – который станет одним из основных деятелей СДКПиЛ и последние два года жизни Дзержинского будет его научным секретарем при Высшем совете народного хозяйства СССР. Потом он станет советским дипломатом, а в тридцатые годы XX века – одной из многих жертв «польской операции» в рамках великой чистки. Приговоренный к десяти годам лагерей, он даже не успеет добраться до места заключения, умерев от воспаления легких по пути за Полярным кругом зимой 1937–1938 годов.

[247] Stefan i Witold Lederowie, *Czerwona nit*, Iskry, Warszawa 2003.

[248] В свои любовные дела Дзержинский вовлекает и товарищей по партии. Он пишет: «Удивительно, но я не люблю, когда Куба [Якуб Ханецкий] проявляет ко мне свою нежность – но я так хочу, чтобы Владек [брат Сабины] положил мне руку на плечо или погладил. При этом хочу отметить, что с Владеком я никогда не говорил о своей личной жизни, а с Кубой – да. И даже часто» (в сохранившемся архиве Сабины Файнштейн находятся также личные заметки Дзержинского).

[249] Stefan i Witold Lederowie, *цит. соч.*

[250] Женой Якуба Ханецкого станет кузина австрийского

социал-демократа Виктора Адлера, Гиза.

[251] Цитата по: Stefan i Witold Lederowie, *цит. соч.*

[252] Jerzy Ochmanski, *Feliks Dzierżyński*, Ossolineum, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdansk – Łódź 1987.

[253] Stefan i Witold Lederowie, *цит. соч.*

[254] Zofia Dzierżyńska, *Lata wielkich bojow*, Książka i Wiedza, Warszawa 1969.

[255] *Там же.*

[256] Прогулки в Татрах были почти традицией среди социал-демократов. Виктор Адлер вспоминал, что Ленин гонял их по Татрам на венгерскую сторону под предлогом принести бутылку токайского. На самом деле надо было пройти довольно длинный путь.

[257] Stefan i Witold Lederowie, *цит. соч.*

[258] Партийный брак заключали деятели социалистической партии, которые были атеистами. Церемония была лишь формальностью: на партийном собрании влюбленные вставали и заявляли, что хотят быть вместе. Заявление приветствовалось аплодисментами и поздравлениями.

[259] Церковный брак Феликса и Софьи последовательно замалчивался: в Польше до семидесятых годов, в России эта тема не поднималась до сегодняшнего дня. Дело надо было как-то затушевать. 6 февраля 1945 года в костел св. Николая в Кракове пришел советский офицер. Он сказал приходскому священнику, что его прислал генерал Конев, чтобы забрать из канцелярии костела все документы, касающиеся бракосочетания товарище Дзержинских. Документы о крещении он получил, хуже обстояло дело с оригиналом свидетельства о браке, так как эта запись была сделана в *Liber Copulatorum*, то есть в приходской книге. Офицеру пришлось удовлетвориться выпиской на польском языке, переведенной потом на русский и вывезенной в Москву. Неоспоримое доказательство церемонии было, таким образом, сохранено. Информация на эту тему, подробное описание церемонии, составленное приходским священником, а также копии метрик и их переводов на русский язык хранятся в личной папке Софьи в Новом Архиве.

[260] Stefan i Witold Lederowie, *цит. соч.*

[261] *Там же.*

[262] Письма, хранящиеся в разделе № 1221 документов Феликса Дзержинского 1877–1926 [1951–1967], Новый Архив в Варшаве.

[263] В книге *В годы великих боев* Софья, однако, сообщает, что первое личное письмо от Феликса датировалось 6 апреля 1911 года. Возможно, что более ранних писем не было, и сообщение о

прощении Софьи – это лишь выдумка Феликса для Сабины. Но правда такова, что Софья замалчивает в своих воспоминаниях много фактов: она не говорит об их церковном браке, ни разу не упоминает о Сабине Файнштейн, ни слова о натянутых отношениях супругов.

[264] Stefan i Witold Lederowie, *цит. соч.*

[265] Zofia Dzierżyńska, *цит. соч.*

[266] Письма, хранящиеся в разделе № 1221, *цит. соч.*

[267] Zofia Dzierżyńska, *цит. соч.*

[268] Копия письма из семейного архива, F 230/9-10, отдел истории партии ЦК ПОРП, оригинал в Новом Архиве.

[269] Stefan i Witold Lederowie, *цит. соч.*

[270] В письмах из тюрьмы Феликс писал жене, что «Ясик не должен быть тепличным цветком, а должен иметь в себе всю диалектику чувств, чтобы в жизни быть способным к борьбе во имя правды, идеи, иметь в душе святость более широкую, более сильную, чем святость матери и всех любимых». Как же непристойно эти слова звучат в ушах тех, кто знает, что ни одна идея не стоит хоть бы одной детской слезы! И если история становится поперек жизни, то всеми силами надо защищать жизнь (беззащитного!) от истории. Что это значит? То, что революционеры не должны создавать семьи. Так мог бы сказать современный детский психолог. Но кто в то время, кроме Корчака, задумывался о психологии ребенка? Многие дети коммунистов испытали судьбу сирот, помещенных в дом ребенка, так как их родители были заняты политикой, потому что идеология была важнее семьи, так как могла той же семье обеспечить счастье – когда-нибудь, в будущем. Даже лет через сто – социал-демократы принимали во внимание и такую перспективу. Ян Дзержинский умер в 1960 году в возрасте 49 лет – слишком молодым. В этой ранней смерти трудно не усмотреть последствий тяжелых условий первых лет жизни, когда растущий организм должен быть окружен особой заботой.

[271] Stefan i Witold Lederowie, *цит. соч.* Сабина Файнштейн действительно заплатила за то решение всей своей жизнью. Она никогда не была связана ни с одним мужчиной. Письма Феликса она заботливо хранила. Во время гитлеровской оккупации она переписала их в нескольких экземплярах и спрятала в разных местах Варшавы. После войны она передала их своему племяннику Витольду Ледеру, сыну Владека, в запечатанном сургучом конверте с просьбой вскрыть его после ее смерти. Но в 1952 году конверт вскрыли люди из ГУВИ (Главное управление военной информации – орган военной контрразведки, военно-политическая полиция польской армии в 1945–1957 г.г. – *Прим.*

перев.), производившие обыск у арестованного Ледера–полковника II отдела Генерального штаба. Какое-то время ГУВИ распространяло слухи, что это любовные письма Ленина. Лишь после личного обращения Сабины к Болеславу Беруту ей вернули копии писем. Оригиналы были отосланы в Москву, фотокопии направили в архив ЦК ПОРП, как и письма Дзержинского Альдоне. Сабина прожила в одиночестве 89 лет. Она наказала похоронить себя с перстнем матери Феликса, который он подарил ей в 1908 году. Это был перстень с гравировкой даты бракосочетания родителей Феликса и словами “Храни, Боже”.

[272] Многие годы никто не знал о переписке любовников. Было совершенно недопустимо, чтобы в знаменитом образце аскетизма, о котором Маяковский писал:

> Юноше,
> обдумывающему
> житье,
> решающему —
> сделать бы жизнь с кого,
> скажу
> не задумываясь —
> «Делай ее
> с товарища
> Дзержинского»

обнаружились моральные изъяны (Włodzimierz Majakowski, *Dobrze/*, Sp. Wyd. Książka, Łódź 1945).

[273] Письма, хранящиеся в разделе № 1221 документов Феликса Дзержинского 1877–1926 [1951–1967], Новый Архив в Варшаве.

[274] Эпилог этой истории был грустным. Ваский, в 1918 году сооснователь Коммунистической партии Польши и член ее Центрального комитета, после конфликта в ЦК в конце двадцатых годов уехал в Москву, где работал в Институте Маркса – Энгельса – Ленина. По официальным данным это произошло в 1929 году. Но Софья пишет, что в момент смерти Феликса (20 июля 1926 года) он жил рядом, он же и вызвал врача к умирающему. Во всяком случае, на рубеже двадцатых и тридцатых годов он был ее соседом в Кремле. Александр Ват (кстати, породнившийся с Дзержинским, так как его сестра Чеслава приходилась теткой Яцеку Гилевичу, внуку Юстина Дзержинского) в известном произведении *Мой век* вспоминает о «ханже культа Сталина». Он приводит пример дочери Авеля Енукидзе, которая, как Павка Морозов, доносила на своего отца. «Впрочем, нечто подобное, –

пишет Ват, – было с Барским, о чем в Варшаве говорили, но во всеуслышание, конечно, не объявляли. По всей видимости, Сталин пощадил Барского. Уже пенсионер, старый человек, Сталину до него не было дела. Жил в Кремле, его награждали, воздавали почести. Но ходил обедать к своей старой подруге молодости, вдове Дзержинского. Дзержинская побежала к Сталину и сообщила, что Барский о нем говорил. И Барского забрали». (Только в пятидесятых годах его внук получил информацию, что его дед был «посажен на 10 лет без права переписки и с конфискацией всего имущества». В такой формулировке родственникам сообщалось о расстрелянных). Сегодня трудно определить, насколько это правда. Если Софья доносила, то сколько в этом было усердия, а сколько страха перед террором? Во всяком случае, все это происходило в 1937 году, в самый разгар сталинских чисток и «польской операции» – а ведь дома были сын и его беременная жена (в августе родился внук Феликс Янович).

Мнение Вата о том, что Сталин пощадил старого Барского, представляется ошибочным в свете документов, которые были рассекречены в девяностых годах XX века. Фамилия Барского значится в обширном обосновании приказа № 00485, подписанного 11 августа 1937 года начальником НКВД Николаем Ежовым и доказывающего агентурную деятельность польских коммунистов в интересах Польской войсковой организации Пилсудского. Барского обвинили в участии в провокационной деятельности польской разведки в рядах КПП (он был членом так называемой группы большинства Варского-Кошутской, которую Сталин считал «правым уклоном») и расстреляли 21 августа. Он принадлежал к старым кадрам польских социал-демократов из окружения Розы Люксембург. Все они должны были исчезнуть с лица земли из-за национальной принадлежности, потому что происходили из народа, который был наказан первым. Этого хотел Сталин – в рамках «польской операции». Поэтому сведения о доносительстве Софьи, которое могло бы привести к аресту Барского, могут быть просто сплетней. А предполагая, что она все-таки что-то сказала, следует помнить, что обвинения фабриковались на какой-то основе (всегда должно было быть идеологическое обоснование). Возможно, желая арестовать коммуниста-пенсионера, надо было найти предлог. Достаточно было вызвать Софью на допрос и прижать. То же самое можно бы сказать и о дочери Енукидзе… если бы у него была дочь. Но у Енукидзе не было своих детей. Он был только крестным отцом жены Сталина – Надежды, которой тогда не было в живых уже пять лет.

[275] Jerzy Ochmaiiski, *Feliks Dzierżyński,* Ossolineum, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdaiisk – Łódź 1987.

[276] Jan Sobczak, *Feliks* Дг/eriyns/c/, Iskry, Warszawa 1976.

[277] Тадеуш был дальним родственником Болеслава Венявы-Длугошевского, в будущем генерала дивизии и личного адъютанта Пилсудского, одной из самых колоритных фигур II Речи Посполитой. Феликс встретится также с Болеславом – через пять лет и в совершенно другой роли.

[278] Принимая во внимание тот факт, что предвоенная цензура не пропускала к публикации типичные ругательства, можно предположить, что употреблялись более вульгарные выражения.

[279] *Towarzysz Józef. Wspomnienia o Feliksie Dzierżyńskim,* Książka i Wiedza, Warszawa 1977.

[280] Zofia Dzierżyńska, *Lata wielkich bojow*, Ksia'ka i Wiedza, Warszawa 1969.

[281] Feliks Dzierżyński, *Listy do siostry Aldony poprzedzone wspomnieniami Aldony Kojałłowicz oraz Stanislawy i Ignacego Dzierżyńskich*, Książka i Wiedza, Warszawa 1951.

[282] Zofia Dzierżyńska, *цит. соч.*

[283] Feliks Dzierżyński, *Listy do siostry Aldony…, цит. соч.*

[284] Richard Pipes, *Rewolucja rosyjska,* Magnum, Warszawa 2012.

[285] *Na granicy epok. Wspomnienia o udziale Polakow w Rewolucji Pazdziernikowej i wojnie domowej w Rosji 1917–1921,* Książka i Wiedza, Warszawa 1967.

[286] *Там же.* В *Дневнике узника* содержится важная мысль: «Тюрьма добилась только того, что дело стало для меня чем-то ощутимым, реальным, но при этом она и забрала много, страшно много, и не только реальные условия жизни (…), но и саму способность пользоваться этими условиями». Это правда, у тех, кто отсидел долгие сроки, можно заметить пренебрежительное отношение к земным благам – они ходят небрежно одетые, им не нужно роскошное жилье, они часто склонны к дурным привычкам, они нелюдимы. Феликс ненавидел алкоголь, но прикуривал папиросу от папиросы, был также трудоголиком. Его кабинет на Лубянке был похож, скорее, на тюремную камеру. И поступки, которые, говоря словами Ричарда Пайпса, действительно можно было бы принять за «незарубцевавшиеся раны» в психике.

[287] Anne Applebaum, *Gulag*, Świat Książki, Warszawa 2005. Жена Максима Горького Екатерина Пешкова и Вера Фигнер возобновили деятельность Политического Красного Креста, который с шестидесятых годов XIX века нелегально помогал всем

политическим заключенным в России, невзирая на их взгляды. Теперь организация получила официальный статус, а Дзержинский дал ей право “навещать тюрьмы, разговаривать с заключенными, передавать им посылки, и даже ходатайствовать об освобождении больных”, и такую привилегию Крест имел почти до конца двадцатых годов. Как пишет Энн Аппельбаум, для Льва Разгона, брошенного в тюрьму в 1937 году, история о деятельности Креста казалась “неправдоподобной басней”.

288 Ленин, наверное, не до конца осознавал, какая сила кроется в таком языке. Его во всей полноте развили и использовали содержащуюся в нем силу лишь сталинизм и нацизм – особенно второй при осуществлении Холокоста.

289 Потом, находясь в эмиграции, Керенский с чистой совестью сможет выражать благородные взгляды на страницах эсеровских «Дней». Он заявлял, что его правительство «не искало поддержки в физической, но только моральной силе». Звучит красиво – но и наивно. Тогда еще никто не знал термин «бархатная революция».

290 У самых ярых исполнителей массового террора не было послетюремной травмы. Ягода имел всего два года ссылки, а два его преемника, Ежов и Берия, начали политическую деятельность лишь с 1917 года, то есть на порог Лубянки они вступали со справками об отсутствии судимости.

XIV. Революция во второй раз, и в третий. Rien ne va plus!

291 Richard Pipes, *Rosja bolszewików*, Magnum, Warszawa 2005.

292 Сражение, произошедшее 23–28 августа 1914 года на территории Восточной Пруссии, в результате которого немцы разбили 2. Армию русских и взяли в плен 92 тысячи человек. В нем погибло или пропало без вести 30 тысяч солдат русской армии.

293 Александр Керенский спустя годы делает вывод: «Без Распутина не было бы Ленина». Без неумелого правления Керенского его тоже не было бы. Среди разных факторов он отмечает и такой: до сих пор ни к одному царю не относились в народе с таким презрением, как к мужу-рогоносцу. «В это время в окопах уже из рук в руки передавались тысячи экземпляров низкопробного фотомонтажа, технически отлично выполненного и представляющего царицу и ее четырех дочерей в чрезвычайно непристойных сценах с Распутиным. Когда мистический ареол над помазанниками божиими развеялся в похабной [вульгарной] мгле борделя, в простецких душах произошла самая крупная

катастрофа» – так записал в воспоминаниях Кароль Вендзягольский. Опозоренное семейство Романовых стало бочкой с порохом, под которую уже любой мог подложить революционную искру (Karol Wędziagolski, *Pamiętniki. Wojna i rewolucja. Kontrrewolucja. Bolszewicki przewrót. Warszawski epilog*, Iskry, Warszawa 2007).

294 Wacław Solski, *Moje wspomnienia*, Instytut Literacki, Paryż 1977.

295 *Na granicy epok. Wspomnienia o udziale Polakow w Rewolucji Pazdziernikowej i wojnie domowej w Rosji 1917–1921*, Książka i Wiedza, Warszawa 1967.

296 Wacław Solski, *цит. соч.*

297 Zofia Dzierżyńska, *Lata wielkich bojow*, Ksia'ka i Wiedza, Warszawa 1969.

298 Wacław Solski, *цит. соч.*

299 Ленин доверительно говорил своим людям, что в обстановке угрозы революции нечего задумываться над буржуазными предрассудками, и если немецкие капиталисты настолько глупы, что хотят завезти социалистов в Россию, то они сами себе роют могилу.

300 Еще в Москве он вошел в состав московского комитета Российской Социал-Демократической Рабочей Партии (большевиков), потом стал членом Исполнительного комитета Московского Совета рабочих и солдатских депутатов, а также председателем Военной комиссии при Советах, созданной для агитации среди солдатских масс.

301 Советы рабочих и солдатских депутатов считались представительскими органами масс, хотя в действительности находились в руках большевиков под руководством Троцкого.

302 Walentyna Najdus, *SDKPiL a SDPRR 1893–1907*, Zaklad im. Ossolmskich, PAN, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdadsk 1973.

303 Выражение Кароля Вендзягольского, заимствованное из его воспоминаний (Karol Wędziagolski, *цит. соч.)*.

304 В 1764–1917 годах Институт благородных девиц, в котором учились дочери российских сановников. В октябре 1917 года он стал революционным штабом большевистских, меньшевистских и эсеровских руководителей.

305 Simon Sebag Montefiore, *Stalin. Młode lata despoty*, Świat Książki, Warszawa 2008.

[306] Włodzimierz I. Lenin, *Paristwo a rewolucja*, [w:] *Lenin – Dziela wybrane*, t. 2, Książka i Wiedza, Warszawa 1949.

[307] Ленин имел в виду отлично работающую швейцарскую почту, которой он пользовался многие годы.

[308] Włodzimierz I. Lenin, *Panstwo a rewolucja, цит. соч.*

[309] Захватив власть, Ленин уже имел готовую концепцию: превратить империалистическую войну в войну гражданскую. Только в таких условиях можно было ввести запланированную им военную экономику – и это произошло почти молниеносно: когда свергнутый премьер Александр Керенский и генерал Петр Краснов с его пятитысячной армией двинулись на столицу. Их попытка вернуть себе власть окончилась неудачей. Керенский был вынужден бежать за границу, а Краснов был арестован. Несмотря на это, гражданская война началась.

[310] Leonid Mleczin, *Ojcowie terroru. Dzierzytiski. Mienzyriski. Jagoda*, Wydawnictwo Adamski i Bielmski, Warszawa 2003.

[311] Jerzy Ochmahski, *Feliks Dzierżyński,* Ossolineum, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdahsk – Łódź 1987.

[312] *Там же.*

[313] John Reed, *Dziesigc dni$_y$ ktore wstrzasn$ly swiatem*, Książka i Wiedza, Warszawa 1956.

[314] Dmitrij Wolkogonow, *Lenin. Prorok raju, apostol piekla*, Amber, Warszawa 2006.

[315] John Reed, *цит. соч.*

[316] Речь о наиболее сознательных массах, так как неграмотные крестьяне не имели понятия, в чем состоит социализм. Но они слышали, что Ленин хочет дать им землю. Поэтому они посчитали его своим новым царем. Народу нужна была тесная связь с царем, как отцом нации.

[317] Кроме того, Ленин убеждал маловерных, что массовый террор – это коллективная ответственность, санкционирующая зло за счет прощения отдельных личностей. Что он является противоположностью доктрины Мефистофеля, то есть: я часть той силы, которая, желая добра, вынуждена творить зло.

[318] Włodzimierz I. Lenin, O *wrogach ludu*, [w:] *Lenin – Dziela wybrane*, t. 32, *цит. соч.*

[319] Существует несколько примеров, подтверждающих, что таким был первоначальный замысел. Генерал Краснов, министры Керенского, руководство Союза защиты Законодательного собрания, Комитета спасения родины – все они были выпущены

из тюрьмы после того, как дали честное слово, что не будут действовать против новой власти.

320 Borys Lewycki, *Terror i rewolucja*, LTW, Warszawa 2010.

321 Дворянское происхождение имели также: Ленин, Чичерин, Молотов, Жданов, Орджоникидзе, Тухачевский, Менжинский, Рокоссовский, барон Пиляр фон Пильхау и князь Андронников.

322 Andrzej Witkowicz, *Wokół terroru bialego i czerwonego 1917–1923*, Książka i Prasa, Warszawa 2008.

323 Roman Backer, *Totalitaryzm: geneza, istota, upadek*, Index Books, Torini 1992.

XVI. Мы представляем собой террор. Председатель ВЧК.

324 Borys Bazanow, *Bylem sekretarzem Stalina*, http://www.stalin.tv/bazanow/ramki.html.

325 Jerzy Ochmahski, *Feliks Dzierżyński,* Ossolineum, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdahsk – Łódź 1987.

326 *Там же.*

327 Им выделили помещения в здании бывшего начальника города на углу Гроховой и Адмиралтейского проспекта в Петрограде, дом № 2.

328 В руководство ВЧК Дзержинский охотно привлекал поляков (во главе с Юзефом Уншлихтом и Вячеславом Менжинским) и латышей (Якова Петерса и Мартина Лациса). Из латышей состояла хорошо подготовленная в боевых действиях группа под названием *«Латышские стрелки».* Наиболее беспощадными считали грузин, армян и азербайджанцев, а наиболее изобретательными в применении изощренных пыток – китайцев и корейцев. Мозгом самых тонких операций были евреи. Участие национальных меньшинств несло в себе сильный психологический фактор – оно защищало ведомство от обвинений в русском шовинизме. На практике высокопоставленные сотрудники ВЧК были подданными Великой Руси, лишенными своей государственности, тем яростнее они вводили на российской земле новые порядки – облеченные к тому же чрезвычайными полномочиями своего учреждения. Но среди чекистов низшего звена 77 процентов составляли русские.

329 Многие агенты Охранки охотно записывались в ВЧК и самоотверженно служили новой власти, например, бывший начальник тайной полиции и советник царя Владимир Джунковский, которого обучал еще Зубатов.

330 *Na granicy ерок. Wspomnienia o udziale Polakow w Rewolucji Pazdziernikowej i wojnie domowej w Rosji 1917–1921*, Książka i Wiedza,

Warszawa 1967.

331 *Там же.*

332 Leonid Mleczin, *Ojcowie terroru. Dzierżyński. Mienzydski. Jagoda*, Wydawnictwo Adamski i Bielmski, Warszawa 2003.

333 Andrzej Witkowicz, *Wokół terroru bialego i czerwonego 1917–1923*, Książka i Prasa, Warszawa 2008.

334 Borys Lewycki, *Terror i rewolucja*, LTW, Warszawa 2010. С самого начала в состав Чрезвычайной комиссии входили боевые отряды, состоящие из подразделения пехоты и велосипедистов. Летом 1918 года ей была подчинена часть войск специального назначения, а также сформирован корпус войск ВЧК, в результате к осени в каждой губернии имелась одно бригада войск ВЧК.

335 *Na granicy ерок…, цит. соч.*

336 Leonid Mleczin, *цит. соч.*

337 Bogdan Jaxa-Ronikier, *Dzierżyński. Czerwony Kat*, Oficyna Cracovia, Kraków 1990. Цитата из послесловия Андрея Айненкеля.

XVII. Советую вам немедленно меня расстрелять. Путч эсеров.

338 1 4 января 1918 года неизвестные преступники стреляют в сторону автомобиля Ленина и ранят сидящего рядом с ним швейцарского социал-демократа Фридриха Платтена. 18 января отряды латышских стрелков под командованием Владимира Бонч-Бруевича разоружают четыреста «штурмовиков смерти», готовящихся к штурму Смольного института. В конце января Совет народных комиссаров заявляет: «Мы ничего не добьемся, если не применим террор». В феврале после срыва мирных переговоров в Брест-Литовске, начинается немецкое наступление с запада. Этим пользуется также и Антанта, явно недружественная к большевикам. Франция и Великобритания помогают белым армиям атаками с востока.

339 Jerzy Łątka, *Krwawy apostol*, Spoleczny Instytut Historii, Kraków 1997.

340 Дзержинский ценил идеалистов, хоть и не соглашался с их идеями. Когда в 1921 году умер князь Кропоткин, Дзержинский под честное слово выпустил из тюрьмы группу анархистов, чтобы они могли участвовать в похоронах князя.

341 Orlando Figes, *Tragedia narodu. Rewolucja rosyjska 1891–1924*, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2009.

342 Большевики сначала пытались договориться с Рейхом по поводу мирного договора, но немцы выдвигали завышенные требования. Поэтому договор стал причиной споров в

большевистской верхушке. Дзержинский находится в группе тех, кто выступает за продолжение войны, исходя из предположения, что империя Вильгельма II рано или поздно истечет кровью и сама капитулирует. Во время заключительного голосования он, хоть и пассивно, тем не менее, подчинился мнению большинства, настаивающего на подписании договора: он и Троцкий воздержались. В марте 1918 года в Брест-Литовске подписывается мирный договор. Победителем из этого торга выходит Германия. У Ленина перед ней все еще есть обязательства, он рассчитывает на очередной перевод денег, без которых он мог бы потерять власть в России. “Это единственный случай в мировой истории, когда проигравший диктует свою волю победителю”, – комментирует это событие один из российских офицеров (Elisabeth Heresch, *Sprzedana rewolucja. Jak Niemcy finansowaly Lenina*, Bellona, Warszawa 2010).

[343] Jerzy Łątka, *цит. соч.*

[344] Марию Спиридонову посадили под домашний арест в Кремле, потом выпустили и вновь посадили. В конце концов она станет первым политическим заключенным, помещенным в психушку – психиатрическую больницу специального типа – больницу-тюрьму. Это произойдет в 1921 году по решению лично Дзержинского, который напишет начальнику секретного отдела ВЧК Самсонову: «Надо связаться с Обухом и Семашко с целью поместить Спиридонову в психиатрический дом, но при условии, что ее оттуда не выкрадут или она не сбежит. Надо организовать соответствующую охрану и наблюдение, но замаскированно». Ей поставили диагноз «истерический психоз» (Aleksandr Melenberg, Карательная психиатрия, http://2003.novayagazeta.ru/nomer/2003/60n/n60n-s24. shtml). Тем не менее правда, что Спиридонова действительно имела проблемы с психикой после того, как в 1906 году ее избила царская полиция.

[345] После начала мирных переговоров в Бресте Радек привозит Парвусу известие от Ленина: «Революция не терпит людей с грязными руками» (Elisabeth Heresch, *цит. соч.)*. Таким образом, большевистский лидер избавляется от опасного конкурента и человека, который лучше всех осведомлен о его тайных связях с Германией. Парвус хотел ехать в Россию. Теперь уже было не за чем – его могли арестовать как германского шпиона.

[346] Bengt Jangfeldt, *Majakowski. Stawkq bylo zycie*, W.A.B., Warszawa 2010. Яков Блюмкин, убийца Мирбаха, избежал смерти. Приговоренный к трем годам тюрьмы, через год он был переброшен на Украину и внедрен в ряды Красной Армии. Там он был под непосредственной опекой Троцкого, позже даже его

секретарем. Реабилитированный в 1919 году, он вернулся на работу в ВЧК.

347 Практически только находящиеся на Западе ближайшие родственники интересовались судьбой Романовых. Мир от них отвернулся. Видимо, большевики надеялись получить от Антанты солидный выкуп за царскую семью – деньги им были нужны немедленно. Когда выяснилось, что никто не даст ни гроша, надо было избавляться от балласта. Так поступают с заложниками. Тем более, что у ворот Екатеринбурга уже стояли белые войска (они вошли в город неделей позже).

348 Через много лет, в 1995 году, российская прокуратура возобновила следствие по делу о покушении на Ленина. Установлено, что стрелял мужчина, в которого Фанни была влюблена, и была выдвинута гипотеза, что это была провокация ВЧК, устроенная для того, чтобы получить предлог для развязывания красного террора. Трудно поверить, что Дзержинский отважился бы на попытку убийства Ленина (хотя здесь подозревается инициатива Свердлова), тем не менее, климат слежки, двойной агентуры, сопровождающий все действия российских специальных служб со времен революции 1905 года, действительно может склонить к самым замысловатым предположениям.

349 Leonid Mleczin, *Ojcowie terroru. Dzierżyński. Mienzydski. Jagoda*, Wydawnictwo Adamski i Bielmski, Warszawa 2003.

XVIII. И каждый день обиды множит. Террор.

350 Jorg Baberowski, *Czerwony terror*, PWN, Warszawa 2009.

351 Учитывая также военные действия и злоупотребления, можно говорить, что тогда погибло 10 тысяч человек. Более 60 тысяч было арестовано, 27 тысяч заключено в тюрьмы, почти 7 тысяч отправлено в концентрационные лагеря. Анализируя период 1918–1921 годов и число жертв красного террора, я использую работу Анджея Витковича *Wokół terroru bialego i czerwonego 1917–1923*, Książka i Prasa, Warszawa 2008. В свою очередь, польский историк основывает свои расчеты главным образом на данных из работы Олега Мозохина *ВЧК-ОГПУ Карающий меч диктатуры пролетариата*, Москва 2004, который тщательно перекопал российские архивы.

352 *Na granicy epok. Wspomnienia o udziale Polakow w Rewolucji Pazdziernikowej i wojnie domowej w Rosji 1917–1921*, Książka i Wiedza, Warszawa 1967.

353 Nadiezda Krupska, *Wspomnienia o Leninie, Ksiązka i Wiedza*,

Warszawa 1971.

[354] Баберовский ссылается на книгу Сергея Мельгунова *Красный террор*, которая поражает актами жестокости, не всегда подкрепленной конкретными доказательствами. Тем не менее, нельзя не признать факты зверств, чинимых чекистами и красноармейцами.

[355] Цитаты по: Andrzej Witkowicz, *цит. соч.*

[356] Stanislaw Lubiebski, *Pirat stepowy*, Czarne, Wolowiec 2012.

[357] Izaak Babel, *Utwory zebrane*, Muza, Warszawa 2012.

[358] Lew Trocki, *Moje zycie. Proba autobiografii*, Bibljon, Warszawa 1930.

[359] Andrzej Witkowicz, *цит. соч.*

[360] В январе 1919 года четыре представителя российской миссии Красного Креста были ограблены и убиты конвоирами. Виновные не понесли за это никакого наказания, наоборот, большая часть общества считала их даже героями. В такой обстановке, случалось, погибали польские коммунисты, иногда всего лишь из-за того, что «выглядит как большевик». На этом специализировались национал-демократические боевики, но при общенародном одобрении, в значительной мере основанном на антисемитизме. Во II Речи Посполитой и сотрудники “Двойки” применяли к коммунистам пытки во время допросов. Следует также помнить о бескомпромиссных “залпах в толпу”, которые полиция давала при разгоне рабочих и крестьянских демонстраций, что вело к многочисленным жертвам.

[361] Izaak Babel, *цит. соч.*

[362] В польской литературе есть только у Эугениуша Малачевского *Конь на холме (Koп па wzgorzu)*, с которого метафорически содрали шкуру, и две реалистичные повести Станислава Рембека *Наган* (*Nagan*) и *В поле (Wpolu)*. Рембек очень сдержанно дозировал ужасы войны, но все равно цензура II Речи Посполитой наложила запрет на его публикации на несколько лет.

[363] Kazimierz Switalski, *Diariusz 1919–1935*, Czytelnik, Warszawa 1992.

[364] Andrzej Witkowicz, *цит. соч.*

Там же.

[366] *W poszukiwaniu „polskiego Katynia”,* rozmowa z prof. Zbigniewem Karpusem, Agencja Medialna, http://amaf.pl/?p=581.

[367] Andrzej Witkowicz, *цит. соч.*

[368] Данные из Финляндии и Венгрии включают убитых и умерших в тюрьмах (за: Andrzej Witkowicz, *цит. соч.)*.

[369] Romain Rolland, *Dziennik z lat wojny 1914–1919*, Wydawnictwo MON, Warszawa 1965.

[370] Bertrand Russell, *Szkice sceptyczne*, Książka i Wiedza, Warszawa 1957.

[371] Aleksander Blok, *Scytowie*, [w:] Mieczyslaw Jastrun, Seweryn Poliak, *Dwa wiekipoezji rosyjskiej*, Czytelnik, Warszawa 1954.

XIX. Добрый палач. Представитель власти.

[372] Leonid Mleczin, *Ojcowie terroru. Dzierżyński. Mienzyriski. Jagoda*, Wydawnictwo Adamski i Bielinski, Warszawa 2003. Когда председатель азербайджанской ЧК прислал Дзержинскому для поправки здоровья несколько бутылок вина и три баночки икры, тот отдал ее больным в госпиталь ЧК, а дарителя поблагодарил с соответствующим комментарием: „Но, как товарищу, я должен обратить Ваше внимание, что не подобает Вам, председателю ЧК и коммунисту, посылать такие подарки ни мне, ни кому-либо другому" (Jerzy Ochmanski, *Feliks Dzierżyński,* Ossolineum, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdansk – Łódź 1987).

[373] Zofia Dzierżyńska, *Lata wielkich bojow*, Ksia"ka i Wiedza, Warszawa 1969.

[374] Jadwiga Sosnkowska, Włodzimierz T. Kowalski, *W krggu mitow i rzeczywistosci,* Interpress, Warszawa 1988.

[375] Dawid Jakubowski, *Feliks Dzierżyński i czerwony terror – znane mity i nieznana rzeczywistosc*, www.lewica.pl/blog/jakubowski.

[376] *Za wschodniq granicq 1917–1993. O Polakach i Kosciele w dawnym ZSRR z Romanem Dzwonkowskim SAC rozmawia Jan Palyga* SAC, Wspolnota Polska/Apostolicum, Warszawa 1993.

[377] Anatolij Latyszew, *„Zelazny Feliks" (glosy do portretu kata Rosji),* „Arcana" nr 5 (35), 2000.

[378] Наиболее спорный из опубликованных Анатолием Латышевым документов датирован 1 апреля 1921 года. Это распоряжение, разосланное Дзержинским и его заместителем Вячеславом Менжинским начальникам местных отделов ЧК. В нем говорится: «В связи с тем, что по договору с Польшей мы должны закончить все дело поляков, зарегистрированных до ратификации договора, то есть до пятнадцатого апреля, необходимо: Во-первых. Ликвидировать поляков, российских и украинских подданных, до пятнадцатого апреля [1921]. Во-вторых. Поляков, польских граждан, по мере возможности арестовывать после пятнадцатого апреля, выяснять их преступную деятельность после этого срока. В-третьих. Проверить, всем ли военнопленным, офицерам-полякам, предъявлено обвинение в тех преступлениях, которые большинство из них совершило, как, например, спекуляция, нарушение наших правовых положений и

т. д. В-четвертых. Поляками, российскими и украинскими гражданами, считать лиц, родившихся на территориях РСФСР и УССР в их нынешних границах, а также лиц, проживавших на этих территориях до первого августа 1914 года». Латышев снабжает этот текст комментарием: «Всех поляков – российских и украинских граждан, виновных даже в незначительном правонарушении, он [Дзержинский] ликвидировал до 15 апреля 1921 г., то есть до дня ратификации советско-польского мирного договора, а затем поляков – польских граждан приказал ликвидировать после ратификации, когда документ о неприменении расстрелов уже на них не распространялся». Действительно, документ звучит мрачно и, на первый взгляд, указывает на желание физически уничтожить польское население.

О чем шла речь в распоряжении? В соответствии с Рижским договором обе стороны, польская и российская, обязались на взаимной основе репатриировать военнопленных, репатриантов и интернированных лиц. Российская сторона всячески затрудняла выполнение этих договоренностей. До мая 1921 года из Польши было передано 24 тысячи пленных, а в другую сторону только 12,5 тысяч. Поэтому поляки приостановили отправку очередных репатриационных транспортов в Россию, вынуждая тем самым большевиков к возобновлению сотрудничества. Вопрос с пленными был решен до октября. Репатриация же поляков – гражданских лиц тянулась еще более трех лет. Большевики опасались агентурной угрозы, Они были уверены, что источником угрозы являются, прежде всего, репатриационные центры. Они также осознавали, что акция по репатриации в таких широких масштабах позволит выехать гражданам непольского происхождения, главным образом украинцам и белорусам. Именно об этом шла речь в распоряжении, разосланном председателям ЧК, ответственным за территории с большим скоплением польского населения. «Ликвидация поляков, российских и украинских подданных» действительно могла означать желание расстрелять поляков, находящихся в тюрьмах ЧК. Только было ли оно исполнено? Если бы в период 115 апреля 1921 года была устроена резня поляков в советских тюрьмах, это наверняка не ускользнуло бы от внимания историков, тем более, что многие поляки вернулись из России и ни о чем таком не свидетельствуют. Действия Дзержинского в этом деле достойны осуждения. Но делать из него убийцу, который истреблял поляков за 20 лет до Катыни, как утверждает Латышев – это уж, право, чересчур, а утверждения, что он был убийцей уже в дореволюционное время – и такие имеются в тексте – вызывают сомнения в пригодности Латышева как историка.

[379] За Анатолием Латышевым: Российский центр хранения и изучения документов новейшей истории, комплект 76, инвентарный 4.

[380] *Anatolij Latyszew; цит. соч.*

[381] Сын Лаврентия Берии Серго пишет в воспоминаниях, что отец очень не любил Феликса. Почему? Потому что он слышал от Сталина, что это садист испытывающий удовольствие от применяемых на допросах пыток. А правда такова, что Берия был с Дзержинским не в ладах. В ряды кавказской ЧК он вступил в 1921 году. Быстро вырос и стал начальником азербайджанского отделения. Он злоупотреблял властью настолько явно, что Дзержинский приказал его арестовать. Спасло Берию заступничество Сталина и Орджоникидзе. Он сам отличался садистскими наклонностями. Один из подчиненных характеризовал его как человека, который, не моргнув глазом, мог убить лучшего друга, если бы тот сказал о нем что-нибудь плохое. Если бы не эти специфические черты личности, Сталин не назначил бы его начальником НКВД в горячем 1938 году. В момент агонии генералиссимуса «он дал волю своей ненависти к Сталину, но когда пациент открыл глаза, он пришел в ужас, пал на колени и поцеловал ему руку, как визирь у ложа султана» – так описывали свидетели эту сцену (Simon Sebag Montefiore, *Stalin. Dwor czerwonego earn,* Magnum, Warszawa 2009). Можно ли верить такому человеку в его суждениях о Дзержинском?

[382] Leonid Mleczin, *цит. соч.*

[383] Witalij Szentalinski, *Wskrzeszone slow o. Z „archiwow literackich" KGB,* Czytelnik, Warszawa 1996.

[384] Andrzej Witkowicz, *Wokół terroru bialego i czerwonego 1917–1923*, Książka i Prasa, Warszawa 2008.

[385] Roj Miedwiediew, *Pod osqd historii*, Bellona, Warszawa 1990.

[386] *Там же.*

[387] Большевистский идеолог Николай Бухарин перед арестом в 1938 году продиктовал жене письмо-завещание, в котором протестовал против сталинского террора: «Ухожу из жизни, опустив голову перед пролетарской секирой, которая должна быть беспощадной и целеустремленной. (…) Нет Дзержинского, постепенно ушли в прошлое замечательные традиции ЧК…». Орландо Файджес в книге *Шепчущие* приводит содержание разговора, который состоялся во времена необузданной коррупции и карьеризма в службах безопасности: «Если бы Феликс Эдмундович сегодня был жив, он приказал

бы нас расстрелять за то, как мы работаем». Это были слова сотрудника НКВД Михаила Шрейдера, сказанные Станиславу Реденсу, поляку, секретарю Дзержинского и зятю жены Сталина

(Orlando Figes, *Szepty. Zycie w stalinowskiej Rosji,* Magnum, Warszawa 2007).

388 Dawid Jakubowski, *Artur Artuzow (Frauczi) (1891-1937j,* http://lewica.pl/blog/jakubowski/ 19991.

389 *Na granicy epok. Wspomnienia o udziale Polakow w Rewolucji Pazdziernikowej i wojnie domowej w Rosji 1917–1921*, Książka i Wiedza, Warszawa 1967.

390 Цитаты no: Witalij Szentalinski, *Tajemnice Lubianki. Z,archiwow literackich" KGB, czesc II,* Czytelnik, Warszawa 1997.

391 Hannah Arendt, *Eichmann w Jerozolimie*, Znak, Kraków 1987.

392 *Na granicy epok…, цит. соч.*

393 Jorg Baberowski, *Czerwony terror,* PWN, Warszawa 2009.

394 Jerzy Ochmahski, *цит. соч.*

395 Feliks Dzierżyński, *Listy do siostry Aldony poprzedzone wspomnieniami Aldony Kojałłowicz oraz Stanislawy i Ignacego Dzierżyńskich,* Książka i Wiedza, Warszawa 1951.

XX. А Ясик смеялся до упаду. Муж и отец.

396 *Towarzysz Józef. Wspomnienia o Feliksie Dzierżyńskim,* Książka i Wiedza, Warszawa 1977.

397 Цитата no: Zofia Dzierzyhska, *Lata wielkich bojow,* Książka i Wiedza, Warszawa 1969.

398 Leonid Mleczin, *Ojcowie terroru. Dzierżyński. Mienzynski. Jagoda,* Wydawnictwo Adamski i Bielihski, Warszawa 2003.

399 Zofia Dzierzyhska, *цит. соч.* Софья и Ясик вышли с ним, так как хотели осмотреть окрестности. Через Троицкие ворота и Александровский сад они попали на Красную площадь, а оттуда на площадь Революции, где как раз проходили обучение отрядов Красной Армии. Здесь они попрощались. Феликс пошел на Лубянку, а они хотели еще погулять. «Из-за отсутствия товаров почти все магазины были закрыты, витрины заколочены досками, – пишет Софья в книге *В годы великих боев.* – Через стекло между досками было видно, как там бегают крысы. На улицах вдоль домов тянулись обледеневшие сугробы. Даже в Кремле снежные завалы были такими высокими, что закрывали весь первый этаж (…). Движения транспорта почти совсем не было, только редко проезжали переполненные трамваи». Везде царили голод и нищета – на карточки выдавали всего по сто граммов ржаного хлеба, иногда с примесью измельченной соломы. «В государственных учреждениях для сотрудников были организованы столовые, но обеды были очень скудные. О мясе не могло быть и речи. В кремлевской столовой, которая снабжалась

сравнительно хорошо, на обед давали преимущественно пшенную кашу. В комиссариате просвещения [куда Софья устроится на работу] кормили в основном кислыми щами с сушеной уклейкой».

400 *Towarzysz Józef…, цит. соч.*

401 Как-то у Ясика была сильная мигрень, продолжавшаяся несколько дней. Врач посоветовал давать ему чай с ложечкой коньяку. Но он сопротивлялся, утверждая, что как пионер, он не может пить алкоголь. Феликс его похвалил: «Выполняй, Яська, точно пионерские правила, а боль пройдет и без коньяка». А жене сказал: «Ребенок не должен приучаться к компромиссу со своей совестью» (Zofia Dzierżyńska, *цит. соч.)*.

402 *Towarzysz Józef…, цит. соч.*

403 *Там же.*

404 Предполагаемый сын Якова, Евгений Джугащвили, через суд получил подтверждение своего происхождения. Настоящие внуки Сталина со значительно большей натяжкой подходят к легенде деда.

405 Simon Sebag Montefiore, *Stalin. Dwor czerwonego earn,* Magnum, Warszawa 2009.

406 Martha Schad, *Corka Stalina*, Świat Książki, Warszawa 2006.

XXL Сон о красной Варшаве. Предатель родины.

407 Коминтерн – сокращенное название III Коммунистического Интернационала, созданного в марте 1919 года в Москве.

408 Ленин – в отличие от Розы Люксембург и польских социал-демократов – многие годы последовательно выдвигал лозунг федерации независимых народов, то есть права наций на самоопределение, которое они должны получить после революции – с тем, что роза Люксембург до конца жизни не изменила своих взглядов, а Ленин приспосабливал свои к потребностям момента. В мае 1917 года он уверял, что «не случится ничего плохого, если Финляндия, Польша или Украина отделятся от России», а каждый, кто считает это злом, является шовинистом. Еще в ноябре, через неделю после захвата власти, он провозгласил *Декларацию прав народов России.* Но уже через год выше дела народов он поставил дело социализма – причем в данном контексте слово «дело» приобрело коммерческое значение. Что же произошло? Его взгляды и идеи изменила прозаическая экономическая действительность: экономика России двести лет строилась на торговле, кооперативных связях и

источниках сырья, находившихся на территории царской империи. Большевики поняли, что отказ от какой-либо из этих частей будет означать изъятие элемента из последовательной системы, которая немедленно перестанет действовать. Ленин уже не мог себе позволить беззаботно раздавать независимость – поэтому без дальнейших дилемм идеологической природы он сделал ставку на имперскую необходимость, то есть на «максимальную концентрацию максимальной власти на максимально большой территории». Конечно, он старательно подбирал слова, чтобы новое никогда не перекликалось со старым. Теперь новый лозунг звучал так: «Международная республика Европы с советской властью на Украине, в Польше, Литве, Латвии, Эстонии и Финляндии» (Andrzej Nowak, *Polska i trzy Rosje. Studium polityki wschodniej Jozefa Pilsudskiego (do kwietnia 1920 roku*), Arcana, Kraków 2008).

409 Незадолго до начала непосредственного конфликта между Польшей и Советской Россией между странами прошла мощная волна реэмиграции. Восстановление государственности Польши в ноябре 1918 года привело к тому, что многие поляки, проживавшие на территории России, приняли решение о репатриации, что нашло свое отражение в литературе в образе Цезаря Барыки из романа Стефана Жеромского *Канун весны («Przedwiosnie*"). Таким образом, к концу 1919 года на родину вернулось более половины польского меньшинства, проживавшего в России. Люди убегали из голодающей и истекающей кровью державы, уже увидев воочию конфронтацию коммунистической идеи с реальной действительностью. Ну, и наконец, им было куда бежать – на родину, которая восстановила свою государственность. В Стране Советов остались три группы поляков. Первая – так называемые „кресовяки", не одно поколение населявшие правобережную Украину и Белоруссию; им было некуда переезжать, да они и не хотели. Вторая – представители трудовой эмиграции XIX и начала XX века; сюда же входили небольшие группы бывших царских солдат и ссыльных. И третья – последовательные коммунисты, то есть члены СДКПиЛ и левого крыла ППС. Именно из этих групп набралось около ста тысяч поляков, в том числе около двадцати четырех тысяч польских коммунистов, которые воевали в рядах Красной Армии во время гражданской войны. Около четырехсот поляков были в то время комиссарами. Также в советских правительствах Белоруссии и Литвы более половины комиссаров были поляками. А в ВЧК? В ней было, правда, только 1,8 процентов поляков, но все они составляли руководящую элиту.

410 Artur Leinwand, *Polska Partia Socjalistyczna wobec wojny*

polsko-radzieckiej 1919–1920, PWN, Warszawa 1964.

411 *Lenin – Dziela wybrane*, Książka i Wiedza, Warszawa 1949.

412 Нестор Махно сидел в московской Бутырке в те же предреволюционные годы, что и Дзержинский. Теперь он становится личным врагом бывшего узника-каторжника.

413 Norman Davies, *Orzel bialy, czerwona gwiazda*, Znak, Kraków 2006.

414 Первоначальный замысел создания Революционного комитета выглядел иначе, но: «Из-за разгрома вследствие репрессий партийного руководства ПКРП – здесь могли действовать только польские коммунистические руководители, находившиеся в то время в эмиграции в Советской России» (Feliks Tych, Horst Schumacher, *Julian Marchlewski*, Ksiaxka i Wiedza, Warszawa 1966).

415 Zofia Dzierzyhska, *Lata wielkich bojow*, Książka i Wiedza, Warszawa 1969.

416 Несмотря на объявление *Манифеста*, вопрос о земле продолжал оставаться предметом обсуждения. Дзержинский – единственный в Польревкоме – выступал за раздачу земли крестьянам, а Ленин из далекой Москвы этого даже требовал (до момента, пока Польша не будет окончательно коммунизирована). Остальные члены Комитета пытались убедить Феликса, что национализация лучше, и тогда Ленин направил в Белосток Кароля Радека, чтобы тот убедил коллег отказаться от их решения. Это не помогло. 15 августа Дзержинский телеграфировал Ленину, что решение «земельного вопроса» откладывается до момента взятия Варшавы. Тем временем у Пилсудского родилась идея получше. Он создал новое правительство во главе с Винцентым Витосом, представителем крестьянства, и вице-премьером Игнатием Дашинским, социалистом, после чего было объявлено о проведении земельной реформы, которая обещала наделить землей прежде всего безземельных и малоземельных крестьян. В борьбе за душу мужика Начальник Государства оказался более быстрым и гибким.

417 Dawid Jakubowski, *Julian Marchlewski – bohater czy zdrajca*? Książka i Prasa, Warszawa 2007.

418 Ксендз Виктор Мечковский описал этот разговор в очерке *Wyszkowska ziemia warszawska*, [w:] N*a probostwie w Wyszkowie. 85 latpozniej*, praca zbiorowa, Rytm, Warszawa 2006.

419 Zofia Dzierżyńska, *цит. соч.*

420 *Towarzysz Józef. Wspomnienia o Feliksie Dzierżyńskim*, Książka i Wiedza, Warszawa 1977.

421 На суде в Вышкове присутствовал в качестве журналиста

Стефан Жеромский. В эссе-репортаже, который он позже напишет, он признает, что произнесение в его присутствии имени и фамилии председателя ЧК вызвало у него «омерзительное чувство удушья и тошноты». Несмотря на глубокую неприязнь к членам белостокского Революционного комитета, Жеромский, однако, далек от эйфории победителя. Он очень критичен к соотечественникам. Он пишет: «Надо признать открыто, что леность духа Польши, чудом воскресшей из мертвых, навлекла на этого духа большевистскую плеть. Польша жила в лености духа, опутанная мошенничеством, спекуляцией, взяточничеством, стремлением к обогащению за счет других, бесплодным бюрократизмом, стремлением к карьере и безответственной власти». Действительно, молодая демократия сильно хромала. Жеромский призывает: «О, поляки! Сложите ваши руки для молитвы». Это настоящее чудо, что все эти безземельные и бездомные, которые в коммунизме могли бы увидеть рай, тем не менее выбрали Польшу (Stefan Zeromski, N*а probostwie w Wyszkowie*, [w:] *Na probostwie w Wyszkowie…*, *цит. соч.)*.

422 Zofia Dzierżyńska, *цит. соч.*

XXII. Почему я? Инструмент в руках вождя.

423 *Lenin – Dziela wybrane*, Książka i Wiedza, Warszawa 1949.

424 Чтобы этот принцип получил чиновничье подкрепление, будет создан Главный комитет по вопросам всеобщей трудовой повинности, или Главкомтруд. Дзержинский занимается всем – в феврале 1920 года он будет назначен его председателем.

425 Zinaida Gippius, *Dzienniki petersburskie (1914–1919). Dziennik warszawski (1920–1921*), Czytelnik, Warszawa 2010.

426 *Towarzysz Józef. Wspomnienia o Feliksie Dzierżyńskim*, Książka i Wiedza, Warszawa 1977.

427 Dmitrij Wolkogonow, *Lenin. Prorok raju, apostol piekla*, Amber, Warszawa 2006. Возмутится также Леонид Красин, по образованию инженер, по призванию пропагандист связей с Западом. Находясь на должности народного комиссара внешней торговли, в 1921 году он напишет Ленину: „До тех пор, пока некомпетентные и просто невежественные в вопросах промышленного производства, техники и т. д. следственные органы и офицеры будут гноить в тюрьмах техников и инженеров, обвиняя их в каких-то нелепых, выдуманных недоучками-следователями преступлениях – технический саботаж «или» экономический шпионаж«– иностранный капитал не предпримет в России ни одной крупной инвестиции” (Leonid Mleczin, *Ojcowie*

terroru. Dzierżyński. Mienzynski. Jagoda, Wydawnictwo Adamski i Bielmski, Warszawa 2003).

[428] Probowaly temu przeciwdzialac specjalnie utworzone oddzialy zaporowe (*zagraditielnyje otriady*); przekupywane przez zatrzymanych, podnosily statystyke korupcji.

[429] Richard Pipes, *Rosja bolszewików*, Magnum, Warszawa 2005.

[430] *Там же.*

[431] Michał Komar, *Zmgczenie*, Libella, Paryż 1986.

[432] Zofia Dzierżyńska, *Lata wielkich bojow*, Książka i Wiedza, Warszawa 1969.

[433] Dmitrij Wolkogonow, *цит. соч.*

[434] Яков Блюмкин еще в октябре 1924 года организовал секретную лабораторию ГПУ, которая занималась исследованием возможностей мозга человека. Кроме того, Дзержинский шефствовал над спортивным клубом Динамо и Обществом друзей советской кинематографии, а сразу после возвращения из сентябрьского отпуска, 15 октября 1920 года становится председателем комиссии по разработке методов охраны границ, а через пять дней – председателем Московского комитета обороны.

[435] *Towarzysz Józef…*, *цит. соч.*

[436] Jerzy Ochmafiski, *Feliks Dzierżyński,* Ossolineum, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdafisk – Łódź 1987.

[437] *Towarzysz Józef…*, *цит. соч.*

[438] Zofia Dzierżyńska, *цит. соч.*

[439] *Towarzysz Józef…*, *цит. соч.*

[440] Учитывая то, что дед Феликса был профессором петербургского Института железнодорожного транспорта, а дяди – инженерами-транспортниками, можно допустить, что способности в этой области он унаследовал от предков.

[441] Бонч-Бруевич объясняет это так: «Требуя соблюдения строгой дисциплины, Ф.Э. Дзержинский всегда заботился о бытовых условиях сотрудников вверенного ему ведомства, что было огромным стимулом к работе». 7 марта 1921 года он даже стал председателем Комиссии по улучшению условий быта рабочих и начал изыскивать для них жилье и земельные участки под огороды, зная, что налаженный быт улучшит их сознательность. Он занялся также культурной жизнью работников. Комиссариат путей сообщения взял на себя управление клубами и библиотеками для железнодорожников и школами для их детей. Железнодорожники стали своего рода элитой.

[442] Zofia Dzierżyńska, *цит. соч.*

[443] *Там же.*

[444] Дзержинский поддерживал также техническое

новаторство. Он создал при министерстве специальный орган, занимающийся изобретениями. Сам с возмущением говорил о проблемах, с которыми сталкиваются новаторы. Он рассказывал, например, о деле железнодорожника Трегера, который сконструировал устройство для регулирования движения поездов (железнодорожную стрелку), которое было лучше английского, использовавшегося ранее. За свое изобретение Трегер был уволен с работы. Дзержинский лично встал на его защиту и потребовал технической экспертизы изобретения. Оказалось, что устройство Трегера и дешевле, и технически более совершенно, чем английское. Новый министр инициировал также создание российского паровоза.

[445] Через неполных два месяца ЦК ВКП(б) образовал государственную комиссию по борьбе со взяточничеством, которая охватывала своей деятельностью уже всю страну и все государственные учреждения. Ее председателем стал – Феликс Дзержинский.

[446] Borys Lewycki, *Terror i rewolucja*, LTW, Warszawa 2010.

XXII. Мы должны немного поутихнуть. Период НЭПа.

[447] Borys Ba» anow, *Bylem sekretarzem Stalina*, http://www.stalin.tv/bazanow/ramki.html.

[448] Ленинский сборник. XXXVI, Издательство политической литературы, Moskwa 1959

[449] Тот же Крыленко, наряду с Вышинским, станет в тридцатые годы наиболее кровавым и деспотичным сталинским прокурором.

[450] Leonid Mleczin, *Ojcowie terroru. Dzierzytiski. Mienzynski. Jagoda*, Wydawnictwo Adamski i Bielihski, Warszawa 2003.

[451] *Там же.*

[452] Сопротивление Дзержинского подчинению комиссии органам формальной юстиции доказывали типичную для начальников служб безопасности горячность и желание действовать самостоятельно. Это явление общемировое – примером такого стремления добиться независимости может быть хотя бы создатель ФБР Эдгар Гувер.

Борис Бажанов считал, что Политбюро держало Дзержинского во главе ГПУ, «чтобы не позволял своим подчиненным слишком наглеть», но добавлял при этом, что он не думает, «чтобы Дзержинский хорошо справлялся с этой ролью; с практической деятельностью ведомства он имел мало общего, а Политбюро предпочитало верить, что все идет по плану, нежели знать

правду». В свою очередь, о других членах чекистской верхушки – заместителях Дзержинского Мартине Лацисе и Якове Петерсе (и их работе в период НЭПа) – секретарь Сталина писал, что он опасался их фанатизма. «Но это были вовсе не фанатики, – утверждал Бажанов. – Это были чиновники по вопросам расстрелов, очень занятые своей карьерой и заботившиеся о состоянии своего имущества, всегда готовые быть на побегушках у секретариата Сталина. Мое враждебное отношение к этому учреждению переросло в чувство отвращения к его начальникам». О первом заместителе, а впоследствии преемнике Дзержинского Вячеславе Менжинском (тоже поляке) Бажанов написал, что это был «человек, страдающий странной болезнью спинного мозга, эстет, он жил, лежа на кушетке и, в принципе, тоже лишь в небольшой степени руководил работой ГПУ». Выходит, что фактическим руководителем ГПУ был второй заместитель председателя – Ягода. Итак, бежавший впоследствии на Запад Бажанов считал коллегию ГПУ «бандой обычных негодяев, которую поддерживал своим авторитетом Дзержинский для сохранения видимости работы» (Borys Bazanow, *цит. соч.)*.

[453] Aleksander Chackiewicz, *Feliks Dzierzytiski. Studium biograficzne*, Książka i Wiedza, Warszawa 1968.

[454] Igor Bunicz, *Poligon szatana. Zloto dla partii*, Gutenberg-Print, Komorow 1997.

[455] Не случайно, что именно Ягода станет председателем на Лубянке после смерти Менжинского в 1934 году. Для Сталина ОГПУ – уже переименованное в НКВД – станет личным железным кулаком для всех, в том числе и для партии.

[456] Изменение названия ВЧК на ГПУ было связано с подготовкой к введению нового Уголовного кодекса РСФСР, вступившего в силу 1 июня. Важно отметить эту связь, так как новый уголовный кодекс являлся первой кодификацией советского уголовного права, он устанавливал виды политических преступлений и размеры уголовной ответственности за их совершение.

[457] После подписания договора о создании СССР (30 декабря 1922 года) Государственное политическое управление преобразовано в ноябре 1923 года в Объединенное ГПУ, то есть ОГПУ

[458] Stanislaw Ciesielski, *GULag w radzieckim systemie represji (do 1941* rj, http://www.sciesielski.republika.pl/sovrep/gulagl. html#2.

[459] Создаваемая там сеть лагерей, подлежащих юрисдикции ВЧК, получила название Северные лагеря особого назначения (СЛОН). В 1923 году СЛОН ликвидировали и создали на его месте Соловецкий лагерь принудительных работ специального

назначения ОГПУ, быстро разросшийся до территорий, расположенных в прибрежных районах Карелии, на Северном Урале и на Кольском полуострове.

460 Anne Applebaum, *Gulag*, Świat Książki, Warszawa 2005.

461 Leonid Mleczin, *цит. соч.*

462 Bengt Jangfeldt, *Majakowski. Stawkq bylo zycie*, W.A.B., Warszawa 2010.

XXIV. Такова была воля народа. Расправа с врагами.

463 Richard Pipes, *Rosja bolszewików*, Magnum, Warszawa 2005.

464 Например, на основании книжки Григория Семенова-Васильева, бывшего эсеровского боевика, информатора ЧК. В изданной в феврале 1922 года в Берлине книге *Военная и боевая работа партии социалистов-революционеров за 1917–1918 г.г.* он привел много данных, но интерпретировал он их тенденциозно, смешивая факты с фикцией. Он, в частности, обвинил эсеровский ЦК в организации покушения на Ленина на заводе Михельсона, а также в провоцировании бунта на тамбовщине. Книга стала идеальным доказательством в суде, а ее автор выступал в московском суде в качестве коронного свидетеля.

465 В январе 1924 года приговоры заменили на пять лет тюрьмы, а дело их окончательного уничтожения завершил в тридцатые и сороковые годы Иосиф Сталин.

466 Anatolij Latyszew, „*Zelazny Feliks" (glosy do portretu kata Rosji)*$_9$ „Arcana", nr 5 (35), 2000.

467 Dmitrij Wolkogonow, *Lenin. Prorok raju, apostol piekla*, Amber, Warszawa 2006.

468 Всероссийский комитет помощи голодающим, сокращенно Помгол, был создан по призыву Максима Горького *Всем людям доброй воли.* В его состав вошли 73 важные персоны из кругов интеллигенции. Но после подписания правительственного соглашения с американской организацией ARA, руководимой Гербертом Гувером и обещавшей подкармливать русских – часть членов Всероссийского комитета обвинили в контрреволюционной деятельности. И здесь мы вновь имеем дело с бесславным участием Дзержинского. В августе 1921 года ВЧК, по приказу Ленина, арестовала трех членов Помгола, ранее связанных с правительством Керенского, а за прибывшими в Россию представителями ARA установила надзор и слежку. В качестве противовеса Помголу, чтобы народ не мог обвинить большевиков в пассивности в отношении голодающих, Дзержинский инициировал создание Центральной комиссии

помощи голодающим, которая в общегосударственном масштабе призывала собирать средства для пострадавших. Потом, как министр путей сообщения, он выехал в Сибирь и отправил оттуда составы с зерном для умирающего Поволжья. Ленин относился к проблеме голода с позиций тактических: принимая решения, он взвешивал, насколько они ему выгодны с точки зрения удержания власти. В этой акции Дзержинскому нельзя отказать в добрых намерениях по зову сердца. Это подтверждали сотрудники ARA, подчеркивая, что он поддерживал их деятельность, хвалили его за усилия, которые он предпринимал для организации поставок продовольствия железнодорожным путем.

469 Патриарх Тихон пройдет через домашний арест и месяц тюрьмы ГПУ Он выйдет из нее, готовый к сотрудничеству во имя сохранения власти над Церковью и предотвращения раскола в самой Церкви. Он умрет в апреле 1925 года, оставив завещание, в котором хвалит советское государство за его истинно рабоче-крестьянский характер и за полную свободу вероисповедания.

470 Dmitrij Wolkogonow, *цит. соч.*

471 Anatolij Eatyszew, *цит. соч.*

472 Dmitrij Wolkogonow, *цит. соч.*

473 Среди выдворенных были, в частности: философ Николай Лосский, теолог Сергей Булгаков, философ Иван ильин, философ Семен Франк, писатель Михаил Осоргин, писатель и философ Федор Степун.

474 Кадетами называли членов либеральной Конституционно-демократической партии, действовавшей в 1905–1917 годах и объявленной вне закона вскоре после захвата власти большевиками.

475 Dmitrij Wolkogonow, *цит. соч.*

476 Об отношении к Церкви и депортации наиболее выдающихся представителей интеллигенции молчат биографы Дзержинского, такие как Хромов, Хацкевич, Охманьский или Собчак. Жена Софья также ни словом не обмолвилась на эту тему. Есть упоминания о деле эсеров – потому что обвинение политической оппозиции удалось хорошо мотивировать. Есть, правда, небольшое упоминание у Дзержинской и Охманьского об аресте трех членов Помгола, но это слишком короткое замечание и, конечно, подкрепленное аргументом контрреволюционного заговора. А ведь начальник Лубянки послушно исполнял указания гения революции, что следовало бы засчитать в его пользу. Но нет, отнесли к категории постыдных ошибок, которые никаким образом не поддаются объяснению.

477 С проблемой критически настроенной интеллигенции связан и вопрос цензуры. В июне 1922 года было создано Главное

управление по делам литературы и издательств (Главлит). В его задачу входила предварительная цензура всех публикаций и произведений изобразительного искусства, а также публикация списков запрещенной литературы. В феврале 1923 года Главлит расширился за счет новой секции Главреперткома, который должен был следить за театром, кино, музыкальными спектаклями и фонографией. Рекомендации

Главлита претворяло в жизнь ГПУ А так как Ленин заявил, что «из всех искусств для нас важнейшим является кино», то не следует удивляться, что председателем Общества друзей советской кинематографии стал – неоценимый во всех областях жизни – Феликс Эдмундович. Он сам говорил, что кино и радио в деревне и в рабочих кварталах поможет преодолеть отсталость.

[478] По этому поводу у ведомства Дзержинского начинаются разногласия с народным комиссариатом иностранных дел, которым руководил тогда Георгий Чичерин. Разведка Лубянки все чаще переходит дорогу дипломатам, работающим по соседству, у Кузнецкого моста. Чичерин не раз открыто выражал свою неприязнь, даже свое презрение к чекистским методам, а когда из-за действий подчиненных Дзержинскому служб возникал какой-нибудь дипломатический скандал и происходил разрыв международных отношений с тем или иным государством – слал ему письма протеста. Он обвинял ОГПУ в том, что оно смотрит на его министерство как на классового врага, проводит аресты всех известных иностранных дипломатов и что слежка за своими дипломатическими службами достигла таких масштабов, что доходит до абсурда, когда посол начинает бояться собственного резидента, а все вместе «организовано наиглупейшим и наиболее варварским способом» (Leonid Mleczin, *Ojcowie terroru. Dzierżyński. Mienzynski. Jagoda*, Wydawnictwo Adamski i Bielmski, Warszawa 2003).

[479] Jerzy Latka, *Krwawy apostol*, Spoleczny Instytut Historii, Kraków 1997.

[480] Witalij Szentalinski, *Tajemnice Lubianki. Z „archiwow literackich" KGB, czescll*, Czytelnik, Warszawa 1997.

[481] Между Дзержинским и Савинковым существовала специфическая связь: происхождение и жизненный опыт. Борис, сын русского мирового судьи и украинской художницы, провел детство и юность в Варшаве. Он хорошо знал поляков и польский язык, полностью поддерживал их стремление к независимости. Сторонник Пилсудского (во время польско-большевистской войны он создал на территории Польши 3. Русскую армию, которая должна была поддержать польские войска при отражении наступления большевиков). В августе 1920 года он чуть не

столкнулся с Феликсом в Вышкове. Именно 15 августа он поехал туда с приятелем-поляком Каролем Вендзягольским, чтобы наблюдать за движением фронта. А в это время Феликс, член Польревкома, убегал из дома приходского священника Мечковского.

[482] Witalij Szentalinski, *цит. соч.*

[483] Спустя годы Александр Солженицын заявит в *Архипелаге ГУЛаг*, что письма Савинкова друзьям – в том числе и то последнее письмо начальнику Лубянки – изготовлял не отходивший от него ни на шаг Яков Блюмкин. «Вот что выяснилось, – пишет Солженицын. – В конце двадцатых годов под большим секретом Блюмкин рассказал Якубовичу, что это он написал так называемое последнее письмо Савинкова, притом по указанию НПУ Когда Савинков сидел в тюрьме, Блюмкин – как сейчас стало известно – имел право в любое время входить в его камеру,»развлекал «его по вечерам разговорами». Это неправда. Ангелом-хранителем Бориса Викторовича был другой эсер, Василий Сперанский, а Блюмкин ходил в это время по Азии с научной экспедицией. Информаторы Солженицына ввели его в заблуждение. То же относительно обстоятельств смерти. Нобелевский лауреат пишет далее: «В 1937 году, умирая в колымском лагере, бывший чекист Артур Прюбель рассказал кому-то из окружающих, что он был в числе тех четырех, кто выбросили Савинкова из окна пятого этажа в лубянский двор». Предполагая, что Блюмкин и Прюбель действительно рассказывали о своих специфических отношениях с Савинковым, следует помнить, что оба попали в сталинский список предателей, первый как сообщник Троцкого, второй как один из организаторов операции «Трест» – а уже преданные анафеме могут говорить, что им на ум взбредет. Савинков боялся высоты, о чем знакомые отлично знали. Однако, в случае самоубийства бывает, что фобия становится лучшим инструментом – медицине известны такие случаи. А мысль выбросить его из окна тоже ничего бы не дала. Нелишне будет напомнить, что его старший брат Саша, узник Колымска, в 1905 году впал в сильную депрессию и также совершил самоубийство.

[484] Jerzy Łątka, *цит. соч.*

[485] *Там же.*

[486] В тридцатые годы «Трест» будет использован Сталиным как доказательство шпионской деятельности в пользу иностранных разведок всех тех людей, которые эту операцию осуществляли. Дзержинского уже не будет, он умрет в 1926 году, Менжинский умрет в 1934 году, но будут живы их подчиненные. В годы Великой чистки все они пойдут к стенке как «предатели

родины». Уцелеет только Василий Сперанский, ангел-хранитель Савинкова – потому что успеет вовремя уйти со службы и стать нотариусом.

XXV. Фабрика ангелочков. Защитник беспризорных.

[487] Feliks Dzierżyński, *Listy do siostry Aldony poprzedzone wspomnieniami Aldony Kojałłowicz oraz Stanislawy i Ignacego Dzierżyńskich*, Książka i Wiedza, Warszawa 1951.

[488] Zofia Dzierzyhska, *Lata wielkich bojow*, Książka i Wiedza, Warszawa 1969, *цит. соч.*

[489] Richard Pipes, *Rosja bolszewików*, Magnum, Warszawa 2005.

[490] Orlando Figes, *Szepty. Zycie w stalinowskiej Rosji,* Magnum, Warszawa 2007.

[491] Jerzy Ochmahski, *Feliks Dzierżyński,* Ossolineum, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdahsk – Łódź 1987. В 1923 году об этом крестовом походе детей, пытающихся пробиться в районы с более мягким климатом, напишет Александр Неверов в известном романе *Ташкент – город хлебный;* позже по мотивам романа будет снят фильм.

[492] Если иметь хоть немного злой воли, то в обеспокоенности Дзержинского судьбой беспризорных детей можно усмотреть элементы председателя ВЧК, который в «детском потоке» видит массовую угрозу бандитизма и деморализации. Идеологическая подоплека в этом также была, так как он объяснял свои решения так: «Забота о детях – это лучшее средство для истребления контрреволюции. Если поставить на соответствующем уровне дело заботы о детях и их снабжения, то в каждой рабочей и крестьянской семье Советская власть найдет сторонников и защитников, а вместе с этим – широкую поддержку в борьбе с контрреволюцией» (Jerzy Ochmański, *цит. соч.)*. Но из его писем и воспоминаний о нем мы знаем, что на самом деле им руководила забота о судьбах детей. «Обычно я лучше всего себя чувствую в обществе детей и рабочих, – писал он жене из тюрьмы. – В таком обществе я чувствую себя самим собой; здесь больше простоты и искренности, меньше обычных форм общения» (Zofia Dzierżyńska, *цит. соч.)*.

[493] Jerzy Ochmanski, *цит. соч.*

[494] Воспитательные принципы Антона Макаренко имели не много общего с методами Януша Корчака: уважение ребенка, партнерство и формирование его самостоятельности – с тем что идеологические условия, в которых работали оба педагога, были диаметрально противоположными. Метод Макаренко был сведен,

к «воспитанию советского человека в духе социалистического оптимизма», а сам педагог был признан провозвестником коммунизма в наиболее ярком его проявлении, поэтому сейчас вызывает плохие ассоциации. А проблема в том, что он делал столько, сколько ему позволяли и сколько он был в состоянии сделать. Назвать Макаренко производителем янычаров коммунизма – это все равно, что обвинить Корчака в отправке младенцев на голодную смерть в гетто, в приют для сирот. В кошмарных условиях советской России, где насилие было повседневным явлением, в создаваемые Макаренко детские поселения беспризорные приходили уже деморализованными. Их ресоциализация часто заканчивалась выработкой только лишь рефлекса подчинения системе. Да, они становились янычарами коммунизма. Педагог отдавал себе в этом отчет, но это отнюдь не означает, что он это поддерживал. В его коммунах детей, по крайней мере, обстирывают и кормят – они могли выжить.

[495] Цитаты по: Zofia Dzierżyńska, *цит. соч.*

[496] Cathy A. Frierson, Siemion S. Wilebski, *Dzieci Gulagu*, PWN, Warszawa 2011.

[497] Цитаты по: *там же.*

XXVI. Гарант единства партии. Борьба за власть.

[498] Michał Komar, *Zmgczenie*, Libella, Paryż 1986.

[499] Orlando Figes, *Tragedia narodu. Rewolucja rosyjska 1891–1924*, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2009.

[500] В сентябре 1921 года делает доклад О *порядке и способах проверки и очищения рядов в РКП(б).* Этот порядок должен был заключаться в обсуждении поведения данного члена партии на открытом собрании с участием беспартийных рабочих и крестьян, а также в получении рекомендации от органов власти или от большевиков, имеющих большой партийный стаж. Многие не смогли пройти такую аттестацию, многие уже были сыты по горло и ушли добровольно. В результате этой первой чистки из партии было исключено десять процентов членов, в большинстве своем рабочих и крестьян. Во время второй чистки в 1922–1923 годах ряды партии сократились почти наполовину.

[501] Dmitrij Wolkogonow, *Lenin. Prorok raju, apostol piekla*, Amber, Warszawa 2006.

[502] *Там же.*

[503] Ее второй муж, Савва Морозов, был одним из тех миллионеров, которые в первой декаде XX века перешли на сторону большевиков. Соблазненный Марией Андреевой

(будущей партнершей Горького), он переписал на нее свой страховой полис, после чего в 1905 году совершил самоубийство.

[504] В состав Политбюро тогда входили: Ленин, Сталин, Троцкий, Каменев, Зиновьев, Бухарин и Томский.

[505] С будущим диктатором Дзержинский познакомился ближе в 1919 году, когда оба были направлены на Восточный фронт – в Пермь, Ярославль и Вятку. Поехавшая вместе со Сталиным свояченица Анна Аллилуева влюбляется в секретаря Феликса поляка Станислава Реденса, за которого позже выйдет замуж. В следующем году они вместе работали на Западном фронте. Как утверждает Саймон Себаг Монтефиоре, они подружились на почве происхождения. Поляка и грузина объединяла похожая история их стран, а также революционный темперамент, оба были «исполнителями», но у них было большое различие в плане амбиций. Сталин, когда хотел, мог объединить вокруг себя людей, особенно если они были ему нужны. Феликс, как председатель ВЧК, был для него, безусловно, важной персоной, и сначала он усердно добивался его дружбы.

[506] В других версиях «выпердком» или «жопой» Сталина.

[507] Jerzy Ochmabski, *Feliks Dzierzyi\ski,* Ossolineum, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdabsk – Łódź 1987.

[508] Dmitrij Wolkogonow, *цит. соч.*

[509] *Там же.*

[510] Borys Bazanow, *Bylem sekretarzem Stalina*, http://www.stalin.tv/bazanow/ramki.html.

[511] Jerzy Ochmahski,

[512] *Moje zycie. Proba autobiografii*, Bibljon, Warszawa 1930.

[513] Исторической справедливости ради следует отметить, что выбор между Троцким и Сталиным был трудным. Это Лев Троцкий, сторонник философии насилия («исключительно силой!») и милитаризированного социализма, представлял большую угрозу для партии как потенциальный большевистский Наполеон – и еще неизвестно, если бы он стал новым вождем, не ввел ли бы он военную муштру во все области жизни, вот только чистка в его исполнении могла бы поглотить не так много жертв.

[514] Lew Trocki, *цит. соч.*

[515] Anatolij Latyszew, *„Zelazny Feliks" (glosy do portretu kata Rosji),* „Arcana" nr 5 (35), 2000. Даже если правда, что Ленин не был доволен его работой в комиссариате, это не было бы каким-то исключением в оценках вождя. Его натура требовала, чтобы все было сейчас и немедленно, поэтому любые действия с результатом в отдаленной перспективе не могли вызвать у него энтузиазм.

[516] Zofia Dzierżyńska, *Lata wielkich bojow*, Książka i Wiedza,

Warszawa 1969.

XXVII. Я устал от этих противоречий. Экономист.

[517] Leonid Mleczin, *Ojcowie terroru. Dzierzyhski. Mienzynski. Jagoda*, Wydawnictwo Adamski i Bielmski, Warszawa 2003.

[518] Jerzy Ochmafiski, *Feliks Dzierżyński,* Ossolineum, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdafisk – Łódź 1987.

[519] В автомобилестроении Дзержинский хотел взять за образец Генри Форда, известного своей ненавистью к коммунизму. Несмотря на мировоззрение американского промышленника, Феликс считал его лучшим производителем так называемой дешевой продукции.

[520] Zofia Dzierżyńska, *Lata wielkich bojow*, Książka i Wiedza, Warszawa 1969. 3 сентября 1924 года новый председатель ВСНХ опубликовал в „Правде" статью под названием *От слов к делу.* В ней он писал о низкой производительности труда и связанном с этим слабом росте реальной заработной платы, а также о невозможности удешевления промышленных товаров для деревни: как средств производства, так и предметов потребления. Надо разъяснить рабочим, – говорил он открыто, – что сейчас нет возможности повысить им заработную плату, так как средства нужны на строительство новых заводов и производство нового оборудования. Он верил, что если лично объяснит рабочим суть проблемы, то они его поймут.

[521] Цитаты по: *там же.*

[522] В выступлении на заседании президиума Совета труда и обороны (СТО) 19 мая 1925 года он мог уже сказать: «Вы помните, что в некоторых расчетах указывалось, что наш товарооборот, который является фотографией и отражением всего уровня развития народного хозяйства, лишь к 1941 году сможет достичь довоенного уровня. Теперь мы знаем, что к концу первого полугодия 1924/1925 г. мы достигли 71 процент от того, что имели до войны, а темпы роста в этом полугодии по сравнению со вторым полугодием прошлого года составляют 50–60 процентов. Это совершенно ясно показывает, что момент приближения к довоенному уровню – это дело месяцев, а не лет; тем более, что в ряде отраслей мы добились этих результатов без чужой помощи, теми средствами и теми силами, которые мы сами создали в процессе развития» (A.G. Sidorenko, *Feliks Feliks Dzierżyński – budowniczy nowej gospodarki Rosji,* http://www.1917.net.pl/?q=node/2950).

[523] Lew Trocki, *Moje zycie. Proba autobiografii*, Bibljon, Warszawa

1930.

[524] Leonid Mleczin, *цит. соч.*

[525] Borys Bazanow, *Bylem sekretarzem Stalina*, http://www.stalin.tv/bazanow/ramki.html.

[526] Уже в августе 1923 года, то есть еще до того, как он станет председателем Высшего совета народного хозяйства, после ссоры с Алексеем Рыковым – в то время председателем ВСНХ – Дзержинский пишет Сталину полное эмоций письмо: «В условиях борьбы, полного игнорирования моей особы и отсутствия доверия ко мне (…) я не в состоянии работать по причине черт моего характера, которые Вы отлично знаете. Я не гожусь на роль государственного деятеля, отсюда моя просьба снять меня с должности народного комиссара путей сообщения» (Leonid Mleczin, *цит. соч.*), а также со всех других должностей за исключением начальника ГПУ Но письмо он не отправил – остыл, когда излил на бумагу свои обиды.

[527] Чиновник – государственный служащий в царской России.

[528] *Ф.Э. Дзержинский – председатель ВЧК – ОГПУ 1917–1926*, подготовили А.А. Плеханов, А.М. Плеханов, Москва 2007, перевод Давида Якубовского.

[529] Leonid Mleczin, *цит. соч.*

[530] Borys Baanow, *цит. соч.*

[531] Lew Trocki, *цит. соч.*

[532] Michał Komar, *Zmgczenie*, Libella, Paryż 1986.

XXVIII. Я сам. Смерть.

[533] Donald Rayfield, *Stalin i jego oprawcy*, Amber, Warszawa 2007.

[534] Jerzy Łątka, *Krwawy apostol*, Spoleczny Instytut Historii, Kraków 1997.

[535] *Там же.*

[536] Zofia Dzierżyńska, *Lata wielkich bojow*, Książka i Wiedza, Warszawa 1969.

[537] Lew Trocki, *Moje zycie. Proba autobiografii*, Bibljon, Warszawa 1930.

[538] В 1925 году Российская коммунистическая партия (большевиков) меняет название на Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков) – ВКП(б)

[539] Zofia Dzierżyńska, *цит. соч.*

[540] Екатерина Пешкова – первая жена Максима Горького.

[541] Z *rosyjskiej otchlani*, tlumaczenie w dzienniku „Czas”, nr 194 z 26 sierpnia 1926.

[542] Смерть Максима Горького в 1936 году тоже давала поводя

для спекуляций. Она стала аргументом на процессе Генриха Ягоды, обвиненного в отравлении писателя и его сына. И здесь всплыли слухи о неестественной смерти Дзержинского. В ходе третьего московского процесса, который состоялся в марте 1938 года, наряду с партийными деятелями судили также врачей. Их обвиняли в том, что, действуя по указаниям Ягоды, они умерщвляли своих пациентов при помощи средств, которые невозможно обнаружить. В их числе находился консультант Медико-санитарного управления Кремля доктор Дмитрий Плетнев. Его обвинили в том, что 20 июля 1926 года он разрешил товарищу Дзержинскому идти домой, чем его убил.

543 Противоположная гипотеза появилась после 1945 года. Она предполагала, что на пленуме ЦК выступал двойник Феликса, а сам он уже готовился к поездке с Рерихом в горы Тибета – то есть была создана видимость его смерти. Он хотел оставаться в Стране Мудрецов до своей настоящей смерти и передавать верхушке в Москве образы будущего. Один из этих образов показывал, якобы, итоги второй мировой войны: поражение Гитлера и распространение влияния Сталина на половину Европы. По этой гипотезе, именно благодаря информации Дзержинского из Шамбалы Сталин не вмешивался, когда Гитлер объявил войну всему миру. Он уже знал, какую выгоду он сам от этого получит.

544 *Z zycia czerwonego kata Rosji*, „Ilustrowany Kuryer Codzienny", nr 201 z 24 lipca 1926.

545 Zofia Dzierżyńska, *цит. соч.*

XXIX. Мертвый рыцарь. Польская операция.

546 Осип Мандельштам, **** [Мы живем, под собою не чуя страны…],* в переводе Станислава Бараньчака.

547 Годы 1929–1931 это еще одна чистка в партийных рядах. Из партии будет исключено четверть миллиона человек – прежде всего критикующих ситуацию в стране и деятельность верхушки. С декабря 1932 до весны 1935 года партия переживет очередную чистку. Но в ее рядах все еще остается место для оппозиции, так называемых правых, то есть сторонников умеренной политики в отношении города и деревни: Бухарина, Рыкова, Куйбышева, Томского.

548 Антони Слонимский назовет это время средневековым *possessio daemoniaca*, то есть состоянием демонической одержимости, "в котором подсудимые под пытками начинали верить во все, в чем их обвиняла святая инквизиция" (Adam

Michnik, *Nasza przemoc, nasza zaraza*, „Gazeta Wyborcza" z 24 kwietnia 2011). Конечно, здесь мы имеем дело с одержимостью – но не только. Самым опасным оружием против подсудимых были судьбы их семей. Признаваясь в самых абсурдных обвинениях, они надеялись их спасти.

549 Часто приводится причина этой неприязни – поражение, которое большевики потерпели в войне с Польшей в 1920 году – с указанием на вину самого Сталина, бывшего в то время членом Военного совета Юго-Западного фронта. Ему ставится в вину невыполнение приказа о переброске 1. Конной АрмииБуденного и 12. Армии Восканова, которые должны были поддержать войска Тухачевского. Но правда такова, что тогда Сталин выполнил требование Ленина направить войска фронта в сторону революционных Венгрии и Италии.

550 Simon Sebag Montefiore, *Stalin. Dwor czerwonego earn,* Magnum, Warszawa 2009.

551 Bogdan Gadomski, *Biografia agenta. Najwigkszy agentpolieji polityeznej II RP. Józef-Josek Mützenmacher (1903–1947),* Tedson, Warszawa 2009.

552 «Польская операция» поглотила такое количество жертв всех возрастов и обоего пола, что со всей ответственностью ее можно считать геноцидом. Поляки требуют от России покаяния в деле Катыни, но убийство польских офицеров в Катыни, Медном и Харькове, представляемое как исключительное и не связанное с другими преступление, в действительности было продолжением «польской операции», и при такой его квалификации его можно признать геноцидом, а не только военным преступлением. Ибо сталинский геноцид польского народа охватывает весь период 1937–1941 годов, включая репрессии, применявшиеся после 17 сентября 1939 года на Восточных Кресах и завершившиеся акцией «очистки тюрем» в тот момент, когда на эти земли в июне 1941 года вступала германская армия. В этих тюрьмах находились, главным образом, политические заключенные, нередко беременные женщины, а также несовершеннолетние дети даже в возрасте десяти – двенадцати лет.

553 Все еще царил страх перед разведывательно-диверсионными акциями Польской военной организации Пилсудского, хотя на территории советской России ее сеть была ликвидирована в начале 1921 года. Тем не менее, советских руководителей не оставляло чувство, что она продолжает активно действовать. Именно поэтому в приказ Ежова была вставлена формулировка о раскрытии «главной диверсионно-шпионской сети польской разведки в СССР, действующей под видом так называемой Польской военной организации» (Tomasz Sommer,

Rozstrzelac Polakow. Ludobojstwo Polakow w Zwiqzku Sowieckim w latach 1937–1938. Dokumenty z Centrali, 3S Media, Warszawa 2010). К этому следует добавить чувство поражения Сталина в польско-большевистской войне, что тоже надо было связать с Пилсудским и его людьми.

554 В рамках этого культа даже возникли города Дзержинский, Днепродзержинск и Дзержинск – столица польской автономной административной единицы Дзержинщины, которая была создана в 1932 году на территории Белоруссии. Дзержинщина и Мархлевщина, созданная в 1925 году на Украине, должны были стать образцовыми округами, где планировалось воспитывать будущие кадры польского коммунизма. В 1935 году Мархлевщина, а в 1938 году и Дзержинщина были ликвидированы, в частности, из-за того, что стали сопротивляться коллективизации, что в Кремле посчитали типично польским пороком. Жители этих округов в значительной мере были уничтожены или сосланы, причем даже без чрезвычайного суда троек НКВД.

555 Tomasz Sommer, *цит. соч.*

556 «Польская операция» достигла пика абсурда, когда «кровавый карлик» Ежов (его так называли за маленький рост) сам стал обвиняемым и сознался, что с 1932 года был агентом польской разведки. Против него было выдвинуто еще несколько обвинений, в том числе несправедливые смертные приговоры полякам. В 1940 году его расстреляли.

557 Александр Хинштейн, Тайны Лубянки, ОЛМА Медиа Групп, Москва 2008.

558 Сестра Феликса, Ядвига Эдмундовна, осталась на свободе. Ее внучка, Ядвига Иосифовна, в 1944 году отважилась написать письмо Сталину и Берии с просьбой как можно быстрее освободить ее мать из лагеря в связи с плохим состоянием здоровья. Действительно, Ядвигу Генриховну освободили в 1946 году, за два года до окончания срока, но с запретом возвращения в Москву. Она нашла работу швеей в Александрове, на условном «101 километре». Вернувшись в столицу по амнистии в середине пятидесятых годов, она уже не застанет мать – сестра «рыцаря революции» умерла в 1949 году. На Новодевичьем кладбище в Москве сегодня в одной могиле лежат три Ядвиги: Ядвига Эдмундовна (1879–1949), Ядвига Генриховна (1900–1972) и Ядвига Иосифовна (1919–1999).

Пока, Фелек! Post scriptum

[559] Ян Дзержинский женился на Любови Федоровне Лиховой (1909–1984), архитекторе по образованию.

[560] Simon Sebag Montefiore, *Stalin. Dwor czerwonego cara*, Magnum, Warszawa 2009.

[561] В 1966 году Софья Дзержинская пишет воспоминания *В годы великих боев*. Когда книга должна выйти на польском языке, у издательства «Книга и Знание» («Książka i Wiedza») появляются сомнения. Что касается литературного достоинства этой книги, то польский период деятельности Феликса описан в ней значительно интереснее. Поступает предложение опубликовать только эту часть воспоминаний. Но Софья не согласна. Она пишет письмо директору издательства, приводя аргументы, что ее муж в Польше опорочен, и поэтому она должна рассказать правду о его деятельности в России. В конце концов, книга выходит в полной версии.

[562] В 1952 году Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков) меняет название на Коммунистическая партия Советского Союза.

[563] Насколько острой была беседа, стало известно в подробностях только в 2008 году. Именно тогда Польско-российской группой по сложным вопросам были опубликованы записки Яна, значительно более точные, чем доступные ранее заметки Владислава Гомулки и Александра Завадского. (На русском языке они были изданы А.М. Ореховым в «Славянском альманахе 2007»).

[564] Тяжелее всех это воспримет Андрей Мандалян, автор стихотворения *Товарищам из безопасности*, за которое коллеги по цеху подвергнут его остракизму. На много лет он замолчит как поэт, а потом напишет потрясающее стихотворение *Покаяние молчания.*

[565] *Wieczny plomied, wybor wierszy poetow radzieckich ipolskich o Feliksie Dzierżyńskim*, PIW, Warszawa 1951.

[566] Периодически кто-то пытался написать на постаменте антисоветские лозунги. Самый известный случай произошел 10 февраля 1982 года, в период военного положения. На «Дзержинского» напали несколько лицеистов из подпольной Конфедерации польской молодежи «Пилсудчики», которые, действуя из подполья, решили вернуться к традициям активного сопротивления. Сначала они хотели из катапульты обстрелять коктейлями Молотова здание ЦК ПОРП. Отказавшись от этого замысла они решили провести акцию «Пьедестал». Они обливают памятник Дзержинскому белой и красной краской, после чего поджигают коктейлем Молотова. Они лихо убегают, размахивая пистолетом и разбрасывая новые коктейли Молотова. Служба

безопасности и милиция немедленно поднимают своих людей. Троих виновников схватили, их били, им угрожали судом. Один из них, Эмиль Барханский, освобожденный из-под ареста и остававшийся под надзором куратора, внезапно исчезает в июне 1982 года. Через три дня его тело выловили из Вислы.

[567] Jerzy Łątka, *Krwawy apostol*, Spoleczny Instytut Historii, Kraków 1997.

[568] Rkps, *Kreml przeciwny powrotowi pomnika Dzierżyńskiego*, „Gazeta Wyborcza", wydanie internetowe z 19 wrzesnia 2002.

[569] Федеральная служба безопасности Российской Федерации является преемницей советского КГБ.

[570] Есть и другая страна, которая охотно признает Дзержинского своим соотечественником – Белоруссия и ее президент Александр Лукашенко. В 2004 году президент распорядился реконструировать усадьбу в Дзержиново (очень неудачная копия), в которой открыт музей. Каждый год 11 сентября, в день рождения Дзержинского, сюда для принятия присяги приезжают молодые люди, вступающие в ряды белорусского КГБ. В Минске перед зданием КГБ стоит бюст председателя ВЧК, а уменьшенная копия памятника с Лубянки находится на территории Военной академии. Власти возродили также движение *Молодой дзержинец*, члены которого обучаются специалистами КГБ в специальных лагерях в рамках вневойсковой подготовки. Диктатор до такой степени любит Дзержинского, что охотно использует его миф в интересах проводимой им внутренней политики, представляющей Белоруссию осажденной крепостью в центре Европы.

notes

Примечания

1

Санация: в буржуазной Польше – лагерь сторонников Пилсудского. – *Прим. перев.*

2

Улица без конца… В 1952 году улицу Юлиуша Лео в Кракове переименовали в улицу Феликса Дзержинского. По соседству с этой улицей автор провела все свое детство.

3

* Господин Когито – персонаж поэзии Збигнева Херберта – польского поэта, драматурга, эссеиста (1924–1998) – *Прим. перев.*

4

Кресы, Восточные Кресы – польское название территорий нынешних западной Украины, Белоруссии и Литвы, некогда входивших в состав Речи Посполитой; «восточная окраина» *(Прим. перев.)*

5

Автор имеет в виду польское восстание 1863 года, или Январское восстание – шляхетское восстание на территории Царства Польского, Северо-Западного края и Волыни с целью восстановления Речи Посполитой на востоке в границах 1772 года. Началось 22 января 1863 года и продолжалось до осени 1864 года, окончившись поражением повстанцев *(Прим. перев.)*

6

Царство Польское, Королевство Польское (польск. Krolestwo Polskie), также Конгрессовая Польша или «Конгрессовка», в просторечии Конгресс (от польск. Krolestwo Kongresowe, Kongresowka) – государство, установленное постановлением Венского конгресса, объединенное реальным союзом с Российской империей в 1815–1832 г.г. в соответствии с Конституцией 1815 года, а позже до 1918 г. – составная часть Российской империи. С лета 1915 было оккупировано немецкими и австро-венгерскими войсками.

До 1860-х годов в законодательстве чаще использовалось название «Царство Польское», редко – «Польша». В 1860-х годах эти названия стали заменяться словосочетаниями «губернии Царства Польского» и «губернии Привисленские». 5 марта 1870 г. повелением Александра II было предписано именовать российскую Польшу «губерниями Царства Польского», однако в ряде статей Свода законов Российской империи наименование «Царство Польское» сохранилось. С 1887 г. наиболее применяемыми становятся словосочетания «губернии Привислинского края», «Привислинские губернии» и «Привислинский край», а в январе 1897 г. Николай II отдал распоряжение, которым употребление названий «Царство Польское» и «губернии Царства Польского» было ограничено случаями крайней необходимости, хотя из Свода законов эти названия так и не были удалены.

Географически Царство Польское занимало центральную часть современной Польши: Варшава, Лодзь, Калиш, Ченстохова, Люблин, Сувалки. – *Прим. перев.*

7

Имеется в виду польское восстание 1830–1831 годов (в польской историографии – Ноябрьское восстание) – «национально-освободительное» (в польской и советской историографиях) восстание против власти Российской империи на территории Царства Польского, Литвы, частично Белоруссии и Правобережной Украины. Началось 29 ноября 1830 года и продолжалось до 21 октября 1831 года, под лозунгом восстановления независимой «исторической Речи Посполитой» в границах 1772 года *(Прим. перев.)*

8

Крозе – костел в стиле барокко – памятное место событий 1893 года, известных как «резня в Крозе», когда царские казаки устроили кровавую бойню католиков, защищавших костел от пере-

9

Влука – польская мера площади 16,8 га *(Прим. перев.)*

10

АК – Армия Крайова – вооружённые формирования польского подполья во время Второй мировой войны, действовавшие главным образом в пределах довоенной территории польского государства. АК была основной организацией польского Сопротивления. АК подчинялась польскому правительству в изгнании, находившемуся в Великобритании. Основной целью АК было восстановление польского государства при поддержке Великобритании и США. АК готовилась к всеобщему восстанию в момент приближения фронта или в случае разгрома вооружённых сил Германии. При этом АК также вела вооружённую подпольную борьбу с оккупантами. Отношение АК к советским войскам и партизанам было неоднозначным: от проведения совместных операций до открытых вооружённых столкновений. По данным ряда историков, АК также занималась этническими чистками украинского населения. – Прим. перев.

11

До 1918 г. город назывался Вильна, в 1919–1939 – Вильно, с 1940 г. – Вильнюс. – *Прим. перев.*

12

Густав и Конрад – персонажи драматической поэмы А.Мицкевича «Дзяды». – *Прим. перев.*

13

Томаш Зан (1796–1855) – поэт и член общества филоматов, друг Адама Мицкевича и Яна Чечота. Сыграл значительную роль в развитии нового литературного направления – так называемого революционного романтизма.

Йоахим Лелевель (1786–1861) – польский историк, общественный и политический деятель; профессор Виленского университета.

Анджей Товянский (1799–1878) – польский религиозный философ-мистик, визионер, пророк, мессианист. – *Прим. перев.*

14

Домбровский угольный бассейн – северо-восточная часть Верхнесилезского каменноугольного бассейна, исторический и географический район на юге Польши. – *Прим. перев.*

15

Корреспондент – служащий торгово-промышленного предприятия, ведущий его коммерческую переписку *(Прим. перев.)*

16

Rien ne va plus! – «Ставки сделаны!», возглас крупье в игре в рулетку. – *Прим. перев.*

17

Народный дом – в дореволюционной России общедоступное культурно-просветительское учреждение. Народные Дома существовали и существуют и поныне в некоторых странах Восточной Европы, например, в Чехии. Народный Дом – место, где общества и творческие кружки могли проводить репетиции, концерты, балы, гильдии устраивать вечера, лекции, встречи и т. п. *(Прим. перев.)*

18

Зинаида Николаевна Гиппиус (1869–1945) – русская поэтесса и писательница, драматург и литературный критик, одна из видных представительниц «Серебряного века» русской культуры. *(Прим. перев)*

19

От древне-греческого κάθαρσις – «очищение» *(Прим. перев.)*

20

Хор (др. – греч. χορός – хорос) – коллективный участник древнегреческого драматического представления. Хор оставался на сцене в течение всего представления. Он помогал автору в раскрытии смысла трагедии и душевных переживаний его героев, давал оценку их поступков с точки зрения морали. Значение хора в древнегреческом театре связано с его общенародным характером. Хор выражал отношение зрителей к происходящему на сцене, представал как глас народа. *(Прим. перев.)*